Фрэнсис Скотт Фицджеральд

НОЧЬ НЕЖНА



перевод
Евгении Калашниковой

КЛАССИКА

МИФ

Ночь нежна

Фрэнсис Скотт Кэй Фицджеральд

Аннотация
Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Ночь нежна
Книга первая
Книга вторая
Книга третья
Над книгой работали

Аннотация

Последний завершенный роман американского классика, создававшийся с перерывами на протяжении почти десяти лет. Хотя критики не оценили книгу, сам Фицджеральд называл ее своей исповедью, а биографы и поклонники творчества писателя находят в ней пересечения с его собственной трагической судьбой.

В центре пронзительной истории, разворачивающейся в «век джаза», – блистательная и на первый взгляд идеальная пара: Дик Дайвер, многообещающий молодой психиатр, душа любой компании, и его прекрасная жена Николь. Их вилла на Лазурном Берегу становится магнитом для богемы, символом бесконечной красоты и легкой жизни. Однако за этим сияющим фасадом скрывается глубокая трещина…

Фрэнсис Скотт Фицджеральд
Ночь нежна

Original title:
TENDER IS THE NIGHT
Francis Scott Key Fitzgerald

Книга не пропагандирует употребление алкоголя, табака, наркотических или любых других запрещенных средств.

Согласно закону РФ приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, а также культивирование психотропных растений являются уголовным преступлением.

Употребление алкоголя, табака, наркотических или любых других запрещенных веществ вредит вашему здоровью.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Печатается по изданию:
Фицджеральд Ф. С. Великий Гэтсби. Ночь нежна: романы; Рассказы / пер. с англ. М.: Худож. лит., 1985. 703 с. (Б-ка лит. США).

© Калашникова Е. Д., наследники, перевод, 2026

© Оформление. ООО «МИФ», 2026

* * *





И я уже с тобой. Как ночь неж-
на!

. . . . . .

Но здесь темно, и только звезд
лучи
Сквозь мрак листвы, как вздох
зефиров робкий,
То здесь, то там скользят по
мглистой тропке.

Дж. Китс. Ода к соловью

Книга первая



I

В одном приятном уголке Французской Ривьеры, на полпути от Марселя к итальянской границе, красуется большой розовый отель. Пальмы услужливо притеняют его пышущий жаром фасад, перед которым лежит полоска ослепительно яркого пляжа. За последние годы многие светские и иные знаменитости облюбовали это место в качестве летнего курорта; но лет десять назад жизнь здесь почти замирала с апреля, когда постоянная английская клиентура откочевывала на север. Теперь вокруг Hotel des Etrangers Госса теснится много современных построек, но к началу нашего рассказа лишь с десяток старинных вилл вянувшими кувшинками белели в кущах сосен, что тянутся на пять миль, до самого Канна.

Отель и охряный молитвенный коврик пляжа перед ним составляли одно целое. Ранним утром взошедшее солнце опрокидывало в море далекие улицы Канна, розоватые и кремовые стены древних укреплений, лиловые вершины Альп, за которыми была Италия, и все это лежало на воле, дробясь и колеблясь, когда от покачивания водорослей близ отмели набегала рябь. В восьмом часу появлялся на пляже мужчина в синем купальном халате; сняв халат, он долго собирался с духом, кряхтел, охал, смачивал не прогревшейся еще водой отдельные части своей особы и, наконец, решался ровно на минуту окунуться. После его ухода пляж около часу оставался пустым. Вдоль горизонта ползло на запад торговое судно; во дворе отеля перекрикивались судомойки; на деревьях подсыхала роса. Еще час, и воздух оглашался автомобильными гудками с шоссе, которое петляло в невысоких Маврских горах, отделяющих побережье от Прованса, от настоящей Франции.

В миле к северу, там, где сосны уступают место запыленным тополям, есть железнодорожный полустанок, и с этого полустанка в одно июньское утро 1925 года небольшой открытый автомобиль вез к отелю Госса двух женщин, мать и дочь.

Лицо матери было еще красиво той блеклой красотой, которая вот-вот исчезнет под сетью багровых прожилок; взгляд был спокойный, но в то же время живой и внимательный. Однако всякий поспешил бы перевести глаза на дочь, привороженный розовостью ее ладоней, ее щек, будто освещенных изнутри, как бывает у ребенка, раскрасневшегося после вечернего купанья. Покатый лоб мягко закруглялся кверху, и волосы, обрамлявшие его, вдруг рассыпались волнами, локонами, завитками пепельно-золотистого оттенка. Глаза большие, яркие, ясные, влажно сияли, румянец был природный — это под самой кожей пульсировала кровь, нагнетаемая ударами молодого, крепкого сердца. Вся она трепетала, казалось, на последней грани детства: без малого восемнадцать — уже почти расцвела, но еще в утренней росе.

Когда внизу засинело море, слитое с небом в одну раскаленную полосу, мать сказала:

— Я почему-то думаю, что нам не понравится здесь.

— По-моему, уже вообще пора домой, — отозвалась дочь.

Они говорили без раздражения, но чувствовалось, что их никуда особенно не тянет и они

томятся от этого — тем более, что ехать куда попало все же не хочется. Искать развлечений их побуждала не потребность подстегнуть усталые нервы, но жадность школьников, которые, успешно закончив год, считают, что заслужили веселые каникулы.

— Дня три пробудем, а потом домой. Я сразу же закажу по телеграфу каюту.

Переговоры о номере в отеле вела дочь; она свободно говорила по-французски, но в самой безупречности ее речи было что-то заученное. Когда они водворились в больших светлых комнатах на первом этаже, девушка подошла к стеклянной двери, сквозь которую палило солнце, и, переступив порог, очутилась на каменной веранде, опоясывавшей здание. У нее была осанка балерины; она несла свое тело легко и прямо, при каждом шаге не оседая книзу, но словно вытягиваясь вверх. Ее тень, совсем коротенькая под отвесными лучами, лежала у ее ног; на миг она попятилась — от горячего света больно стало глазам. В полусотне ярдов плескалось Средиземное море, понемногу отдавая беспощадному солнцу свою синеву; у самой балюстрады пекся на подъездной аллее выцветший «бьюик».

Все кругом словно замерло, только на пля-

же шла хлопотливая жизнь. Три английские нянюшки, углубясь в пересуды, монотонные, как причитания, вязали носки и свитеры викторианским узором, модным в сороковые, в шестидесятые, в восьмидесятые годы; ближе к воде под большими зонтами расположились с десяток мужчин и дам, а с десяток их отпрысков гонялись по мелководью за стайками непуганых рыб или же лежали на песке, подставив солнцу голые, глянцевитые от кокосового масла тела.

Розмэри не успела выйти на пляж, как мимо нее промчался мальчуган лет двенадцати и с ликующим гиканьем врезался в воду. Под перекрестным огнем испытующих взглядов она сбросила халат и последовала его примеру. Проплыв несколько ярдов, она почувствовала, что задевает дно, стала на ноги и пошла, с усилием преодолевая бедрами сопротивленье воды. Дойдя до места, где ей было по плечи, она оглянулась; лысый мужчина в трусиках и с моноклем, выпятив волосатую грудь и втянув нахально выглядывающий из трусиков пуп, внимательно смотрел на нее с берега. Встретив ее ответный взгляд, мужчина выронил монокль, который тут же исчез в курчавых зарослях на его груди, и налил себе из фляжки стаканчик чего-то.

Розмэри опустила лицо в воду и быстрым кролем поплыла к плоту. Вода подхватила ее, любовно спрятала от жары, просачиваясь в волосы, забираясь во все складочки тела. Розмэри нежилась в ней, барахталась, кружилась на месте. Наконец, запыхавшаяся от этой возни, она добралась до плота, но какая-то дочерна загорелая женщина с очень белыми зубами встретила ее любопытным взглядом, и Розмэри, внезапно осознав собственную белесую наготу, перевернулась на спину, и волны понесли ее к берегу. Как только она вышла из воды, с ней сейчас же заговорил волосатый мужчина с фляжкой.

— Имейте в виду, дальше плота заплывать нельзя — там могут быть акулы. — Национальность его трудно было определить, но по-английски он говорил, слегка растягивая слова на оксфордский манер. — Вчера только они сожрали двух моряков с флотилии, которая стоит в Гольф-Жуан.

— Боже мой! — воскликнула Розмэри.

— Они охотятся за отбросами, знают, что вокруг флотилии всегда есть чем поживиться.

Сделав стеклянные глаза в доказательство того, что заговорил лишь из желания предостеречь ее, он отступил на два крошечных шажка и налил себе еще стаканчик.

Приятно смущенная приливом общего внимания, который она ощутила во время этого разговора, Розмэри оглянулась в поисках места. По-видимому, каждое семейство считало своей собственностью клочок пляжа вокруг зонта, под которым оно расположилось; кроме того, от зонта к зонту летели замечания, шутки, время от времени кто-нибудь вставал и переходил к соседям — словом, тут царил дух замкнутого сообщества, вторгнуться в которое было бы неделикатно. Чуть подальше, там, где берег усеян был галькой и обрывками засохших водорослей, Розмэри заметила группу людей с кожей, еще не тронутой загаром, как у нее самой. Вместо огромных пляжных зонтов они укрывались под обыкновенными зонтиками и выглядели новичками на этом берегу. Розмэри отыскала свободное местечко посередине между темнокожими и светлокожими, разостлала на песке свой халат и улеглась.

Сперва она только улавливала неясный гул голосов, слышала скрип шагов, огибавших ее распростертое тело, да по мельканию теней угадывала, когда кто-то, проходя, на миг загораживал солнце. Какой-то любопытный пес обдал ей шею теплым, частым дыханием; от горячего

солнца уже саднило кожу, а над ухом звучало тихое, утомленное «оххх» отползающих волн. Мало-помалу она стала различать отдельные голоса и даже выслушала целую историю о том, как некто, презрительно названный «этот тип Норт», вчера похитил официанта в одном каннском кафе, чтобы распилить его надвое. Рассказчица была седая особа в вечернем туалете; она, видимо, не успела переодеться после вчерашнего вечера: волосы ее украшала диадема, а с плеча уныло свешивался увядший цветок. Охваченная безотчетной антипатией к ней и ее спутникам, Розмэри повернулась к ним спиной.

С другой стороны, совсем неподалеку, лежала под зонтом молодая женщина, что-то выписывавшая из раскрытой на песке книги. Она спустила с плеч лямки купального костюма, и ее обнаженная спина блестела на солнце; нитка матового жемчуга оттеняла ровный апельсинно-коричневый загар. В красивом лице было что-то жесткое и в то же время беспомощное. Ее глаза безразлично скользнули по Розмэри. Рядом сидел стройный мужчина в жокейской шапочке и трусиках в красную полоску; дальше та белозубая женщина, которую Розмэри заметила на плоту; она сразу увидела Розмэри и, как видно, узнала. Еще даль-

ше — мужчина в синих трусиках, с длинным лицом и открытой солнцу львиной гривой был занят оживленной беседой с молодым человеком явно романского происхождения в черных трусиках; разговаривая, они перебирали песок, выдергивая кусочки засохших водорослей. Почти все они были, видимо, американцы, но что-то отличало их от тех американцев, с которыми ей приходилось в последнее время встречаться.

Немного спустя ей стало ясно, что человек в жокейской шапочке разыгрывает перед своей компанией какую-то комическую сценку; он с важным видом разгребал граблями песок и при этом говорил что-то, видимо, очень смешное и никак не вязавшееся с невозмутимо серьезным выражением его лица. Дошло до того, что уже каждая его фраза, едва ли не каждое слово стали вызывать взрыв веселого хохота. Даже те, кто, как и Розмэри, находился слишком далеко, наставляли антеннами уши, стараясь уловить не долетавшие до них слова, и единственным человеком на всем пляже, который оставался равнодушным к происходящему, была молодая женщина с жемчугом на шее. Она, быть может, из собственнической скромности, лишь ниже склонялась над своими выписками после каждой

вспышки веселья.

Прямо с неба над Розмэри раздался вдруг голос волосатого господина с моноклем:

— А вы здорово плаваете.

Розмэри запротестовала.

— Нет, кроме шуток. Моя фамилия Кампион. Тут есть одна дама, она вас на прошлой неделе видела в Сорренто и говорит, что знает, кто вы, и очень хотела бы с вами познакомиться.

Розмэри, скрывая досаду, оглянулась и увидела, что все светлокожие выжидательно на нее смотрят. Она неохотно встала и пошла к ним.

— Миссис Абрамс… Миссис Маккиско… Мистер Маккиско… Мистер Дамфри…

— А мы знаем, кто вы, — сказала дама в вечернем туалете. — Вы Розмэри Хойт, я в Сорренто сразу вас узнала и спросила у портье, и мы все в восторге от вас и от вашего фильма и хотели бы знать, почему вы не в Америке и не снимаетесь еще в каком-нибудь таком же дивном фильме.

Они суетливо задвигались, освобождая ей место. Узнавшая ее дама вопреки своей фамилии была не еврейка. Она принадлежала к породе тех «свойских старушек», которые благодаря превосходному пищеварению и полной душевной глухоте остаются законсервированными на два

поколения вперед.

— Нам хотелось предупредить вас, чтоб вы были поосторожнее с солнцем, — продолжала щебетать дама, — в первый день легко обжечься, а вам нужно беречь свою кожу, но здесь все так цирлих-манирлих, на этом пляже, что мы побоялись, а вдруг вы обидитесь.

II

— Мы думали, вы, может быть, тоже участвуете в заговоре, — сказала миссис Маккиско. Это была сокрушительно-напористая молодая особа с хорошеньким личиком и оловянными глазами. — Тут не разберешь, кто участвует, а кто нет. Мой муж целый час очень любезно разговаривал с одним господином, а оказалось, он один из главных участников, чуть ли не второе лицо.

— В заговоре? — недоуменно спросила Розмэри. — Разве существует какой-то заговор?

— Душенька, откуда же нам знать? — сказала миссис Абрамс с конвульсивным смешком, характерным для многих толстых женщин. — Мы-то, во всяком случае, не участвуем. Мы галерка.

Мистер Дамфри, белобрысый молодой человек женственного склада, вставил: «Мамаше Абрамс любой заговор нипочем», — на что Кампион по-

грозил ему моноклем и сказал:

— Но, но, Ройял, не надо злословить.

Розмэри беспокойно поеживалась, сожалея, что матери нет рядом. Эти люди были ей несимпатичны, особенно когда она невольно сравнивала их с интересной компанией в другом конце пляжа. Ее мать обладала скромным, но безошибочным светским тактом, который позволял быстро и умело выходить из затруднительных положений. А Розмэри очень легко попадала в такие положения, чему виной была сумбурная смесь французского воспитания с наложившимся позднее американским демократизмом — тем более что знаменитостью она сделалась всего лишь полгода назад.

Мистеру Маккиско, сухопарому господину лет тридцати, рыжему и в веснушках, упоминание о «заговоре» явно не нравилось. Он сидел лицом к морю и смотрел на волны, но тут, метнув быстрый взгляд на жену, повернулся к Розмэри и сердито спросил ее:

— Давно приехали?

— Сегодня только.

— А-а.

Должно быть, он счел, что этим уже дано разговору другое направление, и взглядом призвал

остальных продолжать в том же духе.

— Думаете пробыть здесь все лето? — невинно спросила миссис Маккиско. — Если так, вы, вероятно, увидите, чем кончится заговор.

— Ради бога, Вайолет, довольно об этом! — взвился ее супруг. — Найди себе, ради бога, другую тему!

Миссис Маккиско склонилась к миссис Абрамс и проговорила громким шепотом:

— У него нервы.

— Никаких у меня нет нервов, — зарычал мистер Маккиско. — Вот именно, никаких.

Он явно кипятился — бурая краска расползлась по его лицу, смешав все доступные этому лицу выражения в какую-то неопределенную кашу. Смутно чувствуя это, он поднялся и пошел в воду. Жена догнала его на полпути, и Розмэри, воспользовавшись случаем, последовала за ними.

Сделав несколько шагов, мистер Маккиско шумно втянул в себя воздух, бросился вплавь и отчаянно заколотил вытянутыми руками по воде, что, по-видимому, должно было изображать плаванье кролем. Очень скоро воздуха ему не хватило, он встал на ноги и оглянулся, явно удивленный, что все еще находится в виду берега.

— С дыханием у меня не ладится. Не знаю, как

правильно дышать. — Он вопросительно смотрел на Розмэри.

— Выдох делается под водой, — объяснила Розмэри. — А на каждый четвертый счет вы поднимаете голову и делаете вдох.

— Все остальное для меня пустяки, вот только дыхание. Поплывем к плоту?

На плоту, мерно покачивавшемся от движения волн, лежал человек с львиной гривой. Как только миссис Маккиско ухватилась за край настила, плот неожиданно накренился и сильно толкнул ее в плечо, но человек с львиной гривой вскочил и помог ей влезть.

— Я испугался, как бы вас не стукнуло по голове.

Голос его звучал неуверенно и даже робко; Розмэри удивило необыкновенно печальное выражение его лица, скуластого, как у индейца, с длинной верхней губой и огромными, глубоко запавшими глазами цвета темного золота. Свои слова он произнес одной стороной рта, как будто надеялся, что они дойдут до миссис Маккиско каким-то кружным путем и это умерит их силу. Минуту спустя он прыгнул в воду, и его длинное тело, неподвижно распластавшись на волне, пошло к берегу.

Розмэри и миссис Маккиско следили за ним глазами. Когда затухла инерция толчка, он круто сложился пополам, на миг выставив из воды худые ляжки, и тотчас же исчез под водой, только пена вскипела на поверхности.

— Прекрасный пловец, — сказала Розмэри.

Миссис Маккиско откликнулась с неожиданной яростью:

— Зато дрянной музыкант. — Она повернулась к мужу, который после двух неудачных попыток кое-как вскарабкался на плот и, обретя равновесие, хотел было принять непринужденную позу, но пошатнулся и чуть не упал. — Я сказала, что Эйб Норт, может быть, и хороший пловец, но музыкант он дрянной.

— Да, да, — ворчливо согласился Маккиско. Видимо, это он определял круг мыслей своей жены и не разрешал ей особых вольностей.

— Лично я — поклонница Антейля. — Миссис Маккиско снова повернулась к Розмэри, на этот раз с некоторым вызовом. — Антейля и Джойса. У вас там, в Голливуде, возможно, и не слыхали о таких, но, к вашему сведению, мой муж — автор первой критической работы об «Улиссе», появившейся в Америке.

— Курить хочется, — сказал мистер Маккис-

ко. — Больше меня в данный момент ничего не интересует.

— У Джойса вся сила в подтексте — верно я говорю, Элберт?

Вдруг она осеклась. Невдалеке от берега купалась женщина в жемчужном колье вместе со своими двумя детьми, и в это мгновение Эйб Норт, поднырнув под одного из них, вырос из воды, точно вулканический остров, с ребенком на плечах. Малыш визжал от страха и восторга, а женщина смотрела на них без улыбки, спокойно и ласково.

— Это его жена? — спросила Розмэри.

— Нет, это миссис Дайвер. Они не в отеле живут. — Ее глаза, точно объектив фотоаппарата, целились в лицо купальщицы. Потом она резко повернулась к Розмэри. — Вы бывали за границей раньше?

— Да, я училась в Париже.

— А, тогда вы должны знать, что интересно провести время во Франции можно, только если заведешь знакомства среди настоящих французов. Ну что могут вынести отсюда эти люди? — Она указала левым плечом на берег. — Живут тесным кружком, варятся в собственном соку. Вот у нас были рекомендательные письма

ко всем самым известным художникам и писателям в Париже. И мы прекрасно там прожили.

— Могу себе представить.

— Вы знаете, мой муж сейчас заканчивает свой первый роман.

— Вот как? — рассеянно спросила Розмэри. Она думала о том, удалось ли ее матери заснуть, несмотря на жару.

— Да, замысел тот же, что и в «Улиссе», — продолжала миссис Маккиско. — Только у Джойса одни сутки, а у моего мужа — целое столетие. Он берет разложившегося старого аристократа-француза и приводит его в столкновение с веком техники…

— Ради бога, Вайолет, перестань всем рассказывать замысел моего романа, — перебил мистер Маккиско. — Я вовсе не желаю, чтобы он сделался общим достоянием еще до того, как книга выйдет из печати.

Розмэри вернулась на берег и, прикрыв халатом уже саднившие плечи, снова улеглась на солнце. Человек в жокейской шапочке обходил теперь своих спутников с бутылкой и стаканчиками в руках, и настроение их все повышалось, а расстояние между ними становилось все меньше, пока наконец все зонты не сбились вместе, и под

одним общим навесом сгрудилась вся компания; как поняла Розмэри, кто-то собирался уезжать, и решено было последний раз выпить на прощанье. Даже дети, возившиеся в песке, почувствовали, где центр веселья, и потянулись туда. Розмэри почему-то казалось, что все веселье исходит от человека в жокейской шапочке.

На небе и на море господствовал полдень — даже белая панорама Канна вдали превратилась в мираж освежительной прохлады; красногрудый, как малиновка, парусник входил в бухту, волоча за собой темный хвост — след открытого моря, еще сохранявшего свою синеву. Казалось, все побережье застыло в неподвижности, и только здесь, под зонтами, просеивавшими солнечный свет, не прекращалась пестрая, разноголосая кутерьма.

Розмэри увидела Кампиона, который шел к ней, но остановился, не дойдя нескольких шагов; она поспешила закрыть глаза, притворяясь спящей, и когда она снова приоткрыла их, перед ней качались два зыбких, расплывчатых столба — чьи-то ноги. Этот кто-то пытался шагнуть в большое, желтое, как песок, облако, но оно уплыло в бесконечность раскаленного неба. Розмэри и в самом деле уснула.

Проснулась она вся в поту и увидела, что на пляже никого нет, только человек в жокейской шапочке складывает последний зонт. Когда Розмэри села, растерянно моргая глазами, он подошел и сказал:

— А я уже решил было разбудить вас перед уходом. Нехорошо в первый день слишком долго печься на солнце.

— Спасибо. — Розмэри глянула на свои малиновые ноги. — Боже мой!

Она рассмеялась с комическим ужасом, надеясь, что разговор будет продолжен, но Дик Дайвер уже тащил складную кабину и зонт к дожидавшемуся у пляжа автомобилю. Розмэри пошла в воду, чтобы смыть с тела пот. Тем временем он возвратился, собрал раскиданные по песку лопатку, грабли, сито и затолкал все это в расщелину между камнями. Потом огляделся по сторонам, проверяя, не забыто ли что-нибудь.

— Который час, вы не знаете? — крикнула ему Розмэри.

— Около половины второго.

Оба оглянулись на горизонт.

— Час неплохой, — сказал Дик Дайвер. — Не самый худший в сутках.

Он посмотрел на нее, и на миг она жадно и

доверчиво окунулась в ярко-синий мир его глаз. Потом он взвалил на плечи остатки своего скарба и зашагал к машине, а Розмэри вышла из воды, стряхнула песок с халата и медленно побрела в отель.

III

Было уже почти два часа, когда Розмэри с матерью вошли в ресторанный зал. Сложный узор теней, падавших на пустые столы, беспрестанно перемещался оттого, что ветер шевелил ветви сосен за окнами. Два официанта убирали посуду, громко тараторя по-итальянски, но сразу замолчали при их появлении и поторопились принести оскуделый вариант полагающегося по распорядку ленча.

— Я на пляже влюбилась, — сказала Розмэри.

— В кого это?

— Сначала в целую симпатичную компанию. А потом в одного мужчину.

— Ты с ним разговаривала?

— Немножко. Очень хорош. Почти совсем рыжий. — Она уплетала за обе щеки. — Впрочем, он женат — обычная история.

Мать была лучшей подругой дочери и руководила ею, делая на это свою последнюю в жизни

ставку — явление, довольно распространенное в околотеатральной среде, но миссис Спирс отличалась от других тем, что не искала тут способа отыграться за собственные неудачи. Она не была в обиде на судьбу — два благополучных брака, оба завершившиеся вдовством, укрепили жизнерадостный стоицизм, заложенный в ней природой. Один из ее мужей был кавалерийским офицером, другой — военным врачом, и оба оставили ей небольшой капитал, который она старательно сберегала для Розмэри. Она не баловала дочь и этим сумела закалить ее характер, но в то же время не щадила себя, пестуя ее заботливо и любовно, и этим воспитала в ней идеализм, уже давший свои плоды: Розмэри боготворила мать и на все смотрела ее глазами. А потому, при всей своей детской непосредственности, она была защищена двойной броней, материнской и собственной, вполне по-взрослому чураясь всякой фальши, пошлости и дешевки. Однако после внезапного успеха Розмэри в кино миссис Спирс почувствовала, что пора отлучить ее от груди, и вполне искренне готова была не огорчиться, а порадоваться, если этот кипучий, страстный и взыскательный идеализм сосредоточится на ком-либо помимо матери.

— Так тебе здесь нравится? — спросила она.

— Здесь можно очень славно пожить, если познакомиться с той компанией. На пляже были еще люди, но довольно противные. И меня узнали — удивительно, куда ни приедешь, везде, оказывается, видели «Папину дочку».

Миссис Спирс дала улечься этому дуновенью тщеславия, потом сказала прозаически деловито:

— А кстати, когда ты думаешь повидаться с Эрлом Брэди?

— Можно съездить даже сегодня вечером, если ты не устала.

— Я не поеду, поезжай одна.

— Ну давай отложим до завтра.

— Я вообще хочу, чтобы ты поехала одна. Это не так далеко — и ты, кажется, достаточно хорошо говоришь по-французски.

— Но если мне не хочется, мама?

— Не хочешь сегодня, поезжай в другой раз, но ты должна это сделать, пока мы здесь.

— Хорошо, мама.

После завтрака на обеих вдруг напала тоска, которая часто одолевает американцев в тихих уголках Европы. Ни каких-либо внешних побуждений, ни голосов, на которые нужно от-

кликаться, ни обрывков собственных мыслей, услышанных от кого-то другого, и кажется, что сама жизнь остановилась и не идет дальше.

— Через три дня мы отсюда уедем, хорошо, мама? — сказала Розмэри, когда они вернулись к себе в номер. Снаружи легкий ветерок с моря бередил сгустившийся зной, обдувал стволы деревьев, гнал струйки горячего воздуха в просветы жалюзи.

— А как же твоя пляжная любовь?

— Никого я не люблю, кроме тебя, мамочка.

Розмэри вышла в вестибюль и справилась у Госса-отца насчет поездов до Канна. Швейцар в светло-коричневой ливрее, скучавший около конторки, уставился на нее вытаращенными глазами, но тут же спохватился, вспомнив о солидности, требуемой его metier[1]. Розмэри поехала на станцию в автобусе вместе с двумя официантами из ресторана; они всю дорогу почтительно безмолвствовали, и ее это раздражало, ей хотелось крикнуть: «Да не молчите вы, разговаривайте, смейтесь, будьте самими собой. Мне это ничуть не помешает!»

В купе первого класса духота была нестерпимая;

---

[1] Notes: 1
Профессией *(фр.)*.

от пестрых рекламных плакатов железнодорожных компаний — Акведук в Арле, Амфитеатр в Оранже, зимний спорт в Шамони — больше веяло свежестью, чем от неподвижного моря, бесконечно тянувшегося за окном. В отличие от американских поездов, которые живут собственной напряженной жизнью, едва снисходя к пассажирам — пришельцам из мира иных, не столь головокружительных скоростей, — этот поезд был частью земли, по которой шел. Его дыханье сдувало пыль с пальмовых листьев, его зола вместе с сухим навозом удобряла почву в садах. Розмэри казалось, что стоит протянуть в окно руку, и можно рвать на ходу цветы.

В Канне у вокзала стояло с десяток наемных экипажей; извозчики мирно дремали в ожидании седоков. Вдоль набережной вытянулись большие отели, казино, фешенебельные магазины, обратив к летнему морю глухие, железные маски фасадов. Трудно было поверить, что когда-нибудь здесь наступает «сезон», и Розмэри, не чуждой воздействию моды, сделалось как-то не по себе, словно она проявила нездоровый вкус к мертвечине, словно встречные недоумевают, зачем она здесь в этот период затишья между радостями минувшей зимы и радостями гряду-

щей — здесь, а не на севере, где сейчас бурлит настоящая жизнь.

Выйдя из аптеки, куда она заходила купить кокосового масла, Розмэри увидела женщину с целой охапкой диванных подушек, направлявшуюся к стоявшему у тротуара автомобилю. Она сразу узнала миссис Дайвер. Из окошка автомобиля залаяла черная такса, задремавший шофер встрепенулся и кинулся отворять дверцу хозяйке. Та уселась — прямая, собранная, на прелестном лице ни тени улыбки, глаза бесстрашно и зорко устремлены в пустоту. Из-под ярко-красного платья видны были загорелые ноги без чулок. Густые темные волосы отливали золотом, как шерсть у собаки породы чау-чау.

До обратного поезда оставалось еще полчаса, и Розмэри зашла в Cafe des Alliec на Круазетт, где над столиками зеленел полумрак листвы и оркестр услаждал воображаемую толпу космополитов «Воспоминанием о карнавале» и прошлогодними американскими шлягерами. Она купила Le Temps и «Сатердей ивнинг пост» для матери, и за стаканом лимонада проглядывала напечатанные в «Пост» мемуары какой-то русской княгини; зыбкие условности девяностых годов казались ей сейчас реальней и ближе, чем

заголовки сегодняшней французской газеты. Тут сказывалась все та же безотчетная тоска, что навалилась на нее еще в отеле, — она привыкла видеть все нелепости континентального бытия четко разграниченными в газетах на комедию и трагедию и не умела сама выделить наиболее существенное для себя, а потому жизнь во Франции казалась ей теперь однообразной и скучной. Тоску еще усугубляли унылые мелодии оркестра, напоминавшие ту надрывную музыку, под которую извиваются эстрадные акробаты. Она рада была вернуться в Hotel des Etrangers.

Из-за солнечных ожогов пришлось на следующий день отказаться от купанья в море, поэтому они с матерью наняли автомобиль — основательно поторговавшись, так как Розмэри именно во Франции впервые узнала цену деньгам, — и поехали вдоль Ривьеры, этой дельты многих рек. Шофер, настоящий русский боярин времен Ивана Грозного, добровольно взял на себя обязанности гида, и такие названия, как Ницца, Канн, Монте-Карло, засияли во всем блеске сквозь тусклый камуфляж обыденности, повествуя о государях, приезжавших сюда пировать или умирать, о раджах, швырявших английским танцовщицам глаза Будды, о русских князьях, превращавших

свои дни и ночи в сплошные балтийские сумерки воспоминаниями о былом икорном раздолье. Русский дух был особенно силен на побережье — всюду попадались русские книжные магазины, русские бакалейные лавки, сейчас, правда, заколоченные. В те годы с окончанием сезона на Ривьере закрывались православные церкви, и запасы сладкого шампанского, любимого напитка русских, убирались в погреба до их возвращения. «В будущем сезоне вернемся», — говорили они, уезжая, но то были праздные обещания: они не возвращались никогда.

Приятно было ехать обратно, уже под вечер, над морем, причудливо расцвеченным, словно сердолики и агаты детских лет — зеленоватым, как млечный сок, голубым, как вода после стирки, винно-алым. Приятно было проезжать мимо домиков, где обитатели мирно закусывали на веранде, слушать звуки пианолы из увитых виноградом деревенских таверн. Когда машина свернула с Корниша и покатила к отелю Госса среди темной зелени деревьев, чинно выстроившихся по обочинам, над развалинами древнего акведука уже висела луна…

Где-то в горах над отелем шло гулянье, звуки музыки вместе с призрачным лунным светом

просеивались сквозь москитную сетку, которой были затянуты окна номера. Вслушиваясь в звуки далекого чужого веселья, Розмэри думала о тех людях, что так понравились ей вчера на берегу. Может быть, завтра она их опять встретит, — впрочем, они, как видно, привыкли держаться особняком, и тот кусок пляжа, на котором они располагаются со своими зонтами, циновками, собаками и детьми, словно обнесен невидимой оградой. Но одно она твердо решила: свои оставшиеся два утра она не потратит на компанию Маккиско.

IV

Все устроилось само собой. Светлокожих на пляже еще не было, и не успела Розмэри разостлать свой халат и лечь, как от группы слева отделились двое мужчин — тот, в жокейской шапочке, и высокий блондин, любитель распиливать официантов пополам, — и подошли к ней.

— Доброе утро, — сказал Дик Дайвер. Но тут же не выдержал: — Слушайте, ожоги ожогами, но почему вас вчера совсем не было видно? Мы даже забеспокоились.

Розмэри села, и ее приветливая улыбка ясно показала, что она отнюдь не обижена этой непро-

шеной заботой.

— А мы вам хотели предложить: перебирайтесь-ка поближе к нам, — продолжал Дик Дайвер. — У нас найдется что выпить и чем закусить, так что вы не прогадаете, приняв наше приглашение.

Он был добр, он был обаятелен; его голос сулил ей защиту и покровительство, а в будущем — целый новый неведомый мир, бесконечную череду перспектив, одна другой увлекательнее. Представляя ее своим друзьям, он сумел обойтись без упоминания ее имени, в то же время дав ей понять, что все отлично знают, кто она, но умеют уважать ее право на частную жизнь — подобной деликатности Розмэри почти не встречала со времени своего успеха, разве что среди товарищей по профессии.

Николь Дайвер, подставив солнцу подвешенную к жемчужному колье спину, искала в поваренной книге рецепт приготовления цыплят по-мэрилендски. Розмэри решила, что ей должно быть года двадцать четыре; на первый взгляд казалось, что для нее вполне достаточно расхожего определения «красивая женщина», но если присмотреться к ее лицу, возникало странное впечатление — будто это лицо задумано было сильным и значительным, с крупной

роденовской лепкой черт, с той яркостью красок и выражения, которая неизбежно рождает мысль о темпераментном, волевом характере; но при отделке резец ваятеля стесал его до обыкновенной красивости — настолько, что еще чуть-чуть — и оно стало бы непоправимо банальным. Особенно эта двойственность сказывалась в рисунке губ; изогнутые, как у красавицы с журнальной обложки, они в то же время обладали неуловимым своеобразием, присущим и остальным чертам этого лица.

— Вы здесь надолго? — спросила Николь Дайвер; у нее был низкий, резковатый голос.

Розмэри вдруг показалось вполне возможным задержаться на недельку.

— Да нет, едва ли, — неопределенно ответила она. — Мы уже давно путешествуем по Европе — в марте приехали в Сицилию и с тех пор потихоньку двигаемся на север. Я в январе во время съемок схватила воспаление легких, и мне нужно было поправиться после болезни.

— Ай-я-яй! Как же это вы?

— Простудилась в воде. — Розмэри не очень хотелось пускаться в биографические подробности. — Снимали эпизод, где я бросаюсь в канал в Венеции. Декорация стоила очень дорого, и

устанавливать ее еще раз было бы сложно. Вот и пришлось мне прыгать в воду раз десять, не меньше, — а у меня уже был грипп, только я не знала. Мама привела врача прямо на съемочную площадку, но все равно дело кончилось воспалением легких. — Она сразу переменила тему, прежде чем кто-либо успел сказать слово. — А вам нравится здесь?

— Им это место не может не нравиться, — неторопливо проговорил Эйб Норт. — Они сами его изобрели. — Он неторопливо повернул свою великолепную голову и поглядел на чету Дайверов с нежностью.

— Как так?

— Здешний отель всего второй год не закрывается в летнее время, — пояснила Николь. — В прошлом году мы уговорили Госса оставить на лето одного повара, одного официанта и одного посыльного. Расходы оправдались, а в этом году дела идут совсем хорошо.

— Но вы, кажется, не живете в отеле?

— У нас тут дом наверху, в Тарме.

— Расчет был такой, — сказал Дик, переставляя один из зонтов, чтобы согнать с плеча Розмэри квадратик солнца. — Северные курорты, как, например, Довиль, заполнены русскими и ан-

гличанами, которые привыкли к холоду, — ну а половина американцев живет в тропическом климате и потому охотно будет приезжать сюда.

Молодой человек с романской наружностью перелистывал номер «Нью-Йорк геральд».

— Попробуйте-ка определить национальность этих особ, — сказал он вслух и прочел с легким французским акцентом: — «В „Палас-отеле“ в Веве остановились господин Пандели Власко, госпожа Якобыла — честное слово, так и написано, — Коринна Медонка, госпожа Паше, Серафим Туллио, Мария Амалия Рото Маис, Мозес Тейбель, госпожа Парагорис, Апостол Александр, Иоланда Иосфуглу и Геновефа де Момус». Вот кто меня особенно пленяет — Геновефа де Момус. Пожалуй, стоит прокатиться в Веве, чтоб поглядеть, какова собой Геновефа де Момус.

Он вскочил на ноги, как от толчка, быстрым, сильным движением распрямив тело. Он казался несколькими годами моложе и Дайвера, и Норта. Высокого роста, крепкий, но поджарый — только налитые силой плечи и руки выглядели массивными, — он был бы, что называется, красивый мужчина, если бы постоянная кислая гримаска не портила выражения его лица, освещенного удивительно яркими карими глазами. И все-таки

неистовый блеск этих глаз запоминался, а капризный рот и морщины пустой и бесплодной досады на юношеском лбу быстро стирались из памяти.

— В списке американцев, прибывших на прошлой неделе, тоже было несколько хороших фамилий, — сказала Николь. — Миссис Ивлин Чепчик и еще — кто там был еще?

— Еще был мистер С. Труп, — сказал Дайвер, тоже поднимаясь на ноги. Он взял свои грабли и пошел вдоль пляжа, тщательно выгребая и отбрасывая попадавшиеся в песке камушки.

— Да, да — С. Труп, и не выговоришь без содрогания, правда?

С Николь было как-то удивительно спокойно, спокойнее даже, чем с матерью, подумала Розмэри. Эйб Норт и Барбан — молодой француз — обсуждали события в Марокко, а Николь, найдя наконец нужный рецепт и списав его, занялась шитьем. Розмэри с любопытством разглядывала их пляжное имущество: четыре больших зонта, дававших густую, надежную тень, складная кабина для переодевания, надувной резиновый конь — еще незнакомые ей новинки послевоенной промышленности, первые образцы возрожденного производства предметов

роскоши, нашедшие первых потребителей. Судя по всему, новые знакомые принадлежали к светскому обществу, но Розмэри, вопреки представлениям, издавна внушенным ей матерью, не могла заставить себя смотреть на них как на трутней, от которых нужно держаться подальше. Даже в этот час разнеживающего бдения под утренним солнцем их праздная неподвижность казалась ей осмысленной, деятельной, устремленной к какой-то цели, как будто перед нею совершался акт особого, непонятного ей творчества. Незрелый ум Розмэри не пытался вникнуть в суть их отношений друг к другу, ее занимало только, как они отнесутся к ней, но она смутно угадывала, что тут существует сложный переплет чувств — догадка, выразившаяся в ее мыслях коротенькой формулой: «живут интересно».

Она стала присматриваться ко всем троим мужчинам, поочередно выделяя каждого. Все трое были, хоть и по-разному, привлекательны внешне, все обладали какой-то особой мягкостью манер, видимо, органически им присущей, а не продиктованной обстоятельствами — и так же отличавшейся от простецких ухваток актерской братии, как подмеченная ею раньше душевная деликатность отличалась от грубова-

того панибратства режиссеров, представлявших интеллигенцию в ее жизни. Актеры и режиссеры — других мужчин она до сих пор не встречала, если не считать студентиков, жаждущих любви с первого взгляда, с которыми она познакомилась прошлой осенью на балу в Йельском университете и которые показались ей все на одно лицо.

Эти трое были совсем другими. Барбан, наименее выдержанный из трех, скептик и насмешник, казался несколько поверхностным, порой даже небрежным в обращении. В Эйбе Норте с природной застенчивостью уживался бесшабашный юмор, который привлекал и в то же время отпугивал Розмэри. Цельная натура, она сомневалась в его способности понять и оценить ее.

Но Дик Дайвер — тут не нужны были никакие оговорки. Она молча любовалась им. Солнце и ветер придали его коже красноватый оттенок, и того же оттенка была его короткая шевелюра и легкая поросль волос на открытых руках. Глаза сияли яркой, стальной синевой. Нос был слегка заострен, а голова всегда была повернута так, что не оставалось никаких сомнений насчет того, кому адресован его взгляд или его слова — лестный знак внимания к собеседнику, ибо так ли уж часто на нас смотрят? В лучшем случае

глянут мельком, любопытно или равнодушно. Его голос с едва заметным ирландским распевом звучал подкупающе ласково, но в то же время Розмэри чувствовала в нем твердость и силу, самообладание и выдержку — качества, которыми так дорожила в себе самой. Да, сердце ее сделало выбор, и Николь, подняв голову, увидела это, услышала тихий вздох — ведь избранник принадлежал другой.

Около полудня на пляже появились супруги Маккиско, миссис Абрамс, мистер Дамфри и сеньор Кампион. Они принесли с собой новый большой зонт, водрузили его, искоса поглядывая на Дайверов, и с самодовольными лицами под него залезли — все, кроме мистера Маккиско, который предпочел гордое одиночество на солнце. Дик с граблями прошел совсем близко от них и, вернувшись к своим, сообщил вполголоса:

— Они там читают учебник хорошего тона.

— Собираются врашшаться в вышшем обществе, — сказал Эйб.

Вернулась после купанья Мэри Норт, та дочерна загорелая молодая женщина, которую Розмэри в первый день видела на плоту, и сказала, сверкая озорной улыбкой:

— А-а, я вижу, мистер и миссис Футынуты уже

здесь.

— Тсс, это ведь его друзья, — указывая на Эйба, предостерегла Николь. — Почему вы не идете к своим друзьям, Эйб? Разве вам не приятно их общество?

— Очень приятно, — отозвался Эйб. — До того приятно, что чем от него дальше, тем лучше.

— Так я и знала, что нынешним летом здесь будет слишком много народу, — пожаловалась Николь. — А ведь это *наш* пляж, Дик сам его сотворил из груды камней. — И, подумав, добавила вполголоса, чтобы не услышало трио нянюшек, расположившееся неподалеку: — Но уж лучше эта компания, чем прошлогодние англичане, которые с утра до вечера ахали на весь пляж: «Ах, какое синее море! Ах, какое белое небо! Ах, какой у маленькой Нелли красный носик!»

Розмэри подумала, что не хотела бы иметь Николь своим врагом.

— Да, ведь вы же не видели драки, — продолжала Николь. — Это было за день до вашего приезда: господин со странной фамилией, похожей на название какой-то марки маргарина или горючего…

— Маккиско?

— Вот-вот — он поссорился с женой, и она

бросила ему горсть песку в лицо. Тогда он на нее навалился и давай тыкать ее носом в песок. Мы все так и остолбенели. Я даже просила Дика разнять их.

— А знаешь что, — сказал Дик, рассеянно глядя на соломенную циновку. — Я, пожалуй, приглашу их всех к нам на обед.

— И думать не смей! — воскликнула Николь.

— По-моему, это прекрасная мысль. Раз уж они здесь, не следует их чуждаться.

— Мы и не чуждаемся, — смеясь, защищалась Николь. — Но я вовсе не хочу, чтобы еще меня, чего доброго, стали тыкать носом в песок. Я злюка и недотрога, — сказала она Розмэри и, приподнявшись на локте, крикнула: — Дети, купаться! Надевайте костюмы.

Откуда-то в Розмэри возникло предчувствие, что сегодняшнее купанье запомнится ей на всю жизнь, что, когда бы ни зашла речь о купанье в море, тотчас оживет перед ней этот день и час. Пошли в воду охотно, все вместе, истомленные долгим вынужденным бездействием, отдаваясь морской прохладе после палящего зноя с наслаждением гурмана, запивающего пряное карри вином со льда. У Дайверов, как у наших далеких предков, день был размерен так, чтобы извлечь

максимум из того, что дано, чтобы переходом от одного ощущения к другому усилить остроту обоих; Розмэри еще не знала, что предстоит очередной такой переход — от самозабвенного одиночества в волнах к шумному веселью провансальского завтрака. Но ее не покидало чувство, что Дик взял ее под свою защиту и покровительство, и она радостно следовала за всеми, словно подчиняясь его неслышному приказу.

Николь тем временем передала мужу странный предмет, над которым она трудилась все утро. Он скрылся в кабинке и через минуту вышел оттуда в черных кружевных панталонах до колен. Экстравагантность этого костюма вызвала переполох на пляже; впрочем, при ближайшем рассмотрении оказалось, что под кружевом подшит чехол телесного цвета.

— Ну знаете ли, это выходка педераста! — с негодованием воскликнул мистер Маккиско, но тут же спохватился и, оглянувшись на мистера Дамфри и мистера Кампиона, добавил: — Извините, пожалуйста.

Розмэри кружевные панталоны привели в полный восторг. В своей наивности она горячо откликалась на расточительные шалости Дайверов, не догадываясь, что все это далеко не так

просто и не так невинно, как кажется, что все это тщательно отобрано на ярмарке жизни с упором не на количество, а на качество; и так же, как и все прочее — простота в обращении, доброжелательность и детская безмятежность, предпочтение, отдаваемое простейшим человеческим добродетелям, — составляет часть кабальной сделки с богами и добыто в борьбе, какую она и вообразить себе не могла. Дайверы в ту пору стояли на самой вершине внешней эволюции целого класса — оттого рядом с ними большинство людей казалось неуклюжими, топорными существами, но уже были налицо качественные изменения, которых не замечала и не могла заметить Розмэри.

Вместе со всеми Розмэри пила херес и грызла сухое печенье. Дик Дайвер смотрел на нее холодными синими глазами; потом его сильные и ласковые губы разжались, и он сказал:

— А вы и в самом деле похожи на нечто в цвету — давно уже я таких девушек не встречал.

Час спустя Розмэри безутешно рыдала у матери на груди.

— Я люблю его, мама. Я влюблена в него без памяти — никогда не думала, что со мной может случиться такое. А он женат, и жена у него за-

мечательная — ну что мне делать? Ох, если б ты знала, как я его люблю!

— Хотелось бы мне его увидеть.

— Мы к ним приглашены в пятницу на обед.

— Если ты влюблена, ты не плакать должна, а радоваться. Улыбаться должна.

Розмэри подняла голову, взмахнула ресницами, стряхивая слезы, — и улыбнулась. Мать всегда имела на нее большое влияние.

V

Розмэри поехала в Монте-Карло в дурном настроении — насколько это вообще было для нее возможно. Крутой и неровный подъем привел ее к Ла-Тюрби, старой Гомоновской студии, теперь перестраивавшейся заново; и пока она, послав Эрлу Брэди свою карточку, дожидалась у решетчатых ворот, ей почудилось, что она в Голливуде. За воротами громоздился пестрый хлам, оставшийся от какой-то уже снятой картины, — кусок улицы индийского селения, большой кит из папье-маше, чудовищная яблоня с яблоками, как баскетбольные мячи, которая здесь, впрочем, казалась просто экзотическим деревом вроде амаранта, мимозы, пробкового дуба или карликовой сосны. Дальше стояли два павильона для

съемок, похожие на большие сараи, и между ними кафе-закусочная; и везде были человеческие лица, густо накрашенные, изнуренные ожиданием и напрасной надеждой.

Минут через десять к воротам прибежал молодой человек с шевелюрой канареечного цвета.

— Прошу вас, мисс Хойт. Мистер Брэди на съемочной площадке, но он вас сейчас же примет. Извините, что вам пришлось ждать, — вы не поверите, до чего назойливы эти француженки, просто уже не знаешь, как от них обороняться…

Молодой человек — по-видимому, администратор студии — отворил незаметную дверь в глухой стене одного из павильонов, и Розмэри с неожиданной радостью узнавания шагнула за ним в полутьму. По сторонам маячили смутные фигуры, обращали к ней пепельные лица, точно души в чистилище, потревоженные явлением смертного в их среде. Слышались голоса, приглушенные до шепота, издалека доносилось воркующее тремоло фисгармонии. Они обогнули выгородку, образованную фанерными щитами, и перед ними открылось залитое белым трескучим светом пространство, посреди которого лицом к лицу стояли двое — американская актриса и французский актер в сорочке с крахмальной гру-

дью, воротничком и манжетами ярко-розового цвета. Они смотрели друг на друга остекленевшими глазами, и казалось, что они стоят так уже несколько часов; но время шло, и ничего не происходило, никто не шевелился. Световая завеса померкла с противным шипеньем, потом разгорелась снова; вдали жалобно застучали молотком в никуда не ведущую дверь; между верхних софитов высунулась голубая физиономия, прокричала что-то невнятное в черноту под крышей. Потом прямо перед Розмэри чей-то голос нарушил царившую на площадке тишину:

— Ты не вздумай снимать чулки, детка, изорвешь хоть дюжину пар, тоже не беда. Это платье стоит пятнадцать фунтов.

Говоривший пятился назад, пока не натолкнулся на Розмэри, и тогда администратор сказал:

— Эрл — мисс Хойт.

Они никогда не встречались раньше. Брэди был кипуч и стремителен. Пожимая ей руку, он окинул ее всю быстрым взглядом — знакомая игра, которая сразу ввела Розмэри в привычную атмосферу, и при этом, как всегда, вызвала чувство превосходства над партнером. Если ее особа — ценность, почему не извлечь преимущества из того факта, что эта ценность принадлежит ей?

— Я ждал вас со дня на день, — сказал Брэди; в его голосе, чуть излишне победительном для житейского разговора, слышался легкий призвук лондонского простонародного акцента. — Довольны путешествием?

— Да, но хочется уже домой.

— Нет-нет-нет, — запротестовал он. — Не торопитесь — нам с вами нужно поговорить. Я видел вашу «Папину дочку»; должен сказать, это — первый класс. Я смотрел ее в Париже и сразу же телеграфировал, чтобы узнать, ангажированы вы уже или нет.

— Простите, я только вчера…

— Черт возьми, какая картина!

Чувствуя, что улыбнуться, словно соглашаясь, было бы глупо, Розмэри нахмурила брови.

— Не слишком приятная участь — остаться навсегда героиней одной картины.

— Конечно, конечно, вы правы. Какие же у вас планы?

— Мама считала, что мне нужно отдохнуть. А по возвращении мы или возобновим контракт с «Феймос плейерс», или подпишем новый с «Ферст нэшнл».

— Кто это «мы»?

— Моя мать. Она ведет все мои дела. Без нее я

бы не справилась.

Снова он оглядел ее с головы до ног, и что-то вдруг распахнулось в Розмэри навстречу этому взгляду. Не влечение, нет, ничего похожего на восторженное чувство, так властно захватившее ее утром на пляже. Просто электрический разряд. Этот человек желал ее, и девичья скованность воображения не помешала ей представить себе, что она могла бы уступить. Но через полчаса уже забыла бы о нем — как забывают о том, кого целуют перед кинокамерой.

— Вы где остановились? — спросил Брэди. — Ах да, у Госса. Ну что ж, на этот год у меня все расписано, но мое предложение остается в силе. После Конни Толмедж в дни ее молодости вы — первая девушка, с которой мне так хочется сделать картину.

— Я тоже охотно поработала бы с вами. Приезжайте в Голливуд.

— Терпеть не могу эту клоаку. Мне и здесь хорошо. Подождите — сейчас закончу эпизод и покажу вам свои владения.

Он вернулся на площадку и вполголоса, неторопливо стал втолковывать что-то французскому актеру.

Прошло пять минут — Брэди все говорил, а

француз слушал, переминаясь с ноги на ногу и время от времени кивая головой. Но вдруг Брэди прервал свою речь и что-то крикнул осветителям. Тотчас же зажужжали и вспыхнули юпитеры. Лос-Анджелес бился в уши Розмэри, громко звал к себе. И, повинуясь зову, она смело скользнула вновь в темноту закоулков тонкостенного города. Она знала, каким выйдет Брэди со съемки, и решила не продолжать сегодня разговор с ним. Все еще завороженная, она вышла из павильона и спустилась вниз. Теперь, после того как она подышала воздухом киностудии, Средиземноморье уже не казалось ей замкнутым и глухим. У прохожих на улицах были симпатичные лица, и по дороге на вокзал она купила себе новые сандалеты.

Мать осталась довольна тем, как Розмэри выполнила ее наставления; ей все время хотелось поставить дочь на рельсы и подтолкнуть. На вид миссис Спирс была цветущая женщина, но в ней накопилась усталость; бодрствовать у постели умирающего — утомительное занятие, а она прошла через это дважды.

VI

Чувствуя приятную истому после розового вина, которое подавалось к завтраку, Николь Дайвер вышла в свой сад, разбитый на горном склоне. Она шла, высоко скрестив на груди руки, и от этого искусственная камелия, прикрепленная у плеча, почти касалась щеки. Сад с одной стороны примыкал к дому, органично сливаясь с ним; с двух сторон он граничил со старой деревней, с четвертой обрывался каменистым уступчивым спуском к морю.

Близ ограды, отделявшей сад от деревни, все было пыльным: завитки виноградных лоз, эвкалипты и лимонные деревья, даже тачка садовника — только что оставленная здесь, она уже вросла в землю, омертвела и припахивала гнилью. Но довольно было пройти несколько шагов и обогнуть клумбу с пионами, чтобы попасть словно в иной мир, зеленый, прохладный, где лепестки цветов и листья кудрявились от ласковой влажности воздуха;

Николь всякий раз невольно изумлялась этому.

На шее у Николь был повязан лиловый шарф, и от него даже в обесцвечивающих солнечных

лучах ложились лиловые отсветы на ее лицо и на землю, по которой она ступала. Лицо казалось замкнутым, почти суровым, только во взгляде зеленых глаз сквозило что-то растерянное, жалобное. Волосы, золотистые в юности, потемнели со временем, но сейчас, в свои двадцать четыре года, она была красивее, чем в восемнадцать, когда эти волосы своей яркостью затмевали все прочее в ней.

Дорожка с бордюром из белого камня, за которым зыбилось душистое марево, вывела ее на открытую площадку над морем. Там, у огромной сосны, самого большого и старого дерева в саду, был водружен рыночный зонт из Сиены и стоял стол и плетеные кресла, а по сторонам, в зелени смоковниц, притаились дремлющие днем фонари. Николь на мгновение остановилась и, рассеянно глядя на ирисы и настурции, разросшиеся у подножья сосны в полном беспорядке, точно кто-то наудачу бросил тут горсть семян, прислушалась к шуму, который вдруг донесся из дома, — детский плач и сердитые голоса; должно быть, какая-то баталия в детской. Когда шум затих, она пошла дальше, мимо калейдоскопа пионов, клубившихся розовыми облаками, черных и коричневых тюльпанов, хрупких роз с фио-

летовыми стеблями, прозрачных, как сахарные цветы в витрине кондитерской, пока, наконец, это буйное скерцо красок, словно достигнув предельного напряжения, не оборвалось вдруг на полуфразе — дальше влажные каменные ступени вели на другой уступ, футов на пять пониже.

Здесь бил родник, и дощатый сруб над ним даже в яркие солнечные дни оставался сырым и скользким. В склоне была вырублена лестничка, и по ней Николь поднялась в огород. Она шла быстрым шагом, она любила движение, хоть подчас казалась воплощением покоя, безмятежного и в то же время загадочного. Это происходило оттого, что у нее было мало слов и еще меньше веры в их силу, и в обществе она была молчалива, внося в светскую болтовню лишь свою необходимую долю, тщательно, чтобы не сказать скупо, отмеренную. Но когда малознакомые собеседники начинали испытывать неловкость, встречая столь скудный отклик, она вдруг подхватывала тему разговора и неслась во всю прыть, сама себе удивляясь, а потом так же внезапно останавливалась, почти оробело, словно охотничий пес, исполнивший все, что от него требовалось, и даже чуть больше.

Стоя среди мохнато просвеченной солнцем

огородной зелени, Николь увидела Дика, направлявшегося в свой рабочий флигелек. Она подождала молча, пока он не скрылся из виду; потом между грядками будущих салатов пробралась к маленькому зверинцу, где ее нестройным и дерзким шумом встретили голуби, кролики и пестрый попугай. Отсюда дорожка снова шла под уклон и выводила на полукруглый выступ скалы, обнесенный невысоким парапетом. Николь облокотилась на парапет и глянула вниз; в семистах футах под ней плескалось Средиземное море.

Место, где она стояла, когда-то было частью горного селения Тарм. Усадьба Дайверов выросла из десятка крестьянских домишек, лепившихся по этим кручам, — пять были переселены и превратились в виллу, пять снесли и на их месте разбили сад. Наружная ограда осталась нетронутой, и потому снизу, с проезжей дороги, усадьба была неразличима в общей лилово-серой массе домов и деревьев Тарма.

Николь постояла немного, глядя на море, где не к чему было приложить даже ее неутомимые руки. В это время Дик вышел из своего флигелька с подзорной трубой, которую он тут же стал наводить в сторону Канна. Минуту спустя в поле его зрения попала Николь; он снова нырнул во

флигелек и тотчас же вернулся — на этот раз с мегафоном. У него было множество всяких технических игрушек.

— Николь! — прокричал он. — Я забыл тебя предупредить о своем последнем апостольском деянии: я пригласил миссис Абрамс — знаешь, ту седую, полную даму.

— Так я и чувствовала. Просто безобразие.

Ее голос ясно прозвучал в тишине, словно бы в насмешку над мегафоном Дика, и потому она поторопилась крикнуть погромче:

— Ты меня слышишь?

— Слышу. — Он опустил было мегафон, но сейчас же снова упрямо поднес его к губам. — Я и еще кое-кого приглашу. Обоих молодых людей, например.

— Приглашай, пожалуйста, — миролюбиво согласилась она.

— Я хочу устроить по-настоящему скандальный вечер. Со ссорами, с обольщениями чужих жен, с дамскими обмороками в уборной и чтобы кто-то обиделся и ушел, не простившись. Вот будет потеха.

Он скрылся во флигельке, но Николь уже поняла, что на него нашло хорошо знакомое ей настроение — взрыв неуемного веселья, зара-

жавшего всех кругом и неизбежно сменявшегося под конец своеобразной депрессией, чего он никогда не показывал, но что она угадывала чутьем. Поводом к веселью служил порой пустяк, раздутый не по значению, и в такие периоды Дик был совершенно неотразим. От него исходила сила, заставлявшая людей подчиняться ему с нерассуждающим обожанием, и лишь какие-нибудь закоренелые брюзги и маловеры могли против этой силы устоять. Реакция наступала потом, вслед за трезвой оценкой допущенных сумасбродств и излишеств. Оглядываясь назад, на вдохновленный им карнавальный разгул, он ужасался, как ужасается иной полководец, взирая на кровавую резню, к которой сам дал сигнал, повинуясь безотчетному инстинкту.

Но те, кто хоть на короткий срок получал доступ в мир Дика Дайвера, уже не могли об этом забыть; им казалось, что он не случайно выделил их среди толпы, распознав их высокое предназначение, из года в год остававшееся погребенным под компромиссами житейской обыденщины. Он быстро завоевывал все сердца необычайной внимательностью, подкупающей любезностью обращения; причем делалось это так непосредственно и легко, что победа бывала одержана

прежде, чем побежденные успевали в чем-либо разобраться. И тогда без предупреждения, не давая увянуть только что распустившемуся цветку дружбы, Дик широко распахивал перед ними ворота в свой занимательный мир. Покуда они безоговорочно соблюдали правила игры, он, казалось, только о том и думал, чтобы им было хорошо и приятно; но стоило им допустить хоть тень сомнения в незыблемости этих правил, он словно испарялся у них на глазах, не оставив и памяти о своих речах и поступках.

В пятницу, ровно в половине девятого, Дик вышел встречать первых гостей, церемонно и выразительно неся пиджак на руке, точно тореадор свой плащ. Поздоровавшись с Розмэри и миссис Спирс, он тактично выждал, когда они сами начнут разговор, словно в расчете на то, что звук собственного голоса поможет им освоиться в незнакомой обстановке.

Слегка возбужденные подъемом в Тарм и свежестью горного воздуха, Розмэри и ее мать с любопытством оглядывались по сторонам. Подобно тому как достоинства людей незаурядных сказываются порой даже в неожиданных обмолвках, тщательно продуманное совершенство виллы «Диана» проступало даже сквозь досад-

ные мелочи — вроде появления горничной без надобности или звука некстати хлопнувшей пробки. Первые гости, вестники начинающегося праздника, еще застали конец домашних будней, воплощенный перед ними зрелищем маленьких Дайверов, под присмотром гувернантки доедавших на веранде свой ужин.

— Какой чудесный сад! — воскликнула миссис Спирс.

— Это сад Николь, — сказал Дик. — Она ему покоя не дает, без конца допекает заботами о здоровье растений. Я не удивлюсь, если в один прекрасный день она сама заболеет какой-нибудь мучнистой росой, фитофторой или септорией. — Повернувшись к Розмэри, он строго погрозил ей пальцем и сказал тоном шутки, под которой сквозила, казалось, отеческая заинтересованность: — Я решил принять меры, чтобы уберечь ваш рассудок, — подарю вам шляпу для пляжа.

Он повел гостей из сада на веранду, где занялся приготовлением коктейлей. Приехал Эрл Брэди и был очень удивлен при виде Розмэри. Он здесь держался проще и естественней, будто оставил свою чудаковатую манеру на территории студии, но Розмэри мгновенно сравнила его с Диком Дайвером, и сравнение заставило ее резко качнуться

в сторону последнего. Рядом с Диком Эрл Брэди казался грубоватым, даже вульгарноватым; и все же ее опять словно током пронизало от его близости.

С фамильярностью старого знакомого он обратился к детям, только что вставшим из-за стола:

— Спел бы ты нам что-нибудь, Ланье. Спой нам вместе с Топси хорошую песенку.

— Какую же песенку вам спеть? — спросил мальчик, забавно растягивая слова, как все американские дети, выросшие во Франции.

— Ну вот хотя бы Mon ami Pierrot.

Без всякого жеманства брат и сестра стали рядом, и два пискливо-звонких голоска понеслись в тишине вечера:

Au clair de la tune
Mon ami Pierrot
Prete moi ta plume
Pour ecrire un mot
Ma chandelle est morte
Je n'ai plus de feu
Ouvre moi ta porte

Pour t'amour de Dieu[2].

Песенка кончилась; разрумяненные закатными лучами, дети с безмятежной улыбкой принимали похвалы и одобрения. Розмэри вилла «Диана» казалась сейчас центром вселенной. На таких подмостках не может не разыграться что-то необыкновенное. Она встрепенулась, услышав, как звякнула калитка, пропуская новых гостей, — это ввалились скопом супруги Маккиско, миссис Абрамс, мистер Дамфри и мистер Кампион и сразу же устремились к веранде.

Розмэри полоснуло досадой — она торопливо глянула на Дика, словно спрашивая, что означает столь странное смешение. Но в его поведении не заметно было ничего необычного. Он приветствовал гостей с горделивым достоинством, всем своим видом показывая, что ценит заложенные в них безграничные и еще не раскрытые воз-

---

[2] Notes: 2

При лунном свете,
Мой друг Пьеро,
Прошу, ссуди мне
Твое перо.
Погасла свечка,
И нет огня,
Я жду у двери,
Впусти меня (фр.).

можности. И так сильна была ее вера в него, что минуту спустя она уже принимала как должное присутствие Маккиско с компанией, и ей даже казалось, что она с самого начала ожидала их здесь увидеть.

— Мы с вами встречались в Париже, — сказал Маккиско Эйбу Норту, который вместе с женой явился вслед за ними. — Даже два раза встречались.

— Как же, как же, конечно, — подтвердил Эйб.

— А скажите, где это было? — спросил Маккиско, вместо того чтобы благоразумно поставить точку.

— Да, кажется… — Но тут игра надоела Эйбу. — Не помню где.

Этот обмен репликами заполнил возникшую паузу; инстинкт подсказывал Розмэри, что теперь положение требует чьего-то тактичного вмешательства, но Дик не делал никаких попыток изменить порядок, в котором расположилось все общество с приходом последних гостей, или хотя бы сбить спесь со снисходительно улыбающейся миссис Маккиско. Он не старался развязать затянувшийся узел отношений, потому что не придавал этому сейчас значения и знал, что он развяжется сам собой. Свои силы он приберегал

для более значительного момента, когда можно будет, явив себя гостям с новой стороны, дать им насладиться оказанным приемом.

Розмэри стояла рядом с Томми Барбаном, который был в необычно язвительном настроении, — казалось, у него есть на то особые причины. Он сообщил Розмэри, что завтра уезжает.

— Собрались на родину?

— На родину? У меня нет родины. Я собрался на войну.

— На какую войну?

— На какую-нибудь. Я давно не читал газет, но где-то же наверняка идет война — не бывает, чтобы нигде не шла.

— Разве вам все равно, за что сражаться?

— Абсолютно — лишь бы со мной были достаточно обходительны. Когда у меня начинается брожение в крови, я еду к Дайверам, потому что знаю: здесь мне очень скоро захочется на войну.

Розмэри широко раскрыла глаза.

— Но ведь вы друг Дайверов, — сказала она.

— Конечно, особенно ее друг, но около них мне всегда хочется на войну.

Она попыталась понять его, но не смогла. Ей около Дайверов всегда хотелось одного: никогда с ними не расставаться.

— Вы наполовину американец, — сказала она, как будто в этом заключалось объяснение.

— Да, но наполовину и француз, а воспитывался и в Англии, и, с тех пор как мне исполнилось восемнадцать лет, я успел послужить в армиях восьми государств. Но я бы не хотел, чтобы у вас создалось впечатление, будто я не люблю Дайверов, — я их очень люблю, особенно Николь.

— Их нельзя не любить, — просто сказала она.

Ее вдруг словно оттолкнуло от этого человека. Какой-то неприятный обертон послышался ей в его речи, и она поспешила заслонить чувство обожания, с которым относилась к Дайверам, от его кощунственного цинизма. Она порадовалась, что не будет сидеть рядом с ним за обедом; когда она вместе с другими шла к столу, накрытому в саду, в ушах ее все еще звучало это «особенно ее друг».

По дороге она на какой-то миг оказалась рядом с Диком Дайвером. Перед его несокрушимым, ясным спокойствием все ее сомнения растворились в уверенности, что для него никаких сомнений нет. Весь последний год, а это было все равно что всю жизнь, она располагала деньгами, и уже пользовалась кой-какой славой, и могла общаться со знаменитостями, которые, впрочем, казались ей лишь сильно увеличенными копиями соседей,

докторской вдовы и ее дочери, по парижскому hotel-pension[3], Розмэри была романтична от природы, но в ее жизни редко находилось место для романтики. Миссис Спирс, твердо решив, что Розмэри должна сделать карьеру, не позволила бы ей разменяться на мишурные соблазны, навязывавшиеся со всех сторон; да и Розмэри сама уже переросла эту стадию — она работала в мире иллюзий, но не жила в нем. И когда на лице матери она прочитала одобрение Дику Дайверу, это означало, что тут можно не опасаться подделок, это означало разрешение не оглядываясь идти вперед.

— Я все время наблюдал за вами, — сказал Дик, и она знала, что это правда. — Мы вас очень полюбили.

— А я влюбилась в вас с первого раза, как только увидела, — тихо произнесла она.

Он сделал вид, что пропустил ее слова мимо ушей, как обыкновенную любезность.

— С новыми друзьями, — сказал он, словно изрекая важную истину, — часто чувствуешь себя лучше, чем со старыми.

Это замечание, смысл которого не совсем до

---

[3] Notes: 3
Отель-пансиону *(фр.)*.

нее дошел, было сделано в последнюю минуту — гости уже рассаживались вокруг стола, отвоеванного у синеватых сумерек медленно разгоравшимися фонарями. Что-то радостно дрогнуло у Розмэри внутри, когда она увидела, что Дик усадил ее мать по правую руку от себя; сама она оказалась между Брэди и Луисом Кампионом.

В избытке чувств она повернулась к Брэди, готовая ему довериться, но холодная искра, сверкнувшая в его глазах при первом упоминании о Дике, ясно показала, что роль исповедника не по нем. В свою очередь, она проявила непреклонность, когда он попытался завладеть ее рукой, и все время обеда они проговорили на профессиональные темы, вернее, он говорил на профессиональные темы, а она слушала с вежливым вниманием, хотя мысли ее так явно витали где-то далеко, что едва ли это могло от него укрыться. Время от времени случайно дошедшая фраза, дополненная тем, что отложилось в подсознании, помогала ей следить за сутью разговора; так иногда лишь с середины прислушаешься к бою часов, но ритм, застрявший в ушах, позволяет сосчитать пропущенные удары.

VII

Воспользовавшись паузой в разговоре, Розмэри перевела взгляд туда, где между Томми Барбаном и Эйбом Нортом сидела Николь и ее каштановые, как шерсть чау-чау, волосы мерцали и пенились в свете ламп и фонарей. Розмэри прислушалась, завороженная звучным голосом, ронявшим нечастые короткие фразы.

— Бедняга! Что вдруг за фантазия — распилить его пополам?

— Просто мне захотелось посмотреть, что у официанта внутри. Разве вам не интересно, что у официанта внутри?

— Старые меню, — смеясь, предположила Николь. — Черепки битой посуды, чаевые, огрызки карандаша.

— Скорей всего, но это требует научного доказательства. И потом, пила ведь была не простая, а музыкальная, что значительно облагородило бы все дело.

— А вы на ней собирались играть во время операции? — осведомился Томми.

— До этого у нас не дошло. Крик помешал. Мы испугались, как бы он не надорвался от крика.

— Все-таки странно, — сказала Николь. — Му-

зыкант хочет употребить инструмент другого музыканта на то, чтобы…

Обед длился уже полчаса, и за это время произошла ощутимая перемена: каждый сумел что-то отбросить — заботу, тревогу, подозрение — и теперь был только дайверовским гостем, самим собой, но в лучшем своем виде. Равнодушная или скучная мина могла быть истолкована как желание обидеть хозяев, и все наперебой старались, чтобы этого не произошло, и Розмэри, видя их старания, испытывала почти нежность ко всем, исключая Маккиско, который и тут ухитрился обособиться от остальных. Впрочем, не столько со зла, сколько из-за того, что решил закрепить вином приподнятое настроение, владевшее им в начале вечера. Своему соседу справа, Эрлу Брэди, он адресовал несколько уничтожающих замечаний о кино, соседку слева, миссис Абрамс, вообще не замечал; под конец от откинулся на спинку стула и уставился на Дика Дайвера с выражением сокрушительной иронии, но время от времени сам портил эффект попытками втянуть Дика в беседу по диагонали через стол.

— Вы, кажется, приятель Денби Ван Бюрена? — спрашивал он.

— Вроде бы не знаю такого.

— А я всегда считал, что вы его приятель, — настаивал он с раздражением.

Вслед за темой о мистере Ван Бюрене, которая засохла на корню, Маккиско испробовал еще несколько, столь же неудачных, но всякий раз его словно парализовала предупредительная вежливость Дика, и прерванный им разговор после короткой паузы шел дальше без него. Пробовал он вторгаться и в другие разговоры, но это выходило так, будто пожимаешь пустую перчатку, и в конце концов он умолк с видом взрослого, вынужденного мириться с детским обществом, и сосредоточил свое внимание на шампанском.

Розмэри время от времени обводила взглядом всех сидящих за столом, так заботливо следя за их настроением, словно готовилась им в мачехи. Свет лампы, искусно скрытый в букете ярких гвоздик, падал на лицо миссис Абрамс, в меру подрумяненное бокалом «Вдовы Клико», пышущее здоровьем, благодушием, детской жизнерадостностью; ее соседом был мистер Ройял Дамфри, девичья миловидность которого не так бросалась в глаза в праздничной атмосфере вечера. Дальше сидела Вайолет Маккиско; винные пары выманили наружу все приятное, что ей дала природа, и она перестала насильно убеждать себя в дву-

смысленности своего положения — положения жены карьериста, не сделавшего карьеры.

Потом — Дик, навьюченный грузом скуки, от которой он избавил других, целиком растворившийся в своих хозяйских заботах.

Потом ее мать, безупречная, как всегда.

Потом Барбан, занимавший ее мать беседой, светская непринужденность которой вернула ему расположение Розмэри. Потом Николь. Розмэри вдруг как-то по-новому увидела ее и подумала, что никогда не встречала никого красивее. Ее лицо — лик северной мадонны — сияло в розовом свете спрятанных среди листвы фонарей, за снежной завесой мошкары, кружившейся в освещенном пространстве. Она сидела тише тихого, слушая Эйба Норта, который толковал ей про свой моральный кодекс. «Конечно, у меня есть моральный кодекс, — настаивал он. — Человеку нельзя без морального кодекса. Мой состоит в том, что я против сожжения ведьм. Как услышу, что где-нибудь сожгли ведьму, просто сам не свой становлюсь». От Эрла Брэди Розмэри знала, что Эйб — композитор, который очень рано и очень блестяще начал, но вот уже семь лет ничего не пишет.

Дальше сидел Кампион; ему каким-то образом

удалось обуздать свои причудливые замашки и даже проявлять в общении с окружающими почти матерински бескорыстный интерес. Потом Мэри Норт, которая так весело сверкала в улыбке белыми зеркальцами зубов, что, глядя на них, трудно было не улыбнуться в ответ, — казалось, во всех порах кожи вокруг ее полуоткрытого рта разлито удовольствие.

И наконец, Брэди, в чьей свободной манере держаться все больше чувствовалась обходительность светского человека, а не только настойчивое и грубое подчеркиванье собственного душевного здоровья и умения сохранить его ценой равнодушия к чужим слабостям.

Для Розмэри, своей доверчивой непосредственностью похожей на маленькую героиню одного из опусов миссис Бернетт[4], этот вечер был как возвращение домой, как отдых после соленых шуток фронтира. В темноте сада загорались светлячки, где-то далеко внизу лаяла собака. Чудилось, что стол немного приподнялся над землей, как танцплощадка с особым механизмом, и

---

[4] Notes: 4

Фрэнсис *Бернетт* (1849–1924) — английская писательница, автор детских романов «Маленький лорд Фаунтлерой», «Маленькая принцесса» и «Таинственный сад». *Здесь и далее, за исключением переводов, прим. ред.*

у тех, кто сидел за ним, возникало такое чувство, будто они одни среди мрака вселенной, и пища, которую они едят, — единственная оставшаяся в ней пища, а тепло, согревающее их, — единственное ее тепло. Сдавленно хохотнула миссис Маккиско, и, как будто это был знак, что отрыв от земли совершился, Дайверы вдруг с удивленной лаской заулыбались своим гостям, — и так уже всячески ублаженным хозяйской любезностью, тонкой хозяйской лестью, возвышавшей их в собственных глазах, — словно желали вознаградить их за все поневоле оставленное на земле. Какой-то миг они оба, казалось, разговаривали с каждым отдельно, спеша уверить его в своей дружбе, своей симпатии. В этот миг повернутые к ним лица походили на лица нищенок на рождественской елке. И вдруг все оборвалось — обед был окончен, смелый порыв, вознесший гостей из простого застольного веселья в разреженную атмосферу высоких чувств, миновал, прежде чем они дерзнули вдохнуть эту атмосферу, прежде чем осознали, что находятся в ней.

Но магия теплой южной ночи, таившаяся в мягкой поступи тьмы, в призрачном плеске далекого прибоя, не развеялась, она перешла в Дайверов, стала частью их существа. Розмэри услышала, как

Николь уговаривает ее мать принять в подарок желтую атласную сумочку, которую та похвалила. «Вещи должны принадлежать тем, кому они нравятся», — смеялась она, засовывая в сумочку разные мелочи желтого цвета, попадавшиеся на глаза, — карандашик, футляр с губной помадой, маленькую записную книжку — «потому что это все одно к одному».

Николь исчезла, и тут только Розмэри заметила, что Дика тоже нет рядом; гости рассыпались по саду, некоторые потянулись к веранде.

— Вы не хотите пойти в уборную? — спросила, подойдя, миссис Маккиско.

У Розмэри такого желания не было.

— А я пойду, — объявила миссис Маккиско. — Мне нужно в уборную. — И твердой походкой женщины, презирающей условности, открыто направилась к дому, провожаемая неодобрительным взглядом Розмэри.

Эрл Брэди предложил спуститься вниз, к обрыву над морем, но Розмэри решила, что пора ей урвать немножко Дика Дайвера для себя, и потому осталась ждать его возвращения, от нечего делать слушая препирательства Маккиско с Барбаном.

— С какой стати вам воевать против Сове-

тов? — спрашивал Маккиско. — Я считаю, что они осуществляют величайший в истории человечества эксперимент. А Рифская республика[5]? По-моему, если уж воевать, так за тех, на чьей стороне правда.

— А как это определить? — сухо осведомился Барбан.

— Ну — всякому разумному человеку ясно.

— Вы что, коммунист?

— Я социалист, — сказал Маккиско. — Я сочувствую России.

— А вот я — солдат, — возразил Барбан весело. — Моя профессия убивать людей. Я дрался с рифами, потому что я европеец, и я дерусь с коммунистами, потому что они хотят отнять у меня мою собственность.

— Ну знаете ли…

Маккиско оглянулся в поисках союзников, которые помогли бы ему высмеять ограниченность Барбана, но никого не обнаружил. Он не понимал того, с чем столкнулся в Барбане, ни скудости его запаса идей, ни сложности его происхождения и воспитания. Что такое идеи, Маккиско знал и

---

[5] Notes: 5

Непризнанное государство в Северной Африке, созданное противниками европейских колонизаторов и власти марокканского султана и просуществовавшее с 1921 по 1926 год.

в процессе своего умственного развития учился распознавать и раскладывать по полочкам все большее их число, но Барбан поставил его в тупик; у этого «чурбана», как он его мысленно переименовал, он не мог обнаружить ни одной знакомой идеи, но в то же время не мог и почувствовать превосходства над ним, а потому поспешил ухватиться за спасительный вывод: Барбан — продукт отживающего мира, значит, он ничего не стоит. Из соприкосновения с теми, кто составляет своего рода аристократию Америки, Маккиско вынес вполне определенное впечатление; ему запомнился их неуклюжий и сомнительный снобизм, их пристрастие к невежеству и бравирование грубостью — позаимствованные у англичан, но без учета тех факторов, которые придают смысл английскому филистерству и английской грубости и перенесенные в страну, где даже минимальные познания и минимальная отесанность больше, чем где-либо, в цене, — словом, все то, апогеем чего явился так называемый гарвардский стиль девятисотых годов. За одного из подобных аристократов он принял Барбана, а хмель вышиб из него привычный страх перед людьми этого типа — и это неминуемо должно было кончиться плохо.

Розмэри сидела внешне спокойная (хотя почему-то ей было стыдно за Маккиско), но внутри ее жгло нетерпение — когда же наконец вернется Дик Дайвер? С ее места за опустевшим столом, где, кроме нее, остались только Барбан, Эйб и Маккиско, видна была дорожка, обсаженная миртом и папоротником, и в конце дорожки каменная терраса. Залюбовавшись профилем матери, четко вырисовывавшимся на фоне освещенной двери в дом, Розмэри хотела было встать и пойти туда, но в эту минуту, вся запыхавшись, прибежала миссис Маккиско.

Она источала возбуждение. Уже по тому, как она молча выдвинула стул и села, округлив глаза, беззвучно шевеля губами, ясно было — это человек, до краев переполненный новостями, и немудрено, что с вопросом мужа: «Что случилось, Вайолет?» — все глаза устремились на нее.

— Милые мои… — начала она, но тут же, прервав себя, обратилась уже к одной Розмэри: — Милая моя… нет, не могу. Не в силах говорить.

— Успокойтесь, вы среди друзей, — сказал Эйб.

— Милые мои, там, наверху, я застала такую сцену…

Она запнулась и с таинственным видом замотала головой — как раз вовремя, потому что Барбан

встал в сказал ей вежливо, но твердо:

— Я бы вам не советовал делать замечания о том, что происходит в этом доме.

VIII

Вайолет натужно, с шумом перевела дух и постаралась придать своему лицу более спокойное выражение.

Вернулся наконец Дик; с безошибочным чутьем он вклинился между Барбаном и супругами Маккиско и завел с Маккиско литературный разговор с позиций любознательного невежды, чем подарил собеседнику миг вожделенного чувства превосходства. Остальных он попросил перенести лампы в дом — кто же откажется от удовольствия шествовать с лампой в руках по темному саду, да еще сознавая, что делает дело? Розмэри тоже несла одну из ламп, терпеливо отвечая Ройялу Дамфри на бесконечные расспросы о Голливуде.

«Теперь-то уж я заслужила право побыть с ним наедине, — думала она. — И он сам не может не понимать этого, ведь он живет по тем же законам, по которым мама учила жить меня».

Розмэри не ошиблась — скоро он нашел случай ускользнуть с ней вдвоем от общества на террасе,

и сразу же их повлекло вниз, к обрыву над морем, куда вели не столько ступени, сколько крутые и неровные уступы, и Розмэри одолевала их то с усилием, то словно летя.

Стоя у парапета, они смотрели на Средиземное море. Запоздалый экскурсионный пароходик с острова Леренс парил в заливе, как воздушный шар на празднике Четвертого июля, оторвавшийся и улетевший в облака. Он парил среди чернеющих островков, мягко расталкивая темную воду.

— Мне понятно, отчего вы всегда с таким чувством говорите о своей матери, — сказал Дик. — Ее отношение к вам просто удивительно. В Америке редко встретишь таких умных матерей.

— Моя мама — совершенство, — благоговейно произнесла Розмэри.

— У меня тут явилась одна мысль, которую я ей высказал. Как я понял, еще не решено, сколько вы пробудете во Франции, — это зависит от вас.

«Это зависит от вас», — едва не выкрикнула Розмэри.

— Так вот — поскольку здесь все уже кончено…

— Все кончено? — переспросила Розмэри.

— Я хочу сказать — с Тармом уже кончено

на этот год. На прошлой неделе уехала сестра Николь, завтра уезжает Томми Барбан, в понедельник — Эйб и Мэри Норт. Может быть, нас ждет еще много приятного этим летом, но уже не здесь. Я не люблю сентиментального угасания — умирать, так с музыкой, для того я и затеял этот обед. А мысль моя вот какая: мы с Николь едем в Париж проводить Эйба Норта, он возвращается в Америку, так не хотите ли и вы поехать с нами?

— А что сказала мама?

— Что мысль отличная. Что самой ей ехать не хочется. И что она готова отпустить вас одну.

— Я не была в Париже с тех пор, как стала взрослой, — сказала Розмэри.

— Побывать там с вами — большая радость для меня.

— Спасибо на добром слове. — Показалось ли ей, что в его голове вдруг зазвенел металл? — Мы все приметили вас, как только вы появились на пляже. Вы так полны жизни — Николь сразу сказала, что вы, наверное, актриса. Такое не растрачивается на одного человека или хотя бы на нескольких.

Чутье подсказало ей: он потихоньку поворачивает ее в сторону Николь; и она привела в готовность тормоза, не собираясь поддаваться.

— Мне тоже сразу захотелось познакомиться с вашей компанией — особенно с вами. Я же вам говорила, что влюбилась в вас с первого взгляда.

Ход был рассчитан правильно. Но беспредельность пространства между небом и морем уже охладила Дика, погасила порыв, заставивший его увлечь ее сюда, помогла расслышать чрезмерную откровенность обращенного к нему зова, почуять опасность, скрытую в этой сцене без репетиций и без заученных слов.

Теперь нужно было как-то добиться, чтобы она сама пожелала вернуться в дом, но это было непросто, и, кроме того, ему не хотелось отказываться от нее. Он добродушно пошутил — холодком повеяло на нее от этой шутки:

— Вы сами не знаете, чего вам хочется. Спросите у мамы, она вам скажет.

Ее оглушило, как от удара. Она дотронулась до его рукава, гладкая материя скользнула под пальцами, точно ткань сутаны. Почти поверженная ниц, она сделала еще один выстрел:

— Для меня вы самый замечательный человек на свете — после мамы.

— Вы смотрите сквозь романтические очки.

Он засмеялся, и этот смех погнал их наверх к террасе, где он с рук на руки передал ее Николь…

Уже настала пора прощаться. Дайверы позаботились о том, чтобы все гости были доставлены домой без хлопот. В большой дайверовской «изотте» разместились Томми Барбан со своим багажом — решено было, что он переночует в отеле, чтобы поспеть к утреннему поезду, — миссис Абрамс, чета Маккиско и Кампион; Эрл Брэди, возвращавшийся в Монте-Карло, взялся подвезти по дороге Розмэри с матерью; с ними сел также Ройял Дамфри, которому не хватило места в дайверовском лимузине. В саду над столом, где недавно обедали, еще горели фонари; Дайверы, как радушные хозяева, стояли у ворот — Николь цвела улыбкой, смягчавшей ночную тень. Дик каждому из гостей отдельно желал доброй ночи. Боль пронзила Розмэри от того, что вот сейчас она уедет, а они здесь останутся вдвоем. И снова она подумала: что же такое видела миссис Маккиско?

IX

Ночь была черная, но прозрачная, точно в сетке подвешенная к одинокой тусклой звезде. Вязкая густота воздуха приглушала клаксон шедшей впереди «изотты». Шофер Брэди вел машину не торопясь; задние фары «изотты» иногда лишь

показывались на повороте дороги, а потом и вовсе исчезли из виду. Минут через десять, однако, «изотта» вдруг возникла впереди, неподвижно стоящая у обочины. Шофер Брэди притормозил, но в ту же минуту она опять тронулась, однако так медленно, что они легко обогнали ее. При этом они слышали какой-то шум внутри респектабельного лимузина и видели, что шофер лукаво ухмыляется за рулем. Но они пронеслись мимо, набирая скорость на пустынной дороге, где ночь то подступала с обеих сторон валами черноты, то тянулась сквозистой завесой; и, наконец, несколько раз стремительно нырнув под уклон, они очутились перед темной громадой отеля Госса.

Часа три Розмэри удалось подремать, а потом она долго лежала с открытыми глазами, словно паря в пустоте. В интимном сумраке длящейся ночи воображение рисовало ей новые и новые повороты событий, неизменно приводившие к поцелую, но поцелуй был бесплотный, как в кино. Потом, ворочаясь с боку на бок в первом своем знакомстве с бессонницей, она попыталась думать о том, что ее занимало, так, как об этом думала бы ее мать. На помощь пришли обрывки давних разговоров, которые отложились где-то в

подсознании и теперь всплывали наверх, возмещая отсутствие жизненного опыта.

Розмэри с детства была приучена к мысли о труде. Схоронив двух мужей, миссис Спирс свои скромные вдовьи достатки потратила на воспитание дочери, и когда та к шестнадцати годам расцвела во всей своей пышноволосой красе, повезла ее в Экс-ле-Бен и, не дожидаясь приглашения, заставила постучаться к известному американскому кинопродюсеру, лечившемуся местными водами. Когда продюсер уехал в Нью-Йорк, уехали и мать с дочерью. Так Розмэри выдержала свой вступительный экзамен. Потом пришел успех, заложивший основу сравнительно обеспеченного будущего, и это дало право миссис Спирс сегодня без слов сказать ей примерно следующее:

«Тебя готовили не к замужеству — тебя готовили прежде всего к труду. Вот теперь тебе попался первый крепкий орешек, и такой, который стоило бы расколоть. Что же, попробуй — выйдет, не выйдет, в убытке ты не останешься. Приобретешь опыт, быть может, ценой страдания, своего или чужого, но сломить тебя это не сломит. Ты хоть и девушка, но стоишь в жизни на собственных ногах, и в этом смысле все равно что мужчина».

Розмэри не привыкла размышлять — разве что о материнских совершенствах, — но в эту ночь отпала наконец пуповина, связывавшая ее с матерью, и немудрено, что ей не спалось. Как только забрезживший рассвет придвинул небо вплотную к высоким окнам, она встала и вышла на веранду, босыми ступнями ощущая тепло не остывшего за ночь камня. Воздух был полон таинственных звуков; какая-то настырная птица злорадно ликовала в листве над теннисным кортом, на задворках отеля чьи-то шаги протопали по убитому грунту, проскрипели по щебенке, простучали по бетонным ступеням; потом все повторилось в обратном порядке и стихло вдали. Над чернильной гладью залива нависла тень высокой горы, где-то там жили Дайверы. Ей почудилось — вот они стоят рядом, напевая тихую песню, неуловимую, как дым, как отголосок древнего гимна, сложенного неведомо где, неведомо кем. Их дети спят, их ворота заперты на ночь.

Она вернулась к себе, надела сандалеты и легкое платье, снова вышла и направилась к главному крыльцу — чуть ли не бегом, потому что на ту же веранду выходили двери других номеров, откуда струился сон. На широкой белой парадной лестнице чернела какая-то фигура;

Розмэри остановилась было в испуге, но в следующее мгновение узнала Луиса Кампиона — он сидел на ступеньке и плакал.

Он плакал тихо, но горестно, и у него по-женски тряслись от рыданий спина и плечи. Все это в точности напоминало сцену из фильма, в котором Розмэри снималась прошлым летом, и, невольно повторяя свою роль, она подошла и дотронулась до его плеча. Он взвизгнул от неожиданности, не сразу разобрав, кто перед ним.

— Что с вами? — Ее глаза приходились на уровне его глаз, и в них было участие, а не холодное любопытство. — Не могу ли я чем-нибудь помочь?

— Мне никто не может помочь. Я сам виноват во всем. Знал ведь. Всякий раз одно и то же.

— Но, может быть, вы мне скажете, что случилось?

Он посмотрел на нее, как бы взвешивая, стоит ли.

— Нет, — решил он в конце концов. — Вы слишком молоды и не знаете, что приходится претерпевать тому, кто любит. Муки ада. Когда-нибудь и вы полюбите, но чем позже, тем лучше. Со мной это не первый раз, но такого еще не бывало. Казалось, все так хорошо, и вдруг…

Его лицо было на редкость противным в прибывающем утреннем свете. Розмэри не дрогнула, не поморщилась, ничем не выдала внезапно охватившего ее отвращения, но у Кампиона было обостренное чутье, и он поспешил переменить тему:

— Эйб Норт где-то тут поблизости.

— Что вы, он ведь живет у Дайверов.

— Да, но он приехал — вы разве ничего не знаете?

В третьем этаже со стуком распахнулось окно, и голос, явно принадлежавший англичанину, прошепелявил:

— Нельзя ли потише!

Розмэри и Луис Кампион устыженно спустились вниз и присели на скамью у дорожки, ведущей к пляжу.

— Так вы совсем, совсем ничего не знаете? Дорогая моя, произошла невероятная вещь… — Он даже повеселел, воодушевленный выпавшей ему ролью вестника. — И главное, все так скоропалительно и непривычно для меня — я, знаете, стараюсь держаться подальше от вспыльчивых людей — они меня нервируют, я просто заболеваю, и надолго.

В его взгляде светилось торжество. Она явно не

понимала, о чем идет речь.

— Дорогая моя, — провозгласил он, положив руку ей на колено и при этом весь подавшись вперед в знак того, что это не был случайный жест. Он теперь чувствовал себя хозяином положения. — Будет дуэль.

— Что-о?

— Дуэль на… пока еще неизвестно на чем.

— Но у кого дуэль, с кем?

— Сейчас я вам все расскажу. — Он шумно перевел дух, потом изрек, будто констатируя нечто, не делающее ей чести, чем он, однако же, великодушно пренебрег: — Вы ведь ехали в другой машине. Что ж, ваше счастье — мне это будет стоить года два жизни, не меньше. И все так скоропалительно произошло…

— Да что произошло?

— Не знаю даже, с чего все началось. Она вдруг завела разговор…

— Кто — она?

— Вайолет Маккиско. — Он понизил голос, как будто под скамейкой кто-то сидел. — Только ни слова про Дайверов, а то он грозил бог весть чем каждому, кто хотя бы заикнется о них.

— Кто грозил?

— Томми Барбан. Так что вы не проговоритесь,

что слышали что-нибудь от меня. И все равно, мы так и не узнали, что хотела рассказать Вайолет, потому что он все время перебивал, а потом муж вмешался, и вот теперь будет дуэль. Сегодня в пять утра — ровно через час. — Он тяжело вздохнул, вспомнив собственное горе. — Ах, дорогая моя, лучше бы это случилось со мной. Пусть бы меня убили на дуэли, мне теперь все равно не для чего жить. — Он всхлипнул и скорбно закачался из стороны в сторону.

Опять стукнуло окно наверху, и тот же голос сказал:

— Да что же это за безобразие, в конце концов!

В эту минуту из отеля вышел Эйб Норт, как-то неуверенно глянул туда, сюда и увидел Розмэри и Кампиона, чьи фигуры отчетливо выделялись на фоне уже совсем посветлевшего над морем неба. Он хотел было заговорить, но Розмэри предостерегающе затрясла головой, и они перешли на другую скамейку, подальше. Розмэри заметила, что Эйб чуточку пьян.

— А вы-то чего не спите? — спросил он ее.

— Я только что вышла. — Она чуть было не рассмеялась, но вовремя вспомнила грозного британца наверху.

— Привороженная руладой соловья? — про-

декламировал Эйб и сам же подтвердил: — Вот именно, руладой соловья. Вам этот деятель рукодельного кружка рассказал, какая история вышла?

Кампион возразил с достоинством:

— Я знаю только то, что слышал собственными ушами.

Он встал и быстрым шагом пошел прочь. Эйб сел возле Розмэри.

— Зачем вы с ним так резко?

— Разве резко? — удивился Эйб. — Хнычет тут все утро, надоел.

— Может быть, у него какая-то беда.

— Может быть.

— А что это за разговор о дуэли? У кого, с кем? Когда мы поравнялись на дороге с их машиной, мне показалось, будто там происходит что-то странное. Но неужели это правда?

— Вообще это, конечно, бред собачий, но тем не менее правда.

X

— Ссора, оказывается, началась перед тем, как машина Эрла Брэди обогнала дайверовский лимузин, стоявший у обочины... — Ровный голос Эйба вливался в гулкую предутреннюю тиши-

ну. — Вайолет Маккиско стала рассказывать миссис Абрамс что-то про Дайверов, какое-то она там сделала наверху в доме открытие, которое прямо-таки ошеломило ее. А Томми, он за Дайверов готов любому перегрызть горло. Правда, эта Маккиско довольно противная особа, но дело не в этом, а в том, что чета Дайверов, именно *чета* Дайверов, занимает в жизни своих друзей особенное место, многие даже сами не вполне это сознают. Конечно, при таком отношении что-то теряется, иногда чувствуешь себя с ними так, будто сидишь в театре и смотришь на прелестную балетную пару, а балет — это зрелище, которое восхищает, но не волнует; но на самом деле все тут гораздо сложнее — в двух словах не объяснишь. Так или иначе Томми — один из тех, кто через Дика стал близок и к Николь, и чуть только Маккиско дала языку волю, он ее сразу осадил:

— Миссис Маккиско, будьте добры прекратить этот разговор.

— Я не с вами разговариваю, — возразила она.

— Все равно, я вас прошу Дайверов не касаться.

— А что, это такая святыня?

— Оставьте Дайверов в покое, миссис Маккиско. Найдите себе другую тему.

Томми сидел на одном из откидных сидений. На другом сидел Кампион, от него я и узнал обо всем.

— А вы мне не указывайте, — озлилась Вайолет.

Вы знаете, как это бывает, когда люди ночью, в машине возвращаются из гостей — кто-то переговаривается вполголоса, кто-то задумался о своем, кто-то дремлет от усталости. Вот и здесь — все только тогда опомнились, когда машина остановилась и Барбан закричал громовым голосом кавалерийского командира:

— Выходите из машины! До отеля не больше мили, дойдете пешком, а не дойдете — дотащат. Я больше не желаю слышать ни вашего голоса, ни голоса вашей жены!

— Это насилие! — закричал Маккиско. — Вы пользуетесь тем, что физически я слабее вас. Но вам меня не запугать. Жаль, у нас не существует дуэльного кодекса.

Он забыл, что Томми — француз, в этом была его ошибка. Томми размахнулся и дал ему пощечину — тут шофер решил, что нужно ехать дальше. В эту минуту ваша машина и поравнялась с ними. Женщины, конечно, подняли визг. Вся эта кутерьма продолжалась до самого отеля.

Томми позвонил знакомому в Канн и попросил быть его секундантом. Маккиско не захотел брать в секунданты Кампиона, — который, впрочем, к этому и не рвался, — а позвонил мне и, не вдаваясь в подробности, просил немедленно приехать сюда. Вайолет Маккиско сделалось дурно, миссис Абрамс увела ее к себе, напоила каплями, и та благополучно уснула на ее кровати. Приехав и узнав, в чем дело, я попробовал урезонить Томми, но он требовал, чтобы Маккиско принес ему извинения, а Маккиско расхрабрился и извиниться не пожелал.

Выслушав Эйба, Розмэри с тревогой спросила:

— А Дайверы знают, что все вышло из-за них?

— Нет — и не узнают никогда. Этот идиот Кампион совершенно напрасно и вас посвятил во все, но этого уже не исправишь. А шоферу я сказал: если он вздумает болтать, я пущу в ход свою знаменитую музыкальную пилу. Но Томми все равно не успокоится — ему нужна настоящая война, а не стычка один на один.

— Только бы Дайверы не узнали, — сказала Розмэри.

— Пойду проведаю Маккиско. Хотите со мной? Ему будет приятно ваше участие — бедняга, верно, ни на миг глаз не сомкнул.

Розмэри живо представилось, как этот нескладный, болезненно обидчивый человек мечется без сна в ожидании рассвета. С минуту она колебалась, потом жалость пересилила в ней отвращение, и, кивнув головой, она по-утреннему бодро взбежала по лестнице вместе с Эйбом.

Маккиско сидел на кровати с бокалом шампанского, но вся его хмельная воинственность улетучилась без следа. Сейчас это был хилый, бледный, насупленный человечек. Видимо, он всю ночь напролет пил и писал. Он растерянно оглянулся на Эйба и Розмэри.

— Уже пора?

— Нет, еще с полчаса в вашем распоряжении.

На столе валялись исписанные листки бумаги, — очевидно, разрозненные страницы длинного письма. Не без труда подобрав их по порядку — на последних страницах строчки были очень размашистые и неразборчивые, — он придвинул настольную лампу, свет которой с наступающим утром постепенно тускнел, нацарапал внизу свою подпись, затолкал послание в конверт и вручил Эйбу со словами:

— Моей жене.

— Пойдите суньте голову под кран с холодной водой, — посоветовал ему Эйб.

— Вы думаете, нужно? — неуверенно спросил Маккиско. — Я бы не хотел совсем протрезвиться.

— Да на вас смотреть страшно.

Маккиско покорно поплелся в ванную.

— Мои дела остаются в жутком беспорядке! — крикнул он оттуда. — Не знаю, как Вайолет доберется домой, в Америку. Я даже не застрахован. Все как-то руки не доходили.

— Не мелите вздор, через час вы будете благополучно завтракать в отеле.

— Да, да, конечно.

Он вернулся с мокрыми волосами и недоуменно посмотрел на Розмэри, будто впервые ее увидел. Вдруг его глаза помутнели от слез.

— Мой роман так и не будет дописан. Вот что для меня самое тяжелое. Вы ко мне плохо относитесь, — обратился он к Розмэри, — но тут уж ничего не поделаешь. Я прежде всего — писатель. — Он как-то уныло икнул и помотал головой с безнадежным видом. — Я много ошибался в своей жизни — очень много. Но я был одним из самых выдающихся — в некотором роде…

Он не договорил и стал сосать потухшую сигарету.

— Я к вам очень хорошо отношусь, — сказала

Розмэри, — но мне не нравится вся эта история с дуэлью.

— Да, надо было просто избить его как следует, но сделанного не вернешь. Я дал себя спровоцировать на поступок, которого не имел права совершать. Я чересчур вспыльчив...

Он внимательно посмотрел на Эйба, словно ожидая возражений с его стороны. Потом с судорожным смешком опять поднес к губам сигарету. Было слышно, как он учащенно дышит.

— Беда в том, что я сам заговорил о дуэли. Если б еще Вайолет смолчала, я бы сумел все уладить. Конечно, еще и сейчас не поздно — можно взять и уехать или обратить все в шутку. Но боюсь, Вайолет тогда перестанет уважать меня.

— Вовсе нет, — сказала Розмэри. — Она даже станет уважать вас больше.

— Вы не знаете Вайолет. Если она чувствует себя в чем-то сильнее другого, она может быть очень жестокой. Мы женаты двенадцать лет, была у нас дочка, она умерла, когда ей шел восьмой год, а потом — знаете, как оно бывает в таких случаях. Мы оба стали кое-что позволять себе на стороне, не то чтобы всерьез, но все-таки это нас отдаляло друг от друга. А вчера она меня там обозвала трусом.

Розмэри, смущенная, молчала.

— Ладно, постараемся, чтобы все обошлось без последствий, — сказал Эйб и открыл большой кожаный футляр. — Вот дуэльные пистолеты Барбана — я прихватил их, чтобы вы могли заранее с ними освоиться. Он всегда возит их в своем чемодане. — Эйб взял один из пистолетов и взвесил на руке. Розмэри испуганно вскрикнула, а Маккиско с явной опаской уставился на это архаическое оружие.

— Неужели, чтобы нам обменяться выстрелами, нужны пистолеты сорок пятого калибра?

— Не знаю, — безжалостно сказал Эйб. — Считается, что из длинноствольного пистолета удобнее целиться.

— А с какого расстояния? — спросил Маккиско.

— Я разузнал все порядки. Если цель поединка — лишить противника жизни, назначают восемь шагов, если хотят выместить на нем разгоревшуюся злобу — двадцать, а если речь идет только о защите чести — сорок. Мы с секундантом Томми порешили на сорока.

— Хорошо.

— Интересная дуэль описана в одной повести

Пушкина[6], — вспомнил Эйб. — Противники стояли оба на краю пропасти, так что даже получивший пустяковую рану должен был погибнуть.

Этот экскурс в историю литературы, видимо, не дошел до Маккиско, он недоуменно посмотрел на Эйба и спросил:

— Что, что?

— Не хотите ли разок окунуться в море — это вас освежит.

— Нет, нет, мне не до купанья. — Он вздохнул. — Я ничего не понимаю, — сказал он. — Зачем я это делаю?

Впервые в жизни ему приходилось что-то делать. Он был из тех людей, для которых чувственный мир не существует, и, очутившись перед конкретным фактом, он совершенно растерялся.

— Что ж, будем собираться, — видя его состояние, сказал Эйб.

— Хорошо. — Он отхлебнул порядочный глоток бренди, сунул фляжку в карман и спросил, как-то дико поводя глазами: — А вдруг я убью его — меня тогда посадят в тюрьму?

---

[6] Notes: 6

Эйб ошибается: такая дуэль описана в романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова.

— Я вас переброшу через итальянскую границу.

Он оглянулся на Розмэри, потом сказал Эйбу виноватым тоном:

— Прежде чем идти, я бы хотел кое о чем поговорить с вами наедине.

— Я надеюсь, что ни один из вас не будет ранен, — сказала Розмэри. — Эта дуэль — ужасная глупость, и нужно постараться, чтобы она не состоялась.

XI

Внизу, в пустынном вестибюле, Розмэри встретила Кампиона.

— Я видел, как вы пошли наверх, — заговорил он возбужденно. — Ну, как там Маккиско? Когда состоится дуэль?

— Не знаю. — Ей не понравился его тон — словно речь шла о цирковом представлении с Маккиско в амплуа трагического клоуна.

— Поедемте со мной. Я заказал машину в отеле, — сказал он так, как говорят: «У меня есть лишний билет».

— Спасибо, не хочется.

— А почему? Я бы ни за что не согласился пропустить такое событие, хоть это наверняка

сократит мою жизнь на несколько лет. Мы можем остановить машину, не доезжая до места, и смотреть издали.

— Пригласите лучше мистера Дамфри.

Кампион выронил свой монокль, на этот раз не нашедший пристанища в курчавых зарослях, и с достоинством выпрямился.

— С ним у меня больше нет ничего общего.

— К сожалению, я никак не могу поехать. Мама будет недовольна.

Когда Розмэри вернулась к себе, в соседней комнате заскрипела кровать и сонный голос миссис Спирс спросил:

— Где ты была?

— Мне просто не спалось, и я вышла на воздух. А ты спи, мамочка.

— Иди сюда.

Догадавшись по звуку, что мать села в постели, Розмэри вошла и рассказала ей обо всем случившемся.

— А почему тебе в самом деле не поехать? — сказала миссис Спирс. — Ведь можно оставаться на расстоянии, а потом, в случае чего, твоя помощь очень пригодится.

Розмэри колебалась — ей неприятно было вообразить себя глазеющей на подобное зрелище,

но у миссис Спирс мысли еще путались со сна, и из ее прошлого докторской жены наплывали воспоминания о ночных вызовах на место катастрофы или к постели умирающего.

— Мне хочется, чтобы ты сама, без меня, решала, куда тебе идти и что делать, — делала же ты для рекламных трюков Рэйни многое, что было потруднее.

Розмэри по-прежнему казалось, что ехать ей незачем, но она повиновалась отчетливому, твердому голосу матери — как повиновалась в двенадцать лет, когда этот же голос велел ей войти в театр «Одеон» с артистического подъезда и потом ласково поздравил ее с удачей.

Выйдя на крыльцо, Розмэри увидела, как отъехал автомобиль, увозивший Маккиско и Эйба, и облегченно вздохнула, но тут из-за угла выкатилась машина отеля. Восторженно пискнув, Луис Кампион втащил Розмэри на сиденье рядом с собой.

— Я нарочно выжидал, боялся, вдруг они не позволят нам ехать. А я, видите, и киноаппарат прихватил.

Она усмехнулась, не зная, что сказать. Он был до того отвратителен, что уже не внушал и отвращения, просто воспринимался как нелюдь.

— Почему миссис Маккиско невзлюбила Дайверов? — спросила она. — Они были так любезны к ней.

— При чем тут «невзлюбила»? Она там что-то такое увидела. А что, мы так и не узнали из-за Барбана.

— Значит, не это вас так расстроило?

— Ну что вы. — Его голос дрогнул. — *То* случилось после нашего возвращения в отель. Но теперь мне уже все равно — не хочу больше и думать об этом.

Следом за машиной Эйба они выехали на береговое шоссе, миновали Жуан-ле-Пэн с остовом строящегося здания казино и поехали дальше на восток. Был пятый час утра, и под серо-голубым небом уже выходили, поскрипывая, в море первые рыбачьи лодки. Немного спустя обе машины свернули с шоссе влево и стали удаляться от моря.

— Сейчас мы увидим поле для гольфа! — закричал Кампион. — Я уверен, там это и будет.

Он оказался прав. Когда машина Эйба остановилась впереди, небо на востоке уже было разрисовано желтыми и красными полосами, предвещавшими знойный день. Розмэри и Кампион велели шоферу дожидаться в сосновой

роще, а сами пошли вдоль тенистой опушки, огибая край поля, где по выжженной солнцем траве расхаживали Эйб и Маккиско — последний временами вытягивал шею, как принюхивающийся кролик. Но вот у дальней отметины для мяча появились еще какие-то фигуры — впереди можно было распознать Барбана, за ним француз-секундант нес под мышкой ящик с пистолетами.

Оробевший Маккиско юркнул за спину Эйба и основательно приложился к фляжке с бренди. После чего, давясь и кашляя, поспешил дальше и налетел бы с разгону на двигавшегося навстречу противника, если б не Эйб, который удержал его на полдороге, а сам отправился совещаться с французом. Солнце уже взошло над горизонтом.

Кампион вцепился Розмэри в плечо.

— Ох, не могу, — просипел он едва слышно. — Это для меня чересчур. Это сократит мою жизнь на…

— Пустите меня! — крикнула на него Розмэри и, отвернувшись, с жаром зашептала французскую молитву.

Дуэлянты встали друг против друга — Барбан с засученным выше локтя рукавом. Его глаза беспокойно поблескивали на солнце, но он вытер ладонь о штанину неторопливым и размеренным

движением. Маккиско, которому бренди придало отваги, сжал губы дудочкой и с напускным равнодушием поводил своим длинным носом, пока Эйб не шагнул вперед, держа в руке носовой платок. Секундант-француз смотрел в другую сторону. Розмэри, душимая мучительным состраданием, скрежетала зубами от ненависти к Барбану.

— Раз — два — три! — напряженным голосом отсчитал Эйб.

Два выстрела грянули одновременно. Маккиско пошатнулся, но тут же овладел собой. Оба дуэлянта промахнулись.

— Достаточно! — крикнул Эйб.

Все вопросительно посмотрели на Барбана.

— Я не удовлетворен.

— Вздор! Вы вполне удовлетворены, — сердито сказал Эйб. — Вы просто сами еще этого не поняли.

— Ваш подопечный отказывается от второго выстрела?

— Не валяйте дурака, Томми. Вы настояли на своем, и мой доверитель исполнил все, что от него требовалось.

Томми презрительно рассмеялся.

— Расстояние было смехотворным, — сказал он. — Я не привык к подобным комедиям —

напомните своему подопечному, что он не в Америке.

— А вы полегче насчет Америки, — довольно резко оборвал его Эйб. И более примирительным тоном добавил: — Правда, Томми, это все слишком далеко зашло. — С минуту они о чем-то препирались вполголоса, потом Барбан кивнул и холодно поклонился издали своему недавнему противнику.

— А обменяться рукопожатием? — спросил француз-врач.

— Они уже знакомы, — ответил Эйб.

Он повернулся к Маккиско.

— Пойдемте, здесь больше нечего делать.

Уже на ходу Маккиско в порыве ликования схватил Эйба за руку.

— Постойте-ка, — сказал Эйб. — Нужно вернуть Томми его пистолет. Он ему еще понадобится.

Маккиско протянул пистолет Эйбу.

— Ну его к черту, — сказал он задиристо. — Передайте, что он…

— Может быть, передать, что вы хотели бы еще раз обменяться с ним выстрелами?

— Вот я и дрался на дуэли! — воскликнул Маккиско, когда они наконец пошли к машине. — И показал, на что я способен. Я был на высоте,

верно?

— Вы были пьяны, — отрезал Эйб.

— Вовсе нет.

— Ну нет так нет.

— А если я даже глотнул раз-другой, что от этого меняется?

Все больше набираясь апломба, он уже недружелюбно поглядывал на Эйба.

— Что от этого меняется? — настаивал он.

— Если вам непонятно, объяснять, пожалуй, не стоит.

— А вы разве не знаете, что во время войны все всегда были пьяны?

— Ладно, поставим точку.

Но точку, оказывается, было еще рано ставить. Кто-то бежал вдогонку; они остановились, и к ним подошел запыхавшийся врач.

— Pardon, messieurs, — заговорил он, отдуваясь. — Voulez-vous regler mes honoraires? Naturellement c'est pour soins medicaux seulement. M. Barban n'a qu'un billet de mille et ne peut pas les regler et l'autre a laisse son porte-monnaie chez

lui[7].

— Француз остается французом, — заметил Эйб, потом спросил врача: — Combien?[8]

— Дайте я заплачу, — предложил Маккиско.

— Не надо, у меня есть. Мы все рисковали одинаково.

Пока Эйб расплачивался с врачом, Маккиско вдруг метнулся в кусты, и там его вырвало. Вышел он оттуда бледнее прежнего и чинно проследовал за Эйбом к машине в лучах совсем уже розового утреннего солнца.

А в сосновой роще лежал, судорожно ловя ртом воздух, Кампион, единственная жертва дуэли, и Розмэри в припадке истерического смеха пинала его носком сандалеты в бок. Она не успокоилась, пока не заставила его встать и идти — для нее теперь важно было только одно: через несколько часов она увидит на пляже того, кого мысленно все еще называла словом «Дайверы».

---

[7] Notes: 7

Простите, господа. Я хотел бы получить причитающийся мне гонорар. Только за медицинскую помощь, разумеется. Господин Барбан не мог рассчитаться, так как у него есть только тысячефранковая купюра. А другой господин забыл кошелек дома *(фр.)*.

[8] Notes: 8

Сколько? *(фр.)*

XII

Вшестером они сидели у Вуазена, дожидаясь Николь, — Розмэри, Норты, Дик Дайвер и двое молодых музыкантов-французов. Сидели и внимательно приглядывались к другим посетителям ресторана: Дик утверждал, что ни один американец — за исключением его самого — не умеет спокойно держаться на людях, и они искали примера, чтобы поспорить на этот счет. Но, как назло, за десять минут не нашлось никого, кто, войдя в зал, не сделал бы какого-то ненужного жеста, не провел бы рукой по лицу, например.

— Зря мы перестали носить нафабренные усы, — сказал Эйб. — Но все-таки это неверно, что Дик — единственный, кто способен держаться спокойно.

— Нет, верно, — возразил Дик.

— Единственный, кто на это способен в трезвом виде, — с такой оговоркой я еще, пожалуй, готов согласиться.

Недалеко от них хорошо одетый американец и две его спутницы, непринужденно болтая, рассаживались вокруг освободившегося столика. Вдруг американец почувствовал, что за ним следят; тотчас же его рука дернулась кверху и

стала разглаживать несуществующую складку на галстуке. Другой мужчина, дожидавшийся места, то и дело похлопывал себя по гладко выбритой щеке, а его спутник машинально мял пальцами недокуренную сигару. Кто-то вертел в руках очки, кто-то дергал волосок бородавки; другие, кому уцепиться было не за что, поглаживали подбородок или отчаянно теребили мочку уха.

Но вот в дверях появился генерал, чье имя было хорошо известно многим, и Эйб Норт, в расчете на вест-пойнтскую муштру, с первого года входящую в плоть и кровь будущего военного, предложил Дику пари на пять долларов.

Свободно опустив руки вдоль туловища, генерал дожидался, когда его усадят. Вдруг обе руки качнулись назад, как у дергунчика, и Дик уже открыл рот для торжествующего возгласа, но генерал вновь обрел равновесие, и все облегченно перевели дух — тревога была ложная, официант пододвигал гостю стул… И тут раздосадованный полководец резким движением почесал свои белоснежные седины.

— Ну, кто был прав? — самодовольно сказал Дик. — Конечно, я — единственный.

Для Розмэри, во всяком случае, это было так, и Дик, воздавая должное благодарной аудитории,

сумел создать за своим столом такое дружное веселье, что Розмэри никого и ничего не замечала вокруг. Они приехали в Париж два дня назад, но все еще словно бы не выбрались из-под пляжного зонта. Иногда Розмэри, еще не искушенная опытом светских раутов Голливуда, робела в непривычной обстановке — как, например, на балу Пажеского корпуса, где они были накануне; но Дик сразу приходил на помощь: здоровался по-приятельски с двумя-тремя избранными (у Дайверов везде оказывалось множество знакомых, с которыми они, однако, подолгу не виделись, судя по изумленным возгласам: «Да где же это вы пропадаете?») и тотчас же вновь замыкал границы своего тесного кружка, и каждого, кто пытался туда проникнуть, ждал мягкий, но решительный отпор — этакий coup de grace[9], нанесенный шпагой иронии. Вскоре Розмэри уже чудилось, будто и сама она знавала этих людей в далеком и неприятном прошлом, но впоследствии разошлась с ними, отвернулась от них, вычеркнула их из своей жизни.

Компания Дика была сокрушительно американская, а иногда вдруг казалось, что ничего

---

[9] Notes: 9
Приканчивающий удар *(фр.)*.

в ней американского нет. Все дело было в том, что он возвращал американцев самим себе, воскрешал в них черты, стертые многолетними компромиссами.

В дымном, пропитанном острыми ароматами пищи сумраке ресторана заголубел костюм Николь, точно кусочек яркого летнего дня ворвался снаружи. За столом ее встретили взгляды, в которых было восхищение ее красотой, и она отвечала сияющей благодарной улыбкой. Потом пошли любезности, обычная светская болтовня о том о сем и ни о чем. Потом, когда это надоело, начали обмениваться шуточками, даже шпильками, наконец, стали строить всякие планы. Много смеялись, а чему, сами не могли после вспомнить, но смеялись от души, а мужчины распили три бутылки вина. В тройке женщин за этим столом отразился пестрый поток американской жизни. Николь — внучка разбогатевшего американского торговца и внучка графа фон Липпе-Вайссенфельда. Мэри Норт — дочь мастера-обойщика и потомок Джона Тайлера, десятого президента США. Розмэри — девушка из скромной буржуазной семьи, закинутая матерью на безымянные высоты Голливуда. Одним они походили друг на друга и этим же отличались от

многих других американских женщин: все три охотно существовали в мужском мире, сохраняя свою индивидуальность благодаря мужчинам, а не вопреки им. Каждая могла стать образцовой женой или образцовой куртизанкой в зависимости от обстоятельств — но не обстоятельств рождения, а других, более значительных: от того, встретит или не встретит она в жизни мужчину, который ей нужен.

Розмэри было приятно завтракать в ресторане, в такой милой компании, — хорошо, что всего семь человек, больше было бы уже слишком много. И может быть, она, новичок в их кружке, своим присутствием действовала как катализатор, заставляя проявляться многое в отношениях между членами этого кружка, что обычно оставалось нераскрытым. Когда встали из-за стола, официант проводил Розмэри в темный закоулок, без какого не обходится ни один французский ресторан; и там, при свете тускло-оранжевой лампочки разыскав в справочнике номер, она позвонила во «Франко-Американ филмз». Да, конечно, копия «Папиной дочки» у них имеется — сейчас она в прокате, но дня через три можно будет устроить просмотр, пусть мисс Хойт приедет на Rue de Saints Anges, 341, и спросит

мистера Краудера.

Телефон находился у выхода в вестибюль, и, кладя трубку, Розмэри услышала приглушенные голоса. Разговаривали двое, отделенные от нее гардеробной вешалкой.

— ...значит, любишь?

— Ты еще спрашиваешь!

Розмэри узнала голос Николь и остановилась в нерешительности. И тут она услышала голос Дика:

— Я хочу тебя — сейчас же, — давай поедем в отель.

У Николь вырвался короткий, сдавленный вздох. В первую минуту Розмэри не поняла услышанных слов, но тон она поняла. Таинственная его интимность дрожью отдалась в ней самой.

— Хочу тебя.

— Я приеду в отель к четырем.

Голоса стихли, удаляясь, а Розмэри все стояла, боясь перевести дух. Сначала она даже была удивлена — почему-то отношения этих двух людей всегда представлялись ей более отвлеченными, более безличными. Но вдруг ее захлестнуло какое-то новое чувство, бурное и незнакомое. Она не знала, что это — восторг или отвращение, знала только, что все в ней перевернулось. Она

чувствовала себя очень одинокой, когда шла обратно в зал, и в то же время растроганной донельзя; это полное страстной благодарности «Ты еще спрашиваешь!» звучало у нее в ушах. Истинный подтекст разговора, который она невольно подслушала, был пока недоступен ей, все это еще ждало ее впереди, но нутром она почувствовала, что ничего дурного тут нет — ей не было противно, как бывало при съемке любовных сцен в фильмах.

Хоть это и не касалось ее непосредственно, Розмэри уже не могла оставаться безучастной; странствуя по магазинам с Николь, она все время думала о назначенном свидании, о котором Николь словно бы не думала вовсе. Она вглядывалась в Николь, по-новому оценивая ее привлекательность. И ей казалось, что в этой женщине привлекательно все — даже свойственная ей жестковатость, даже ее привычки и склонности, и еще что-то неуловимое, что для Розмэри, смотревшей на все это глазами своей матери, представительницы среднего класса, связывалось с отношением Николь к деньгам. Розмэри тратила деньги, заработанные трудом, — в Европе она сейчас находилась потому, что в одно январское утро больная, с температурой, раз

за разом прыгала в воду, пока мать не вмешалась и не увезла ее домой.

С помощью Николь Розмэри купила на свои деньги два платья, две шляпы и четыре пары туфель. Николь делала покупки по списку, занимавшему две страницы, а кроме того, покупала все, приглянувшееся ей в витринах. То, что не могло сгодиться ей самой, она покупала в подарок друзьям. Она накупила пестрых бус, искусственных цветов, надувных подушек для пляжа, сумок, шалей, цветочного меду и штук десять купальных костюмов. Купила резинового крокодила, кровать-раскладушку, мебель для кукольного домика, пару попугайчиков-неразлучников, отрез новомодной материи с перламутровым отливом, дорожные шахматы слоновой кости с золотом, дюжину полотняных носовых платков для Эйба, две замшевые куртки от Гермеса[10] — одну цвета морской волны, другую цвета клубники со сливками. Она покупала вещи не так, как это делает дорогая куртизанка, для которой белье или драгоценности — это, в сущности, и орудия производства, и помещение капитала, — нет, тут было нечто в корне иное. Чтобы Николь

[10] Notes: 10
Имеется в виду французский Дом моды.

существовала на свете, затрачивалось немало искусства и труда. Ради нее мчались поезда по круглому брюху континента, начиная свой бег в Чикаго и заканчивая в Калифорнии; дымили фабрики жевательной резинки, и все быстрей двигались трансмиссии у станков: рабочие замешивали в чанах зубную пасту и цедили из медных котлов благовонный эликсир; в августе работницы спешили консервировать помидоры, а перед Рождеством сбивались с ног продавщицы в магазинах стандартных цен; индейцы-полукровки гнули спину на бразильских кофейных плантациях, а витавшие в облаках изобретатели вдруг узнавали, что патент на их детище присвоен другими, — все они и еще многие платили Николь свою десятину. То была целая сложная система, работавшая бесперебойно в грохоте и тряске, и оттого, что Николь являлась частью этой системы, даже такие ее действия, как эти оптовые магазинные закупки, озарялись особым светом, подобным ярким отблескам пламени на лице кочегара, стоящего перед открытой топкой. Она наглядно иллюстрировала очень простые истины, неся в себе самой свою неотвратимую гибель, но при этом была полна такого обаяния, что Розмэри невольно захотелось подражать ей.

Было уже почти четыре часа. Стоя посреди магазина с зеленым попугайчиком на плече, Николь разговорилась — что с ней бывало нечасто.

— А ведь если б вам не пришлось прыгать в воду в тот зимний день… Странно иногда получается в жизни. Я помню, перед самой войной мы жили в Берлине — это было незадолго до смерти мамы, мне тогда шел четырнадцатый год. Бэби, моя сестра, получила приглашение на придворный бал, и в ее книжечке три танца были записаны за принцами крови — все это удалось устроить через одного камергера. За полчаса до начала сборов у нее вдруг жар и сильная боль в животе справа. Врач признал аппендицит и сказал, что нужна операция. Но мама не любила отказываться от своих планов; и вот сестре под бальным платьем привязали пузырь со льдом, и она поехала на бал и танцевала до двух часов ночи, а в семь утра ей сделали операцию.

Выходило, что жестоким быть нужно; самые симпатичные люди жестоки по отношению к самим себе. Между тем часы уже показывали четыре, и Розмэри не давала покоя мысль о Дике, который сидит в отеле и ждет Николь. Почему же та не едет, почему заставляет его ждать? Мысленно она торопила Николь: «Да поезжайте

же!» В какую-то минуту она едва не крикнула: «Давайте я поеду, если вам это ни к чему!» Но Николь зашла еще в один магазин, где выбрала по букетику к платью себе и Розмэри и такой же велела отправить с посыльным Мэри Норт. Только после этого она, видимо, вспомнила — взгляд у нее сделался рассеянный, и она подозвала проезжающее такси.

— Мы премило провели время, правда? — сказала она, прощаясь.

— Чудесно, — отозвалась Розмэри. Она не думала, что это будет так трудно; все в ней бунтовало, когда она смотрела вслед удалявшемуся такси.

XIII

Дик обогнул траверс и продолжал идти по дощатому настилу на дне траншеи. Посмотрел в попавшийся на пути перископ, потом стал на стрелковую ступень и выглянул из-за бруствера. Впереди, под мутным сереньким небом, был виден Бомон-Гамель, слева памятником трагедии высилась гора Тинваль. Дик поднес к глазам полевой бинокль, тягостное чувство сдавило ему горло.

Он пошел по траншее дальше и у следующего траверса нагнал своих спутников. Ему не

терпелось передать другим переполнявшее его волнение, заставить их все почувствовать и все понять; а между тем ему ведь ни разу не пришлось побывать в бою — в отличие от Эйба Норта, например.

— Каждый фут этой земли обошелся тем летом в двадцать тысяч человеческих жизней, — сказал он Розмэри.

Она послушно обвела взглядом унылую равнину, поросшую низенькими шестилетними деревцами. Скажи Дик, что сами они сейчас находятся под артиллерийским обстрелом, она бы и этому поверила. Ее любовь наконец достигла той грани, за которой начинается боль и отчаяние. Она не знала, что делать, — а матери не было рядом.

— С тех пор немало еще поумирало народу, и все мы тоже скоро умрем, — утешил Эйб.

Розмэри неотрывно смотрела на Дика, ожидая продолжения его речи.

— Вот видите речушку — не больше двух минут ходу отсюда? Так вот, англичанам понадобился тогда месяц, чтобы до нее добраться. Целая империя шла вперед, за день продвигаясь на несколько дюймов: падали те, кто был в первых рядах, их место занимали шедшие сзади. А дру-

гая империя так же медленно отходила назад, и только убитые оставались лежать бессчетными грудами окровавленного тряпья. Такого больше не случится в жизни нашего поколения, ни один европейский народ не отважится на это.

— В Турции только-только перестали воевать, — сказал Эйб. — И в Марокко…

— То другое дело. А Западный фронт в Европе повторить нельзя и не скоро можно будет. И напрасно молодежь думает, что ей это по силам. Еще первое Марнское сражение можно было б повторить, но то, что произошло здесь, — нет, никак. Для того, что произошло здесь, потребовалось многое — вера в Бога, и годы изобилия, и твердые устои, и отношения между классами, как они сложились именно к тому времени. Итальянцы и русские для этого фронта не годились. Тут нужен был фундамент цельных чувств, которые старше тебя самого. Нужно было, чтобы в памяти жили рождественские праздники, и открытки с портретами кронпринца и его невесты, и маленькие кафе Баланса, и бракосочетания в мэрии, и поездки на дерби, и дедушкины бакенбарды.

— Такую тактику битвы придумал еще генерал Грант — в тысяча восемьсот шестьдесят пятом — при Питерсберге.

— Неправда, то, что придумал генерал Грант, было обыкновенной массовой бойней. А то, о чем говорю я, идет от Льюиса Кэрролла, и Жюля Верна, и того немца, который написал «Ундину»[11], и деревенских попиков, любителей поиграть в кегли, и марсельских marraines[12], и обольщенных девушек из захолустий Вестфалии и Вюртемберга. В сущности, здесь ведь разыгралась любовная битва — целый век любви буржуа пошел на то, чтоб удобрить это поле. Это была последняя любовная битва в истории.

— Еще немного, и вы отдадите ее авторство Д. Т. Лоуренсу, — сказал Эйб.

— Весь мой прекрасный, милый, благополучный мир взлетел тут на воздух от запала любовной взрывчатки, — не унимался Дик. — Ведь так, Розмэри?

— Не знаю, — сосредоточенно сдвинув брови, сказала она. — Это вы все знаете.

Они чуть поотстали от прочих. Вдруг их обдало градом камешков и комков земли, а из-за ближайшего траверса послышался громкий голос Эйба:

— Дух старого бойца проснулся во мне. За мной

---

[11] Notes: 11
Повесть (1811) немецкого писателя Ф. де Ла Мотт-Фуке.

[12] Notes: 12
Кумушек *(фр.)*.

ведь тоже целый век любви — любви в штате Огайо. Сейчас вот разбомблю к чертям эту траншею. — Он высунул голову из-за насыпи. — Вы что же, правил игры не знаете? Вы убиты — я в вас метнул ручную гранату.

Розмэри засмеялась, а Дик подобрал было горсть камешков для ответного залпа, но тут же выпустил их из рук.

— Не могу дурачиться в таком месте, — сказал он почти виноватым тоном. — Пусть серебряная цепочка порвалась и разбился кувшин у источника, и как там дальше — но я старый романтик, и с этим ничего не поделаешь.

— Я тоже романтик.

Они выбрались из аккуратно реставрированной траншеи и прямо перед собой увидели памятник павшим ньюфаундлендцам. Читая надпись на памятнике, Розмэри вдруг разрыдалась. Как большинство женщин, она любила, когда ей подсказывали, что и когда она должна чувствовать, и ей нравились поучения Дика: вот это смешно, а вот это печально. Но больше всего ей хотелось, чтобы Дик понял, как сильно она его любит, — теперь, когда эта любовь перевернула для нее все на свете, когда она даже по полю сражения ходит будто в прекрасном сне.

Они сели в машину и поехали обратно в Амьен. Теплый реденький дождик сеялся на низкорослые деревья и кусты, по сторонам то и дело попадались сложенные, точно для гигантских погребальных костров, артиллерийские стаканы, бомбы, гранаты и всяческая амуниция — каски, штыки, ружейные приклады, полусгнившие ремни, шесть лет пролежавшие в земле. И вдруг за поворотом дороги запенилось белыми гребешками целое море могил. Дик велел шоферу остановиться.

— Смотрите, та рыженькая девушка так и не пристроила свой венок.

Он вышел и направился к девушке с большим венком в руках, растерянно стоявшей у ворот кладбища. Рядом дожидалось такси. Это была молоденькая американка из Теннесси, приехавшая возложить цветы на могилу своего брата, — они познакомились с ней утром в поезде. Сейчас лицо у нее было сердитое и заплаканное.

— Наверно, в военном министерстве перепутали номер, — пожаловалась она Дику. — На той могиле совсем другое имя. Я с двух часов ищу, но их тут столько, разве найдешь.

— А вы на имя не смотрите, положите цветы на любую могилу, — посоветовал Дик.

— По-вашему, это будет правильно?

— По-моему, он бы вас похвалил за это.

Уже темнело, и дождь усиливался. Девушка положила венок на ближайшую к воротам могилу и охотно приняла предложение Дика отпустить такси и ехать в Амьен с ними.

Розмэри, услышав об этой чужой незадаче, опять всплакнула — такой уж мокрый выдался день; но все же ей казалось, что он ей принес что-то новое, хотя и неясно было, что именно. Потом, в воспоминаниях, все в этой поездке представлялось ей сплошь прекрасным — бывают такие ничем не примечательные часы или дни, которые воспринимаешь просто как переход от вчерашней радости к завтрашней, а оказывается, в них-то самая радость и была.

Амьен, лиловатый и гулкий, все еще хранил скорбный отпечаток войны, как некоторые вокзалы — Gare du Nord, например, или вокзал Ватерлоо в Лондоне. Днем такие города нагоняют тоску, смотришь, как старомодный трамвайчик тарахтит по пустынной, мощенной серым булыжником соборной площади, — и даже самый воздух кажется старомодным, выцветшим от времени, как старые фотографии. Но приходит вечер, и все, чем особенно мил французский быт, возвраща-

ется на ожившие улицы — бойкие проститутки, неуемные спорщики в кафе, пересыпающие свою речь бессчетными Voila, парочки, что блуждают, щека к щеке, довольные дешевизной этой прогулки в никуда. В ожидании поезда Дик и его спутники сели за столик под аркадой, где высокие своды вбирали и музыку, и гомон, и дым; оркестр в их честь исполнил «У нас нет больше бананов», и они поаплодировали дирижеру, явно очень довольному собой. Девушка из Теннесси забыла свои огорчения и веселилась от души, даже стала кокетничать с Диком и Эйбом, пуская в ход знойные взгляды и игривые телодвижения, а они добродушно подзадоривали ее.

Наконец парижский поезд пришел, и они уехали, а земля, в которой под теплым дождем распадались и тлели вюртембержцы, альпийские стрелки, солдаты прусской гвардии, ткачи из Манчестера и питомцы Итонской школы, осталась позади. Они ели бутерброды с болонской колбасой и сыром bel paese, приготовленные в станционном буфете, и запивали их вином Beaujolais. Николь казалась рассеянной; она нервно покусывала губы, углубясь в путеводители, которые захватил с собой Дик, — да, он успел неплохо изучить обстоятельства Амьенской

битвы, кое-что сгладил, и в конце концов вся операция приобрела у него неуловимое сходство с приемами в дайверовском доме.

XIV

Вечером они еще собирались посмотреть при электрическом освещении Выставку декоративного искусства, но по приезде в Париж Николь сказала, что устала и не пойдет. Они довезли ее до отеля «Король Георг», и когда она скрылась за пересекающимися плоскостями, образованными игрою света в стеклянных дверях, у Розмэри стало легче на душе. Николь была сила, и, быть может, вовсе не добрая; во всяком случае, с ней нельзя было ничего предвидеть заранее — не то что с матерью, например. Розмэри ее немножко боялась.

Около одиннадцати Розмэри, Норты и Дик зашли в кафе-поплавок, недавно открытое на Сене. В воде, серебристо мерцавшей под фонарями, покачивались десятки холодных лун. Когда Розмэри жила в Париже с матерью, они по воскресеньям ездили иногда на пароходике до Сюрена и дорогой строили планы на будущее. У них было очень немного денег, но миссис Спирс, твердо веря в красоту Розмэри и в честолюбивые стремления, которые сама постаралась ей внушить, готова

была рискнуть всем, что имела; потом, когда девочка станет на ноги, она с лихвой возместит матери все затраты…

Эйб Норт с самого их приезда в Париж все время был слегка под хмельком; глаза у него покраснели от солнца и вина. В этот вечер Розмэри впервые заметила, что он не пропускает ни одного заведения, где можно выпить, и ей пришло в голову, что вряд ли это очень приятно Мэри Норт. Мэри обычно мало разговаривала, хотя легко и охотно смеялась, — настолько мало, что Розмэри, в сущности, ничего не успела о ней узнать. Розмэри нравились ее прямые черные волосы, зачесанные назад и только на затылке рассыпавшиеся пышным естественным каскадом; время от времени выбившаяся прядь, косо упав на лоб, лезла в глаза, и тогда она встряхивала головой, чтобы заставить ее лечь на место.

— После этой бутылки мы идем домой, Эйб. — Голос Мэри звучал ровно, но в нем пробивалась нотка тревоги. — А то придется тебя грузить на пароход в жидком состоянии.

— Да всем пора домой, — сказал Дик. — Уже поздно.

Но Эйб упрямо сдвинул свои царственные брови.

— Нет, нет. — И после внушительной паузы: — Торопиться ни к чему. Мы должны распить еще бутылку шампанского.

— Я больше пить не буду, — сказал Дик.

— А Розмэри будет. Она ведь завзятый алкоголик — у нее всегда припрятана в ванной бутылка джину. Мне миссис Спирс рассказывала.

Он вылил остатки шампанского в бокал Розмэри. В их первый день в Париже Розмэри выпила столько лимонаду, что почувствовала себя плохо, и после этого уже вообще ни к каким напиткам не прикасалась. Но сейчас она взяла налитый ей бокал и поднесла к губам.

— Вот тебе и раз! — воскликнул Дик. — Вы же говорили, что никогда не пьете.

— Но я не говорила, что никогда не буду пить.

— А что скажет мама?

— Один бокал можно.

Ей вдруг очень захотелось выпить этот бокал шампанского. Дик пил, не очень много, но пил, и может быть, если она выпьет тоже, это их сблизит, поможет ей сделать то, на что она внутренне решилась. Она залпом проглотила почти половину, поперхнулась и, переведя дух, сказала:

— Кроме того, мне уже восемнадцать лет — вчера исполнилось.

— Что же вы нам не сказали? — возмущенно зашумели остальные.

— Нарочно, чтоб вы ничего не затевали и не создавали себе лишние хлопоты. — Она допила свое шампанское. — Вот, считайте, что мы отпраздновали.

— Ничего подобного, — возразил Дик. — Завтра по случаю вашего дня рождения будет парадный ужин, и не вздумайте забыть об этом. Шутка сказать — восемнадцать лет.

— Мне когда-то казалось: все, что случается до восемнадцати лет, это пустяки, — сказала Мэри.

— Так оно и есть, — подхватил Эйб. — И то, что случается после, — тоже.

— Эйбу все пустяки, пока он не сядет на пароход, — сказала Мэри. — У него на этот год в Нью-Йорке очень серьезные планы. — Казалось, она устала произносить слова, утратившие для нее реальный смысл, словно на самом деле все, чем была заполнена — или не заполнена — ее и ее мужа жизнь, давно уже не шло дальше планов и намерений. — Он едет в Штаты писать музыку, а я еду в Мюнхен заниматься пением, и когда мы снова соединимся, нам будет море по колено.

— Как хорошо! — воскликнула Розмэри. Шампанское уже давало себя знать.

— Ну-ка, еще шампанского для Розмэри. Это ей поможет осмыслить деятельность своих лимфатических желез. Они ведь начинают функционировать в восемнадцать лет.

Дик снисходительно засмеялся; он любил Эйба и давно уже перестал в него верить.

— Медицине это неизвестно, а вообще — идем.

Уловив в его словах покровительственный оттенок, Эйб заметил небрежно:

— А ведь, пожалуй, моя новая вещь пойдет на Бродвее куда раньше, чем вы закончите свой ученый трактат.

— Тем лучше, — не повышая тона, сказал Дик. — Тем лучше. Я, может, и вовсе брошу этот, как вы его называете, «ученый трактат».

— О Дик! — В голосе Мэри прозвучал испуг. Розмэри впервые увидела у Дика такое лицо — пустое, лишенное всякого выражения; она чутьем поняла, что сказанная им фраза несла в себе что-то значительное, даже зловещее, и чуть не крикнула вслед за Мэри: «О Дик!»

Но Дик опять весело рассмеялся.

— Брошу этот и примусь за другой, — добавил он и встал из-за стола.

— Нет, нет, Дик, погодите минутку. Я не понимаю…

— Объясню в другой раз. Спокойной ночи, Эйб. Спокойной ночи, Мэри.

— Спокойной ночи, Дик, милый.

Мэри улыбалась так, будто не могло быть ничего лучше предстоящего ей ночного бдения на полупустом поплавке. Она была мужественная, умевшая надеяться женщина, готовая следовать за мужем невесть куда, переламывая себя то на один, то на другой манер, но ни разу ей не удалось хоть немного увести его в сторону от его пути; и порой она, почти теряя мужество, думала о том, что секрет этого пути, от которого зависел и ее путь, запрятан в нем глубоко-глубоко и недоступен ей. И, однако, она всегда излучала надежду, словно некий живой талисман…

XV

— Что это вы такое собираетесь бросить? — уже в такси спросила Розмэри, вскинув на Дика большие серьезные глаза.

— Ничего существенного.

— Вы разве ученый?

— Я врач.

— Да ну? — Она вся просияла. — Мой папа тоже был врач. Но тогда почему же вы… — Она запнулась и не кончила фразы.

— Не беспокойтесь, тут нет роковой тайны. Я не опозорил себя изменой врачебному долгу и не укрылся на Ривьере от людского суда. Просто я сейчас не занимаюсь практикой. Может быть, со временем займусь опять.

Розмэри медленно подняла к нему лицо для поцелуя. Он посмотрел на нее с недоумением. Потом, полуобняв ее за плечи, потерся щекой о ее бархатистую щеку к опять посмотрел долгим, внимательным взглядом.

— Такая прелестная девочка, — сказал он раздумчиво.

Она улыбнулась, глядя на него все так же снизу вверх, пальцы ее машинально играли лацканами его пиджака.

— Я влюблена в вас и в Николь. Это мой секрет — я даже ни с кем не могу говорить про вас, не хочу, чтобы еще кто-нибудь знал, какой вы замечательный. Нет, правда, правда, я вас люблю — вас обоих.

…Сколько раз уже он это слышал — даже слова те же самые…

Вдруг она очутилась так близко, что ее полудетские черты расплылись перед его глазами, и он поцеловал ее захватывающим дух поцелуем, как будто у нее вовсе не было возраста.

Она откинулась на его руку и вздохнула.

— Я решила от вас отказаться, — сказала она.

Дик вздрогнул, — кажется, он ничем не дал ей повода почувствовать хоть малейшее право на него.

— Вот уж это безобразие, — нарочито весело сказал он. — Как раз когда я почувствовал некоторый интерес.

— Я так вас любила… — Будто это длилось годы. В голосе у нее дрожали слезы. — Я так вас люби-и-ила…

Ему бы надо было в ответ посмеяться, но вместо того он услышал будто сами собой сказавшиеся слова:

— Вы не только красивая, вы какая-то очень полноценная. У вас все выходит по-настоящему, изображаете ли вы несуществующую любовь или несуществующее смущение.

Снова она придвинулась ближе в темной пещерке такси, пахнущей духами, купленными по выбору Николь. Он поцеловал ее поцелуем, лишенным всякого вкуса. Если и была в ней страсть, то он мог только догадываться об этом; ни глаза ее, ни губы ничего не говорили о страсти. Ее дыхание чуть-чуть отдавало шампанским. Она еще тесней прижалась к нему, словно в порыве

отчаяния, и он поцеловал ее еще раз, но его расхолаживала невинность этих губ, этого взгляда, устремленного мимо него в темноту ночи, темноту вселенной. Она не знала еще, что блаженство заключено внутри нас; когда-нибудь она это поймет и растворится в страсти, движущей миром, и если бы он тогда оказался рядом с ней, он взял бы ее без сомнений и сожалений.

Ее номер в отеле был наискосок от номера Дайверов, ближе к лифту. Дойдя до своей двери, она вдруг сказала:

— Я знаю, что вы меня не любите, — я на это и не надеялась. Но вы меня упрекнули, зачем я не сказала про свой день рождения. Вот теперь вы знаете, и я хочу, чтобы вы мне сделали подарок к этому дню — зайдите на минутку ко мне в комнату, я вам скажу что-то. На одну минутку только.

Они вошли, и, притворив за собой дверь, он повернулся к Розмэри; она стояла совсем близко, но так, что они не касались друг друга. Ночь стерла краски с ее лица, оно теперь было бледнее бледного — белая гвоздика, забытая после бала.

— Когда вы улыбаетесь… — Он опять обрел свой шутливо-отеческий тон, быть может, благодаря неосязаемой близости Николь, — …когда вы улыбаетесь, мне всегда кажется, что я увижу

у вас щербинку во рту на месте выпавшего молочного зуба.

Но он опоздал — она шагнула вплотную к нему и жалобно прошептала:

— Возьмите меня.

— Взять вас — куда?

Он оцепенел от изумления.

— Я вас прошу, — шептала она. — Сделайте со мной — ну все как есть. Ничего, если мне будет неприятно, — наверно будет, — мне всегда было противно даже думать об этом, — но тут совсем другое дело. Я *хочу*, чтоб вы это сделали.

Для нее самой было неожиданностью, что она способна на такой разговор. Отозвалось все, о чем она читала, слышала, грезила в долгие годы ученья в монастырской школе. К тому же она каким-то чутьем понимала, что играет сейчас самую свою триумфальную роль, и вкладывала в нее все силы души.

— Что-то вы не то говорите, — попробовал урезонить ее Дик. — Не шампанское ли тут виновато? Давайте-ка замнем этот разговор.

— Ах, нет, нет! Я прошу вас, возьмите меня, научите меня. Я ваша и хочу быть вашей совсем.

— Прежде всего, подумали ли вы, как больно было бы Николь?

— Она не узнает — к ней это не имеет отношения.

Он продолжал мягко и ласково.

— Потом вы забываете, что я люблю Николь…

— А разве любить можно только кого-то одного? Ведь вот я люблю маму и люблю вас — еще больше, чем ее. Теперь — больше.

— …и наконец, никакой любви у вас сейчас ко мне нет, но она могла бы возникнуть, и это изломало бы вашу жизнь в самом ее начале.

— Но мы потом уже никогда не увидимся, обещаю вам. Я вызову маму, и мы с ней уедем в Америку.

Эту мысль он отогнал. Ему слишком хорошо помнилась юная свежесть ее губ. Он переменил тон.

— Все это — настроение, которое скоро пройдет.

— Нет, нет! И я не боюсь, если даже будет ребенок. Поеду в Мексику, как одна актриса с нашей студии. Ах, я никогда не думала, что со мной может быть так, мне всегда только противно бывало, когда меня целовали всерьез. — Ясно было, что она все еще верит, что это должно произойти. — У некоторых такие большие острые зубы, но вы совсем другой, вы красивый и замечатель-

ный. Ну, пожалуйста, сделайте это…

— А, я понял — вы просто думаете, что есть особого рода поцелуи, и хотите, чтобы я вас поцеловал именно так.

— Зачем вы смеетесь надо мной — я не ребенок. Я знаю, что у вас нет ко мне любви. Я на это и не рассчитывала. — Она вдруг присмирела и сникла. — Наверно, я вам кажусь ничтожеством.

— Глупости. Но вы мне кажетесь совсем еще девочкой. — Про себя он добавил: «…которую слишком многому пришлось бы учить».

Она молчала, напряженно дыша, пока Дик не договорил:

— И помимо всего, жизнь так устроена, что эти вещи не бывают по заказу.

Розмэри понурила голову и отошла, подавленная обидой и разочарованием. Дик машинально начал было: «Лучше мы с вами просто…», но осекся, увидев, что она сидит на кровати и плачет, подошел и сел рядом. Ему вдруг стало не по себе; не то чтобы он усомнился в занятой нравственной позиции, — слишком уже явной была невозможность иного решения, с какой стороны ни взгляни, — нет, ему просто было не по себе, и обычная его внутренняя гибкость, упругая полнота его душевного равновесия на короткое время

изменила ему.

— Я знала, что вы не захотите, — рыдала Розмэри. — Нечего было и надеяться.

Он встал.

— Спокойной ночи, детка. Ужасно глупо все получилось. Давайте считать, что этого не было. — Он отмерил ей дозу успокаивающей банальщины в качестве снотворного: — Вас многие еще будут любить, а когда-нибудь вы и сами полюбите и наверно порадуетесь, что пришли к своей первой любви нетронутою и физически и душевно. Немножко старомодный взгляд, пожалуй?

Она подняла голову и увидела, как он сделал шаг к двери; она смотрела на него, даже отдаленно не догадываясь, что в нем происходит, она увидела, как он медленно сделал еще шаг, потом оглянулся — и на миг ей захотелось броситься ему вслед, впиться в него, почувствовать его рот, его уши, ворот его пиджака, захотелось обвиться вокруг него и вобрать его в себя; но уже его рука легла на дверную ручку. Больше нечего было ждать. Когда дверь за ним затворилась, она встала, подошла к зеркалу и, тихонечко всхлипывая, стала расчесывать волосы щеткой. Сто пятьдесят взмахов, положенных ежевечерне, потом еще сто пятьдесят. Розмэри водила щеткой по волосам,

пока у нее не заболела рука, тогда она переменила руку и продолжала водить…

XVI

За ночь Розмэри остыла и проснулась с чувством стыда. Из зеркала глянуло на нее хорошенькое личико, но это ее не успокоило, а лишь всколыхнуло вчерашнюю боль; не помогло и пересланное матерью письмо, извещавшее о приезде в Париж того студента, чьей гостьей она была на прошлогоднем йельском балу, — все это теперь казалось бесконечно далеким. Она вышла из своей комнаты, ожидая встречи с Дайверами, как пытки — сегодня мучительной вдвойне. Но никто не разглядел бы этого под внешней оболочкой, столь же непроницаемой, как у Николь, когда они встретились, чтобы вместе провести утро в примерках и покупках. И все же приятно было, когда Николь заметила по поводу нервозности какой-то продавщицы: «Многие люди склонны преувеличивать отношение к себе других — почему-то им кажется, что они у каждого вызывают сложную гамму симпатий и антипатий». Еще вчера такое замечание заставило бы экспансивную Розмэри внутренне вознегодовать, сегодня же она выслушала его с радостью — так ей хотелось убе-

дить себя, что не произошло ничего страшного. Она восхищалась Николь, ее красотой, ее умом, но в то же время она впервые в жизни ревновала. Перед самым отъездом с Ривьеры мать в разговоре с ней назвала Николь красавицей; это было сказано тем небрежным тоном, которым она всегда — Розмэри хорошо это знала — маскировала самые значительные свои суждения, и должно было означать, что Розмэри такого названия не заслуживает. Розмэри это нимало не задело; она с детства была приучена считать себя чуть ли не дурнушкой и свою недавно лишь признанную миловидность воспринимала как что-то не присущее ей, а скорей благоприобретенное, вроде умения говорить по-французски. Но сейчас, сидя возле Николь в такси, она невольно сравнивала ее с собой. Казалось, в Николь все словно создано для романтической любви, это стройное тело, этот нежный рот, иногда плотно сжатый, иногда полураскрытый в доверчивом ожидании. Николь была красавицей с юных лет, и было видно, что она останется красавицей и тогда, когда ее кожа, став суше, обтянет высокие скулы, — такой склад лица не мог измениться. Раньше она была по-саксонски розовой и белокурой, но теперь, с потемневшими волосами, стала даже лучше,

чем тогда, когда золотистое облако вокруг лба затмевало всю остальную ее красоту.

На Rue de Saints Peres Розмэри вдруг указала на один дом и сказала:

— Вот здесь мы жили.

— Как странно! Когда мне было двенадцать лет, мы с мамой и с Бэби, моей сестрой, провели зиму вон в том отеле напротив.

Два серых фасада глазели на них с двух сторон, — тусклые отголоски детства.

— У нас тогда достраивался наш дом в Лейк-Форест, и нужно было экономить, — продолжала Николь. — То есть экономили мы с Бэби и с гувернанткой, а мама путешествовала.

— Нам тоже нужно было экономить, — сказала Розмэри, понимая, что смысл этого слова для них неодинаков.

— Мама всегда выражалась очень деликатно: не «дешевый отель», как следовало бы сказать, а «небольшой отель». — Николь засмеялась своим магнетическим коротким смешком. — Если кто-нибудь из наших светских знакомых спрашивал наш адрес, мы никогда не говорили: «Мы живем в квартале апашей, в дрянной лачуге, где спасибо, если вода идет из крана», — мы говорили: «Мы живем в небольшом отеле». Словно бы все боль-

шие отели для нас чересчур шумны и вульгарны. Конечно, знакомые отлично все понимали и рассказывали об этом направо и налево, но мама всегда утверждала, что в Европе нужно уметь жить, и она умеет. Еще бы ей не уметь, ведь она родилась в Германии. Но мать ее была американкой, и выросла она в Чикаго, и американского в ней было гораздо больше, чем европейского.

До встречи со всеми прочими оставались считаные минуты, но Розмэри успела перестроиться на новый лад, прежде чем такси остановилось на Rue Guinemer, против Люксембургского сада. Завтракать решено было у Нортов, в их уже разоренной квартире под самой крышей, окнами выходившей на густую зелень древесных крон. Розмэри казалось, что даже солнце светит сегодня не так, как вчера. Но вот она очутилась лицом к лицу с Диком, их взгляды встретились, точно птицы задели друг друга крылом на лету. И вмиг стало все хорошо, все прекрасно, она поняла: он уже почти ее любит. Сумасшедшая радость охватила ее, живое тепло побежало по телу. Какой-то ясный спокойный голос запел внутри, и все крепнул и набирал силу. Она почти не смотрела на Дика, но твердо знала, что все хорошо.

После завтрака Розмэри с Дайверами и Нор-

тами отправились в студию «Франко-Американ филмз»; туда же должен был приехать и Коллис Клэй, ее нью-хейвенский приятель, с которым она сговорилась по телефону. Этот молодой человек, родом из Джорджии, отличался той необыкновенной прямолинейностью и даже трафаретностью суждений, которая свойственна южанам, приехавшим на Север получать образование. Прошлой зимой Розмэри находила его очень милым и однажды, когда они ехали на машине из Нью-Хейвена в Нью-Йорк, позволила ему всю дорогу держать ее руку в своей; но сейчас он для нее попросту не существовал.

В просмотровом зале она сидела между Коллисом Клэем и Диком; у механика что-то заело в аппарате, и, пока он возился, налаживая его, какой-то француз из администрации увивался вокруг Розмэри, стараясь изъясняться новейшим американским сленгом. Но вот в зале погас свет, что-то знакомо щелкнуло, зажужжало, и они с Диком наконец остались одни. В полутьме они глянули друг на друга.

— Розмэри, милая, — прошептал Дик. Их плечи соприкоснулись. Николь беспокойно задвигалась на своем месте в конце ряда, а Эйб долго кашлял и сморкался; потом все успокоилось, и на экране

замелькали кадры.

И вот она — прошлогодняя школьница с распущенными волосами, неподвижно струящимися вдоль спины, точно твердые волосы танагрской статуэтки; вот она — такая юная и невинная, плод ласковых материнских забот; вот она — воплощенная инфантильность Америки, новая бумажная куколка для услады ее куцей проституточьей души. Розмэри вспомнила, какой обновленной и свежей она чувствовала себя под свежим упругим шелком этого платья.

Папина дочка. Такая малипуся, а ведь чего только не натерпелась, бедненькая. Кисонька-лапочка, храброе маленькое сердечко. Перед этим крохотным кулачком отступали похоть и разврат, судьба и та оборачивалась по-иному, логика, диалектика, здравый смысл теряли всякую силу. Женщины, позабыв про горы немытой посуды дома, плакали в три ручья; даже в самом фильме одна женщина плакала так много, что едва не оттеснила в нем Розмэри на задний план. Она плакала в декорациях, стоивших целое состояние, в столовой в стиле Данкена Файфа, в аэропорту, на реке во время парусных гонок, из которых вошло в картину только два кадра, в вагоне метро и, наконец, в туалетной. Но победа

все же осталась за Розмэри. Благородство натуры, смелость и решительность помогли ей устоять против царящей в мире пошлости; все тяготы выдержанной борьбы читались на лице Розмэри, еще не успевшем превратиться в привычную маску, — и так по-настоящему трогательна была ее игра, что симпатии всего ряда зрителей то и дело устремлялись к ней. Картина шла с одним перерывом: как только дали свет, все наперебой принялись выражать свое восхищение, а Дик, переждав общий шум, сказал просто и искренне: «Вы меня потрясли. Уверен, что вы станете одной из лучших актрис нашего времени».

И снова на экране «Папина дочка». Житейские бури улеглись. Розмэри и ее родитель нашли друг друга, и все закончилось нежной сценой, кровосмесительная тенденция которой была так очевидна, что от слащавой сентиментальности этой сцены Дику стало неловко за себя и за все сословие психиатров. Экран погас, в зале зажегся свет, настала долгожданная минута.

— У меня для вас еще один сюрприз, — во всеуслышание объявила Розмэри. — Я устроила Дику пробу.

— Что, что?

— Кинопробу. Сейчас его пригласят.

Зловещая пауза — потом кто-то из Нортов не удержал смешка. Розмэри, не сводя глаз с Дика, по его подвижному ирландскому лицу видела, как он постепенно осознает смысл сказанного, — и в то же время ей становилось ясно, что главный козырь разыгран ею неудачно; но она все еще не понимала, что неудачен самый козырь.

— Ни на какую пробу я не пойду, — твердо сказал Дик; но, оценив положение в целом, продолжал более добродушно: — Что это вам вздумалось, Розмэри! Кино — прекрасная карьера для женщины, а из меня едва ли можно сделать киногероя. Я старый сухарь, который знает только свой дом и свою науку.

Николь и Мэри стали поддразнивать его, уговаривая не упускать случая, — обе чуть раздосадованные тем, что сами не получили приглашения. Но Дик решительно перевел разговор на игру актеров, о которых отозвался довольно резко.

— Крепче всего запирают ворота, которые никуда не ведут, — сказал он. — Потому, наверно, что пустота слишком неприглядна.

Из студии Розмэри ехала с Диком и Коллисом Клэем — решено было, что они завезут Коллиса в его отель, а потом отправятся с визитом, от которого Николь и Норты отговорились необхо-

димостью сделать кой-какие дела, оставленные Эйбом на последнюю минуту. В такси Розмэри принялась упрекать Дика:

— Я думала, если проба окажется удачной, я возьму ролик с собой в Калифорнию. А тогда, может, вас бы пригласили сниматься, и вы могли бы стать моим партнером в новой картине.

Он не знал, что и сказать.

— Это очень мило, Розмэри, что вы так заботитесь обо мне, но, право же, я предпочитаю остаться вашим зрителем. В той картине, что мы сегодня смотрели, вы просто прелестны.

— Картина экстра-класс, — сказал Коллис Клэй. — Я ее четвертый раз смотрю. А один парень с моего курса видел ее раз десять — как-то даже специально в Хартфорд ездил за этим. А когда Розмэри приезжала в Нью-Хейвен, так он сконфузился и не захотел с ней знакомиться. Представляете? Эта девчушка разит наповал.

Дик и Розмэри переглянулись; им не терпелось остаться вдвоем, но Коллису это не приходило в голову.

— Давайте я сперва завезу вас, — предложил он. — Мне в «Лютецию», это почти по дороге.

— Нет, мы вас завезем, — сказал Дик.

— Да мне это все равно. Даже удобнее.

— Все-таки лучше мы вас завезем.

— Так ведь… — начал было Коллис, но тут до него вдруг дошло, и он стал уговариваться с Розмэри о следующей встрече.

Наконец они избавились от его несущественного, но обременительного присутствия, каким всегда бывает присутствие третьего лица. Еще несколько минут, неожиданно и досадно коротких, и такси, свернув на нужную улицу, остановилось перед нужным домом. Дик глубоко вздохнул.

— Что ж, пойдем?

— Как хотите, — сказала Розмэри. — Мне все равно.

Он помедлил, обдумывая.

— Пожалуй, придется пойти — хозяйка дома хочет купить несколько вещей моего знакомого художника, которому очень нужны деньги.

Розмэри провела рукой по волосам, устраняя предательский беспорядок.

— Пробудем минут пять и уйдем, — решил Дик. — Вам не понравятся эти люди.

Вероятно, какие-нибудь скучные обыватели, или развязные любители выпить, или назойливо-дотошные болтуны. Розмэри мысленно перебирала типы людей, каких обычно избегали

Дайверы. Она и вообразить не могла того, что ей предстояло увидеть.

XVII

Этот дом на Rue Monsieur был перестроен из дворца кардинала Ретца, но от дворца остался только каркас, внутри же ничто не напоминало о прошлом, да и о настоящем, том, которое знала Розмэри, тоже. Скорей можно было подумать, что в старинной каменной оболочке заключено будущее; человек, переступавший, условно говоря, порог этого дома, чувствовал себя так, словно его ударило током или ему предложили на завтрак овсянку с гашишем, — перед ним открывался длинный холл, где синеватую сталь перемежали серебро и позолота, и все это сочеталось с игрою света в бесчисленных фасках причудливо ограненных зеркал. Но впечатление было не такое, как на Выставке декоративного искусства, потому что там люди смотрели на все снаружи, а здесь они находились внутри. Розмэри сразу же охватило отчуждающее чувство фальши и преувеличенности, словно она вышла на сцену, и ей казалось, что все кругом испытывают то же самое.

Здесь было человек тридцать, главным образом

женщины, точно сочиненные Луизой Олкотт или графиней де Сегюр[13], и они двигались по этой сцене так осторожно и нацеленно, как человеческая рука, подбирающая с полу острые осколки стекла. Ни во всех вместе, ни в ком-либо в отдельности не чувствовалось той хозяйской свободы по отношению к обстановке, которая появляется у человека, владеющего произведением искусства, пусть даже очень своеобразным и редким; они не понимали, что собой представляет эта комната, потому что это, собственно, уже и не была комната, а было что-то, совершенно от комнаты отличное; существовать в ней было так же трудно, как подниматься по крутому полированному пандусу, для чего и требовалась упомянутая точность движений руки, собирающей разбитое стекло, — наличием или отсутствием подобной точности определялся характер большинства присутствующих.

Среди них можно было различить две группы. Одну составляли американцы и англичане, которые всю весну и все лето неумеренно прожигали

[13] Notes: 13

Луиза Мэй *Олкотт* (1832–1888) — американская писательница, автор романа «Маленькие женщины»; Софья *де Сегюр* (1799–1874) — французская писательница, автор автобиографической детской книги «Сонины проказы».

жизнь и теперь в своих поступках следовали первому побуждению, часто необъяснимому для них самих. Они долгое время могли пребывать в сонном, безучастном состоянии, потом вдруг срывались в ссору, истерику или неожиданный адюльтер. Другая группа, назовем ее эксплуататорской, состояла из дельцов, людей более трезвых и целеустремленных, не расположенных тратить время по пустякам. Эти куда лучше умели приспособиться к окружающей среде и даже задавали тон, насколько оно было возможно здесь, где над всем господствовала новизна световых эффектов.

Этот Франкенштейн проглотил Розмэри и Дика мгновенно — они сразу же оказались врозь, и Розмэри с изумлением обнаружила: да ведь это она — маленькая лицемерка с неестественно тонким голоском, томящаяся в ожидании режиссера. Впрочем, все тут хлопали крыльями, кто как мог, и она не казалась нелепей других. К тому же помогла профессиональная выучка: несколько мысленных «смирно», «кругом» и «шагом марш», и вот она уже словно бы занята беседой с грациозной миловидной девицей, похожей на хорошенького мальчишку, на самом же деле напряженно прислушивается к разговору, который

ведется на некой ступенчатой конструкции из пушечного металла, возвышающейся в четырех шагах наискосок от нее.

Три молодые особы расположились на нижней ступеньке конструкции, все три высокие, стройные, с небольшими головками, причесанными, как у парикмахерских манекенов; когда они говорили, головки покачивались над темными костюмами полумужского покроя, как цветы на длинных стеблях или капюшоны кобр.

— Нет, нужно признать, на вечерах у них всегда весело, — сказала одна грудным, звучным голосом. — Пожалуй, нигде в Париже такого веселья не найдешь. И в то же время… — Она вздохнула. — Эти его постоянные фразочки — «аборигены, источенные червями» — один раз это еще смешно, но больше…

— Предпочитаю людей, чья жизнь не выглядит такой гладкой, — сказала другая. — А ее я и вовсе терпеть не могу.

— Мне они никогда особенно не нравились, а их компания и подавно. Взять хотя бы этого мистера Норта, который вот-вот потечет через край.

— Ну кто о нем говорит, — отмахнулась первая. — Но согласитесь, тот, кого мы тут обсуждаем, иногда бывает просто неотразим.

Тут только Розмэри догадалась, что речь идет о Дайверах, и вся словно окостенела от негодования. Между тем ее собеседница, настоящий рекламный экземпляр — голубые глаза, розовые щеки, крахмальная голубая блузка, безукоризненный серый костюм, — перешла в наступление. Все это время она старательно отодвигала в сторону все, что могло заслонить ее от Розмэри, и теперь, когда благодаря ее стараниям между ними не осталось ничего, даже тонкой завесы юмора, Розмэри разглядела ее во всей красе — и не пришла в восторг.

— Может быть, позавтракаем или пообедаем вместе — завтра или хотя бы послезавтра, — упрашивала девица.

Розмэри огляделась, ища Дика, и наконец увидела его рядом с хозяйкой дома, с которой он так и проговорил с самого их прихода. Их взгляды встретились, он слегка кивнул, этого было достаточно, чтобы три кобры ее заметили. Три длинные шеи вытянулись к ней, три пары глаз уставились на нее критически. Она ответила вызывающим взглядом, открыто признавая, что слышала их разговор. Потом, совсем по-дайверовски, вежливо, но решительно отделалась от приставучей собеседницы и пошла к Дику. Хозяйка дома —

еще одна стройная богатая американка, беспечно пожинающая плоды национального просперити, — мужественно преодолевая сопротивление Дика, забрасывала его вопросами об отеле Госса, куда, видимо, собиралась устремиться. Увидев Розмэри, она вспомнила о своих хозяйских обязанностях и поторопилась спросить: «У вас нашлись занимательные собеседники? Вы познакомились с мистером…» — Ее взгляд заметался по сторонам в поисках лица мужского пола, которое могло бы заинтересовать Розмэри, но Дик сказал, что им пора. Они ушли сразу же и, перешагнув узкий порог будущего, нырнули в тень прошлого, отбрасываемую каменным фасадом.

— Это было ужасно, — сказал он.

— Ужасно, — покорно откликнулась она.

— Розмэри!

Замирающим голосом она шепнула:

— Что?

— Я себе простить не могу.

У нее подергивались плечи от горестных всхлипываний.

— Дайте мне носовой платок, — жалко пролепетала она.

Но плакать было некогда; с жадностью влюбленных они накинулись на короткие минуты,

пока за стеклами такси потускнели зеленоватые сумерки и под мирным дождиком вспыхивали в кроваво-красном, неоново-голубом, призрачно-зеленом дыму огни реклам. Кончался шестой час, улицы были полны движения; призывно светились окна бистро, и Place de la Concorde, величественная и розовая, проплыла мимо, когда машина свернула на север.

Они наконец посмотрели друг на друга, шепча имена, звучавшие как заклятия. Два имени, которые долго не таяли в воздухе, дольше всех других слов, других имен, дольше музыки, застрявшей в ушах.

— Не знаю, что на меня нашло вчера, — сказала Розмэри. — Наверно, тот бокал шампанского виноват. Никогда со мной ничего подобного не было.

— Просто вы сказали, что любите меня.

— Я вас правда люблю — с этим ничего не поделаешь. — Тут уж было самое время поплакать, и Розмэри тихонько поплакала в носовой платок.

— Кажется, и я вас люблю, — сказал Дик, — а это совсем не лучшее, что могло случиться.

И опять два имени, — а потом их бросило друг к другу, словно от толчка такси. Ее груди расплющились об него, ее рот, по-новому теплый, сросся

с его ртом. Они перестали думать, перестали видеть, испытывая от этого почти болезненное облегчение; они только дышали и искали друг друга. Их укрыл мягкий серый сумрак душевного похмелья, расслабляя нервы, натянутые, как струны рояля, и поскрипывающие, как плетеная мебель. Чуткие, обнаженные нервы, соприкосновенье которых неизбежно, когда губы прильнут к губам и грудь к груди.

Они еще были в лучшей поре любви. Они виделись друг другу сквозь мираж неповторимых иллюзий, и слияние их существ совершалось словно в особом мире, где другие человеческие связи не имеют значения. Казалось, путь, которым они пришли в этот мир, был на редкость безгрешен, их свела вместе цепь чистейших случайностей, но случайностей этих было так много, что в конце концов они не могли не поверить, что созданы друг для друга. И они прошли этот путь, ничем себя не запятнав, счастливо избегнув общения с любопытствующими и скрытничающими.

Но для Дика все это длилось недолго; отрезвление наступило раньше, чем такси доехало до отеля.

— Ничего из этого не выйдет, — сказал он почти

с испугом. — Я люблю вас, но все, что я говорил вчера, остается в силе.

— А мне теперь безразлично. Я только хотела добиться вашей любви. Раз вы меня любите, значит, все хорошо.

— Люблю, как это ни печально. Но Николь не должна ничего знать — не должна хотя бы отдаленно заподозрить. Я не могу расстаться с Николь. И не только потому, что не хочу, — тут есть другое, более важное.

— Поцелуйте меня еще.

Он поцеловал, но он уже не был с нею.

— Николь не должна страдать — она меня любит, и я ее люблю, — я хочу, чтобы вы поняли это.

Она понимала — это она всегда понимала хорошо: нельзя причинять боль другому. Она знала, что Дайверы любят друг друга, она это принимала как данность с самого начала. Но ей казалось, что это уже остывшее чувство, скорей похожее на ту любовь, которая связывала ее с матерью. Когда люди так много себя отдают посторонним, не знак ли это, что им уже меньше нужно друг от друга?

— И это настоящая любовь, — сказал Дик, угадав ее мысли. — Любовь действенная — все тут

сложней, чем вы можете себе представить. Иначе не было бы той идиотской дуэли.

— Откуда вы знаете про дуэль? Мне сказали, что вам об этом ничего говорить не будут.

— Неужели вы думаете, Эйб способен что-нибудь удержать в тайне? — В его голосе послышалась едкая ирония. — Если у вас есть тайна, можете сообщить о ней по радио, напечатать в бульварной газетенке, только не доверяйте ее человеку, который пьет больше трех-четырех порций в день.

Она засмеялась, соглашаясь, и крепче прижалась к нему.

— Словом, наши отношения с Николь — сложные отношения. Здоровье у нее хрупкое, она только кажется здоровой. Да и все тут очень непросто.

— Не надо сейчас об этом. Поцелуйте меня, любите меня сейчас. А потом я буду любить вас так тихо, что Николь ничего не заметит.

— Милая моя девочка.

Они вошли в вестибюль отеля; Розмэри чуть поотстала, чтобы любоваться им, восхищаться им со стороны. Он шел легким упругим шагом, будто возвращался после великих дел и спешил навстречу еще более великим. Зачинщик весе-

лья для всех, хранитель бесценных сокровищ радости. Шляпа на нем была образцом шляпного совершенства, в руке он держал массивную трость, в другой руке — желтые перчатки. Розмэри думала о том, какой чудесный вечер ждет тех, кому посчастливится провести этот вечер с ним.

Наверх, на пятый этаж, они пошли пешком. На первой площадке лестницы остановились и поцеловались; на второй она решила, что надо быть осторожнее, на третьей — тем более, не дойдя до следующей, она задержалась для короткого прощального поцелуя. Потом они сошли на одну лестницу вниз — так захотелось Дику — и после этого уже без остановок поднялись на свой этаж. Окончательно простились на верху лестницы, долго не расцепляли протянутых через перила рук, но наконец расцепили — и Дик снова пошел вниз — распорядиться насчет вечера, а Розмэри вернулась к себе и сразу же села писать письмо матери; совесть ее мучила, потому что она совсем не скучала о матери эти дни.

XVIII

Не питая особой симпатии к узаконенным формам светской жизни, Дайверы были все же слишком живыми людьми, чтобы пренебречь

заложенным в ней современным ритмом; на вечерах, которые задавал Дик, все делалось для того, чтобы гости не успевали соскучиться, и короткий глоток свежего ночного воздуха казался сладким вдвойне при переходе от развлечения к развлечению.

В этот вечер веселье шло в темпе балаганного фарса. Сначала было двенадцать человек, потом шестнадцать, потом четверками расселись в автомобили для быстролетной одиссеи по Парижу. Все было предусмотрено заранее. Как по волшебству появлялись новые люди, с почти профессиональным знанием дела сопутствовали им часть времени, потом исчезали, и их место занимали другие. Это было совсем не то, что знакомые Розмэри голливудские кутежи, пусть более грандиозные по масштабам. Одним из аттракционов явилась прогулка в личном автомобиле персидского шаха. Бог ведает откуда, какими путями Дику удалось раздобыть этот автомобиль. Розмэри приняла его появление как очередное звено в той цепи чудес, что вот уже два года тянулась через ее жизнь. Автомобиль был изготовлен в Америке по особому заказу. Колеса у него были серебряные, радиатор тоже. В обивке кузова сверкали бесчисленные стекляшки,

которые придворному ювелиру предстояло заменить настоящими бриллиантами, когда машина спустя неделю прибудет в Тегеран. Сзади было только одно место, ибо никто не смеет сидеть в присутствии шаха, и они занимали это место по очереди, а остальные располагались в это время на выстланном куньим мехом полу.

Но главное был Дик. Розмэри уверяла свою мать, с которой мысленно никогда не расставалась, что ни разу, ни разу в жизни не встречала никого лучше, милей, обаятельней, чем Дик в тот вечер. Она сравнивала с ним двух англичан, которых Эйб упорно именовал «майор Хенджест и мистер Хорса», наследного принца одного из скандинавских государств, писателя, только что побывавшего в России, самого Эйба, бесшабашно остроумного, как всегда, Коллиса Клэя, приставшего к их компании где-то на пути, — и никто не выдерживал сравнения. Ее покорял его неподдельный пыл, щедрость, с которой он вкладывал себя в эти затеи, его уменье расшевелить самых разных людей, ждавших от него каждый своей доли внимания, как солдаты своей порции от батальонного кашевара, — и все это легко, без усилий, с неисчерпаемым запасом душевного богатства для всякого, кто в нем нуждался.

…Она потом вспоминала особенно радостные минуты этого вечера. Когда она первый раз танцевала с Диком и сама себе казалась необыкновенно красивой рядом с ним, таким высоким и стройным, — они не шли, а парили, невесомые, как во сне, он ее поворачивал то туда, то сюда так бережно, словно держал в руках яркий букет или кусок дорогой ткани, приглашая полсотни глаз оценить его красоту. Временами они даже не танцевали, а просто стояли на месте, тешась своей близостью. А однажды под утро они вдруг очутились вдвоем в каком-то углу, и ее молодое влажное тело, сминая увядший шелк платья, приникло к нему среди вороха чьих-то накидок и шляп…

А самое смешное было позже, когда они вшестером, цвет компании, лучшее, что от нее осталось, стояли в полутемном вестибюле «Рица» и втолковывали ночному швейцару, что приехавший с ними генерал Першинг[14] требует икры и шампанского. «А он не из тех, кого можно заставить ждать. У него под командой и люди и орудия». И сейчас же забегали неизвестно откуда взявшиеся официанты, прямо в вестибюле был

[14] Notes: 14

Джон *Першинг* (1860–1948) — генерал армии США, командующий американским экспедиционным корпусом в Первой мировой войне.

накрыт стол, и в дверях торжественно появился генерал Першинг — Эйб, а они все, вытянувшись во фронт, забормотали обрывки военных песен в виде приветствия. Потом им показалось, что официанты, задетые розыгрышем, стали недостаточно расторопны; в наказание решили устроить им мышеловку и, нагромоздив всю мебель, какая нашлась в вестибюле, воздвигли чудовищное сооружение в духе рисунков Гольдберга. Эйб, глядя на это, неодобрительно качал головой.

— А не лучше ли раздобыть у музыкантов пилу и…

— Ладно, ладно тебе, — перебила Мэри. — Раз уже дошло до пилы, значит, пора домой.

Она поделилась с Розмэри своей тревогой:

— Мне необходимо увезти Эйба. Если он завтра в одиннадцать не уедет в Гавр, он опоздает на пароход, и его поездка сорвется. А от этой поездки зависит все его будущее. Не знаю, что делать. Начнешь его уговаривать, он поступит как раз наоборот.

— Давайте я попробую, — предложила Розмэри.

— Думаете, вам удастся? — с сомнением сказала Мэри Норт. — Хотя — может быть.

К Розмэри подошел Дик.

— Мы с Николь уезжаем — вам, наверно, лучше ехать с нами.

Ее лицо в свете ложной зари было бледным и усталым. Два темных пятна тускнели на щеках вместо дневного румянца.

— Не могу, — сказала она. — Я обещала Мэри остаться, а то ей одной не справиться с Эйбом. Вы бы не могли помочь?

— Пора бы вам знать, что в таких делах ничем помочь нельзя, — наставительно заметил он. — Добро бы еще Эйб был мальчишкой-студентом, который первый раз в жизни напился. А так ничего с ним не сделаешь.

— Все равно, я должна остаться, — почти с вызовом возразила Розмэри. — Он обещал, если мы с ним поедем на Главный рынок, он оттуда вернется в отель и ляжет.

Дик торопливо поцеловал ее руку в сгибе локтя.

— Только не отпускайте потом Розмэри одну, — сказала Николь, прощаясь с Мэри. — Мы за нее в ответе перед ее мамой.

...Часом позже Розмэри, Норты, один ньюаркский фабрикант кукольных пищалок, вездесущий Коллис Клэй и нефтяной магнат родом из Индии, расфранченный толстяк со странной фа-

милией Гандикап, все вместе ехали в рыночном фургоне с морковью. В темноте от морковных хвостиков сладко и ароматно пахло землей; на длинных перегонах между редкими уличными фонарями Розмэри, забравшись на самый верх, почти не могла разглядеть своих спутников. Их голоса доносились издалека, будто они ехали где-то совсем отдельно, а она всеми думами была с Диком, жалела, что не отделалась от Нортов, мечтала о том, как хорошо бы сейчас лежать у себя в номере и знать, что наискосок через коридор спит Дик, — а еще лучше, если бы он был рядом с ней здесь, в теплом сумраке, стекающем вниз.

— Не лезьте сюда! — крикнула она Коллису. — Морковь посыплется. — Потом взяла одну морковку и кинула в Эйба, который сидел рядом с возчиком, какой-то по-стариковски окостенелый…

Потом ее, наконец, везли домой в отель, уже совсем рассвело, и над Сен-Сюльпис носились голуби. Было ужасно смешно, что прохожие на улице воображают, будто уже настало утро, когда на самом деле еще продолжается вчерашняя ночь.

«Вот я и прожигаю жизнь, — подумала Розмэри, — но без Дика это совсем неинтересно».

Ей сделалось грустно и немножко обидно, но тут в поле ее зрения попал какой-то движущийся предмет. Это был большой каштан в полном цвету, который перевозили на Елисейские Поля; он лежал, прикрученный к длинной грузовой платформе, и просто весь трясся от смеха, точно очень красивый человек, оказавшийся в неэстетичной позе, но знающий, что все равно красив. Розмэри вдруг пришло в голову, что этот каштан — она сама; мысль эта ее развеселила, и все опять стало чудесно.

XIX

Поезд на Гавр отходил в одиннадцать часов с Сен-Лазарского вокзала. Эйб стоял один под мутным от грязи стеклянным сводом, пережитком эпохи Хрустального дворца, запрятав в карманы землисто-серые после многочасового кутежа руки, чтобы не видно было, как они трясутся. Он был без шляпы, и щетка явно лишь наспех прошлась по его волосам — слегка приглаженные сверху, ниже они упрямо топорщились в разные стороны. Трудно было узнать в нем недавнего купальщика с пляжа Госса.

Было еще рано; он озирался кругом одними глазами — чтоб повернуть хотя бы голову, потре-

бовалось бы нервное усилие, на которое он сейчас не был способен. Провезли мимо новехонькие на вид чемоданы; какие-то смуглые маленькие человечки, его будущие спутники, перекликались смуглыми гортанными голосами.

Прикидывая, нельзя ли еще забежать в буфет чего-нибудь выпить, Эйб нащупал в кармане пачку мятых тысячефранковых бумажек, но в это время его блуждающий взгляд поймал Николь, показавшуюся на верхней площадке лестницы. Он пытливо всмотрелся — ее лицо словно выдавало сейчас что-то обычно скрытое; так часто кажется, когда смотришь, сам еще не замеченный, на человека, которого давно ждал. Николь чуть хмурилась, она думала о своих детях — без умиления, скорее деловито: кошка, лапкой пересчитывающая своих котят.

При виде Эйба выражение ее лица сразу изменилось; Эйб выглядел довольно плачевно, серый утренний свет, падавший сверху сквозь стекло, подчеркивал темные круги у него под глазами, заметные, несмотря на красноватый загар. Они сели на скамейку.

— Я пришла потому, что вы меня просили прийти, — сказала Николь тоном самозащиты.

Эйб явно не помнил, когда он об этом просил и

зачем, и Николь занялась разглядыванием снующих мимо пассажиров.

— Вот это будет первая красавица вашего судна — та дама, которую провожает столько мужчин. Понятно вам, для чего она купила такое платье? — Николь болтала, все больше оживляясь. — Только первая красавица трансокеанского рейса могла купить себе такое платье. Понятно вам почему? Нет? Да проснитесь же вы! Это говорящее платье — сама материя, из которой оно сшито, говорит о многом, и, уж наверно, за время переезда найдется кто-нибудь, кто от скуки полюбопытствует о чем…

Она прикусила конец последней фразы; для нее непривычна была подобная болтовня, и, глядя в ее посерьезневшее лицо, Эйбу трудно было поверить, что она вообще сказала хоть слово. Он заставил себя подтянуться и сидя старался выглядеть так, будто стоит во весь рост.

— Помните ту танцульку, на которую вы меня как-то водили, — в День святой Женевьевы, кажется… — начал он.

— Помню. Там было очень весело, правда?

— Только не мне. И вообще мне в этом году совсем не весело с вами. Я устал от вас обоих, и если это незаметно, так лишь потому, что вы еще

больше устали от меня — сами знаете. Хватило бы у меня пороху, завел бы себе новых знакомых.

Николь парировала удар, и обнаружилось, что у ее бархатных перчаток довольно жесткий ворс.

— Не говорите гадостей, Эйб, это глупо. И вы же все равно так не думаете. Объясните мне лучше, почему вы вдруг на все махнули рукой?

Эйб медлил с ответом, превозмогая желание откашляться и высморкать нос.

— Должно быть, мне просто все надоело. И потом, очень уж далекий нужно было проделать обратный путь, чтоб снова начать сначала и куда-нибудь прийти.

Мужчина любит разыгрывать перед женщиной беспомощного ребенка, но реже всего это ему удается, когда он и в самом деле чувствует себя беспомощным ребенком.

— Это не оправдание, — жестко сказала Николь.

Эйбу с каждой минутой становилось все более тошно, на язык просились только желчные, недобрые слова. Николь сидела в позе, которую, видимо, сочла подходящей к случаю, — руки на коленях, взгляд устремлен в одну точку. Всякое общение между ними временно прекратилось, они спешили обособиться друг от друга, стараясь

существовать каждый только в том куске свободного пространства, который был недоступен другому. У них не было ни прошлого, как у любовников, ни будущего, как у супругов, а между тем вплоть до этого утра Николь ставила Эйба на первое место после Дика, а Эйб был полон многолетней обезоруживающей любовью к Николь.

— Я устал существовать в женском мире, — вдруг поднял он снова голос.

— Что же вы не создадите себе собственный мир?

— Устал от друзей. Подхалимы — вот что нужно человеку.

Николь мысленно подгоняла стрелку вокзальных часов, но так и не успела уйти от вопроса:

— Вы со мной не согласны?

— Я женщина; мое дело скреплять и связывать.

— А мое — ломать и разрушать.

— Напиваясь, вы не разрушаете ничего, кроме самого себя, — сказала она холодно, однако в тоне ее сквозили растерянность и опасение.

Людей на вокзале все прибавлялось, но никого из знакомых не было видно. Наконец, к своему облегчению, она заметила высокую девушку с соломенно-желтыми волосами, уложенными в

прическу, напоминавшую шлем. Девушка опускала письмо в почтовый ящик.

— Эйб, мне нужно поговорить с одной знакомой. Да проснитесь же, Эйб! Вот дурень, право.

Эйб безучастно проводил ее глазами. Когда она подошла к девушке, та оглянулась как-то испуганно, и Эйбу показалось, что он ее уже где-то видел. Воспользовавшись отсутствием Николь, он громко высморкался и потом долго, надсадно кашлял, отхаркиваясь в носовой платок. Становилось жарко, и белье на нем взмокло от пота. Руки тряслись так сильно, что лишь с четвертой спички ему удалось зажечь сигарету; выпить было просто необходимо, но только что он нацелился на дверь буфета, возвратилась Николь.

— Я потерпела афронт[15], — с холодноватым юмором объявила она. — Сколько раз эта особа зазывала меня в гости, а тут едва поздоровалась со мной. Посмотрела на меня так, будто я прокаженная. — Николь рассмеялась коротким смешком, похожим на фортепьянную трель в одной из верхних октав. — Вот и будь любезной с людьми.

Эйб, поперхнувшись дымом, отозвался не сра-

---

[15] Notes: 15
Публичное оскорбление *(устар.)*.

зу.

— Беда в том, что когда ты трезв, тебе ни с кем не хочется знаться, а когда пьян, никому не хочется знаться с тобой.

— Вы это обо мне? — Николь снова засмеялась; предшествующий эпизод неизвестно почему привел ее в хорошее настроение.

— Нет — о себе.

— То-то же. А я люблю, чтобы вокруг меня были люди, и чем больше, тем лучше. Я люблю…

Она вдруг увидела Розмэри и Мэри Норт, которые медленно шли по перрону, высматривая Эйба. Она громко закричала: «Эй! Сюда! Сюда!» — и замахала им свертком, в котором были купленные для Эйба носовые платки.

Втроем они стояли в неловком молчании, подавляемые могучей личностью Эйба, который высился перед ними, как остов потерпевшего крушение корабля, — ибо, несмотря на свои слабости и привычку потворствовать им, опустошенный, озлившийся, он все-таки оставался личностью. Нельзя было не оценить его величавого достоинства, позабыть о его свершениях, пусть неполных, беспорядочных и уже превзойденных другими. Но пугала неослабная сила его воли, потому что прежде это была воля к жизни, а теперь — воля

к смерти.

Наконец пришел Дик Дайвер, и все три женщины с радостными возгласами бросились в исходившее от него ровное тепло, готовые обезьянками повиснуть у него на плечах, уцепиться за безукоризненную вмятину шляпы или золотой набалдашник тросточки. Теперь хоть на миг можно было отвлечься от зрелища могучего непотребства Эйба. Дик сразу понял, что с ними происходит и как им помочь. Он заставил их выйти из своей скорлупы и приобщиться к вокзальной суете, раскрывая перед ними ее тайны. Неподалеку шумно прощалась компания американцев, их голоса напоминали бульканье воды, льющейся в старую, заржавленную ванну. Здесь, на вокзале, за стенами которого остался Париж, казалось, будто море совсем близко, и оно уже творило свои чудеса над людьми, новым расположением атомов в молекулах меняя их человеческую сущность. У богатых американцев, когда они выходили на перрон, были совершенно новые лица, важные, сосредоточенные, исполненные если не своих, то хотя бы заимствованных мыслей. Если случался среди них англичанин, его сразу можно было отличить. Когда на перроне скопилось много американцев, ореол добродете-

ли и долларов вокруг них несколько потускнел, постепенно превращаясь в дымку национальной одноликости, застилавшую глаза и им самим, и тем, кто на них глядел со стороны.

— Смотри, Дик! — крикнула вдруг Николь, схватив мужа за руку.

Дик круто обернулся — как раз вовремя, чтобы увидеть сцену, которая минуту спустя разыгралась через два вагона от них, резко нарушив однообразие прощального ритуала. Молодая женщина в шлемоподобной прическе, недавняя собеседница Николь, разговаривала с каким-то мужчиной; вдруг она как-то странно вильнула вбок, судорожным движением ткнула руку в свою сумочку, и два револьверных выстрела с треском раскололи спертый воздух. В ту же минуту раздался свисток, и поезд тронулся, мгновенно измельчив масштабы происшествия. Эйб вовсе не обратил на него внимания и, высунувшись в окошко, махал рукой друзьям. Но те, пока еще не сомкнулась толпа, успели заметить, как человек, в которого стреляли, тяжело сел на асфальт.

Сто лет прошло, прежде чем остановился поезд. Николь, Мэри и Розмэри ждали в конце перрона, а Дик протолкался вперед. Вернулся он минут через пять — толпа тем временем разделилась:

одни пошли за носилками с раненым, другие за девушкой, которая шагала между двух явно растерявшихся жандармов, бледная, но решительная.

— Это Мария Уоллис, — взволнованно сообщил Дик. — А он — англичанин, было очень трудно установить его личность, потому что пуля пробила бумажник с документами. — Они быстро шли к выходу, следуя за толпой. — Я узнал, в какой полицейский участок ее повезут, — сейчас туда поеду.

— Да ведь у Марии сестра в Париже, — возразила Николь. — Вот ей и надо позвонить. Странно, что никто не подумал об этом. Она замужем за французом и может сделать больше, чем мы.

Дик заколебался было, но потом мотнул головой и ускорил шаг.

— Погоди! — крикнула ему вдогонку Николь. — Глупо же — что ты там можешь сделать, да еще с твоим французским языком?

— Посмотрю, по крайней мере, чтоб ей не причинили никакого вреда.

— Отпустить ее все равно не отпустят, — уверенно заявила Николь. — Она же стреляла, это факт. Лучше всего сразу позвонить Лоре, Лора сумеет то, чего нам не суметь.

Но Дика это не убедило, — кроме того, он

немножко рисовался перед Розмэри.

— Жди меня здесь, — твердо сказала Николь и побежала к телефонной будке.

— Уж если Николь сама взялась за дело, остается одно — не вмешиваться, — шутливо разведя руками, заметил Дик.

Он со вчерашнего вечера еще не видел Розмэри. Они обменялись быстрыми взглядами, ища следов пережитого накануне. На мгновение обоим показалось, что ничего этого не было, — но сразу же возник снова мерный, мягкий, медлительный гул любви.

— Вы всем всегда готовы помочь, — сказала Розмэри.

— Больше делаю вид.

— Моя мама тоже любит помогать людям, но, конечно, она может гораздо меньше, чем вы. — Розмэри вздохнула. — Мне иногда кажется, что я самая большая эгоистка на свете.

Впервые упоминание Розмэри о матери вызвало у Дика не улыбку, а скорей чувство досады. Ему захотелось избавиться от ее незримого присутствия, развеять ту атмосферу детской, из которой Розмэри никак не могла или не хотела вывести их отношения. Но он понимал, что этот порыв — проявление слабости; чем обернулась бы тяга к

нему Розмэри, если бы он хоть на миг перестал владеть собой? Не без испуга он почувствовал, что все замедляется; а между тем отношения не могут стоять на месте, они должны двигаться, если не вперед, так назад. Ему вдруг пришло в голову, что Розмэри более твердой рукой держит руль, нежели он.

Прежде чем он пришел к какому-нибудь решению, вернулась Николь.

— Я говорила с Лорой. Она ничего не знала до моего звонка. Ее голос в трубке звучал как-то странно — то совсем замрет, то опять окрепнет, как будто она близка к обмороку, но старается держать себя в руках. Она говорит, у нее было предчувствие, что сегодня случится беда.

— Мария была бы находкой для Дягилева[16], — пошутил Дик, желая помочь женщинам вновь обрести душевное равновесие. — В ней много драматизма, не говоря уже о чувстве ритма. Интересно, почему это ни одно отправление поезда не обходится без револьверной пальбы?

Они торопливо спустились по широкой стальной лестнице.

---

[16] Notes: 16

Сергей *Дягилев* (1872–1832) — русский театральный деятель, импресарио и антрепренер, популяризатор русского искусства в Европе и США.

— Мне жаль этого беднягу англичанина, — сказала Николь. — Теперь понятно, отчего Мария так странно говорила со мной, ведь она готовилась к боевым действиям.

Она рассмеялась, и Розмэри рассмеялась тоже, но обеим было не по себе, и обе ждали от Дика оценки случившегося, чтобы не пришлось доходить до нее самим. Желание это было не вполне осознанным, особенно у Розмэри, привыкшей к тому, что вокруг нее разлетались осколки подобных взрывов. Все же и она была потрясена. Но Дик, захваченный силой своего нового чувства, лишился способности переводить любые события на язык веселого досуга, и его спутницы, чувствуя, что им чего-то недостает, тревожно молчали.

А потом, словно ничего не-произошло, существование Дайверов и членов их кружка выплеснулось на парижские улицы.

Произошло, однако, многое — отъезд Эйба и предстоявший в тот же день отъезд Мэри в Зальцбург положили конец беспечальному парижскому житью. А может быть, это сделал сухой треск выстрелов, развязка бог весть какой трагедии. Эти выстрелы им не скоро суждено было забыть; ожидая у вокзала такси, они услышали их

отзвук в комментариях, которыми обменивались двое носильщиков, стоявших рядом:

— Tu as vu le revolver? Il etait, tres petit, vraie perle — un jouet[17].

— Mais assez puissant, — наставительно возразил второй носильщик. — Tu as vu sa chemise? Assez de sang pour se croire a la guerre[18].

XX

Над площадью густое облако выхлопных газов медленно пеклось в лучах июльского солнца. Этот нечистый зной даже не манил за город, рождая в сознании лишь образ дорог, так же содрогающихся в зловонном удушье. Во время завтрака на террасе кафе напротив Люксембургского сада у Розмэри началось женское нездоровье; она нервничала, чувствовала себя разбитой и усталой — предощущение этого и заставило ее обвинить себя в эгоизме во время разговора на вокзале.

Дик не уловил резкой перемены в ее настро-

---

[17] Notes: 17

Ты видел револьвер? Такой маленький, аккуратненький — просто игрушка *(фр.)*.

[18] Notes: 18

Но стреляет всерьез. Ты видел рубашку? Столько крови, что можно было подумать, будто мы на войне *(фр.)*.

ении; глубоко удрученный, он был больше обычного занят собой, что делало его слепым к тому, что творилось вокруг и тормозило привычную зыбь воображения, помогавшую думать и рассуждать.

За кофе к ним присоединился итальянец, учитель пения, который должен был проводить Мэри Норт на поезд; когда они простились и ушли, Розмэри тоже встала: ей нужно в студию, у нее там назначена деловая встреча.

— И пожалуйста, — попросила она, — если при вас появится тут Коллис Клэй, знаете, тот молодой человек с Юга, передайте, что я не могла его дождаться: пусть позвонит мне завтра.

Ее детское легкомыслие, явившееся реакцией после недавних волнений, заставило Дайверов с нежностью вспомнить о собственных детях; впрочем, это не прошло Розмэри даром.

— Лучше предупредите гарсона, — голос Николь звучал сухо и неприветливо, — мы не намерены здесь оставаться.

Розмэри поняла, но не обиделась.

— Ну все равно, бог с ним. До свидания, мои дорогие.

Дик потребовал счет; несколько минут Дайверы отдыхали, откинувшись на спинку стула,

рассеянно пожевывая зубочистку.

— Что ж… — уронили они одновременно.

По губам Николь скользнула едва заметная гримаска горечи, — никто, кроме Дика, не уловил бы ее, да и он мог сделать вид, что ничего не видел. Что было у нее в мыслях? Розмэри только пополнила собой список тех, кого Дик «покорил» за последние годы; в их числе был клоун-француз, Эйб и Мэри Норт, писатель, художник, эстрадная пара, актриса театра «Гран-Гиньоль», полубезумный педераст из Русского балета, подающий надежды тенор, которого Дайверы на год отправили учиться в Милан. Николь хорошо знала, как все эти люди дорожили его симпатией и его интересом, однако она знала и другое: за шесть лет их супружества Дик ни одной ночи не провел без нее, кроме времени, когда родились их дети. Но в нем было обаяние, которого он просто не мог не пускать в ход; человек, наделенный таким обаянием, пользуется им подчас бессознательно, притягивая к себе тех, кто ему совершенно не нужен.

Всякий раз, оставаясь вдвоем с Николь, Дик как бы заново изумлялся счастливой судьбе, спаявшей их воедино; но сейчас, хмурый и замкнутый, он ни словом, ни жестом не выказывал подобных

чувств.

В тесном проходе между столиками появился Коллис Клэй, «молодой человек с Юга», и еще издали весело замахал Дайверам рукой. Дику всегда была чужда фамильярность; он не любил, когда с ним здоровались междометиями, когда при Николь обращались только к нему или при нем только к Николь. Зная свою обостренную чувствительность к чуждому поведению, он предпочитал не встречаться с людьми, если был не в духе; малейшая бесцеремонность, допущенная в его присутствии, как бы нарушала фальшивой нотой его жизненный лад.

Коллис, нимало не чувствуя себя свадебным гостем без фрака, так возвестил о своем прибытии: «Я, кажется, опоздал — птичка упорхнула!» Дику только ценой большого усилия удалось простить ему, что он для начала не поклонился Николь.

Николь почти сразу же встала и ушла, а Дик еще посидел с Коллисом, допивая свое вино. Вообще ему даже нравился этот студент послевоенной формации, куда более легкий в общении, чем большинство южан, которых он знавал в Нью-Хейвене десять лет назад. С мысленной улыбкой он смотрел, как Коллис, не переставая болтать, обстоятельно и неторопливо набивает

свою трубку. Пустынный еще недавно Люксембургский сад мало-помалу заполнялся детьми с няньками; впервые за много месяцев Дик позволил себе в такой час пассивно подчиниться течению времени.

Вдруг он похолодел — до него дошла суть доверительного монолога Коллиса.

— ...не такая она ледяшка, как вам, вероятно, кажется. Я, знаете, и сам долго так думал. Но как-то раз на Пасху мы все ехали из Нью-Йорка в Чикаго, и в поезде у нее вышла история с одним парнем из Нью-Хейвена по фамилии Хиллис. С нею в купе была моя двоюродная сестра, так она сразу увидела, что им с Хиллисом охота остаться вдвоем, и после обеда ушла в наше купе, мы там играли в карты. Часа два спустя выходим мы в коридор и видим — Розмэри и Хиллис стоят и спорят о чем-то с кондуктором, и Розмэри белая как полотно. Оказывается, они заперлись в купе, да еще опустили на окне штору и, наверно, не теряли там времени даром, а тут как раз кондуктор явился проверять билеты. Он постучал в дверь, но они решили, что это мы их разыгрываем, и сперва не хотели открывать, а когда наконец открыли, кондуктор уже позеленел от злости. Пристал к Хиллису, здесь ли его место и жена

ли ему Розмэри, а если не жена, на каком таком основании им вздумалось запираться. Хиллис никак не мог убедить его, что они не делали ничего дурного, и в конце концов тоже вышел из себя. Стал кричать, что кондуктор оскорбил Розмэри, хотел с ним подраться, — в общем, дело могло кончиться большими неприятностями, но мне удалось все уладить, хоть, поверьте, это было совсем не легко.

Странная перемена творилась в Дике, пока он слушал, во всех подробностях воображая эту вагонную сцену, почти завидуя сближающей унизительности положения юной пары. Образ кого-то третьего, пусть давно позабытого, вторгшийся вдруг в его отношения с Розмэри, — только это и было нужно, чтобы рушились остатки его душевного равновесия, чтобы хлынули без помехи боль, тоска, отчаяние и страсть. Чья-то рука на щеке Розмэри, участившееся дыхание, накал чужой злобы перед запертой дверью, сокровенное, недостижимое тепло за ней.

«…Не возражаете, если я опущу штору?»

«Пожалуйста. Здесь правда слишком светло…»

Тем временем Коллис Клэй уже рассуждал о политике студенческих братств в Нью-Хейвене — тем же тоном, с тем же оживлением. Дик давно

знал, что Коллис влюблен в Розмэри какой-то странной, непонятной для Дика любовью. История с Хиллисом не произвела на него, видно, никакого впечатления, разве только послужила приятным доказательством, что Розмэри не чуждо ничто человеческое.

— «Череп и кости» сумели подобрать отличных ребят, — говорил он. — Впрочем, и у других не хуже. В Нью-Хейвене теперь такая тьма народу, что многим приходится отказывать, — жалко даже.

«...Не возражаете, если я опущу штору?»

«Пожалуйста. Здесь правда слишком светло...»

Через весь Париж Дик поехал в свой банк; выписал чек за высокой, покрытой стеклом конторкой, и долго-долго скользил взглядом вдоль длинного ряда столов, раздумывая, кому из старших служащих банка подать его для оформления. Писал он с преувеличенным усердием, то и дело пробуя перо, вырисовывая каждую букву. Один раз остекленевшими глазами посмотрел на окошечко почты, но тут же снова сосредоточил на чеке свое тоже как бы остекленевшее внимание.

Он все еще не решил, к кому обратиться — кто менее всех способен заметить его душевное смятение и менее всех склонен вступать в разговоры. Вот Перрен, общительный господин из

Нью-Йорка, не раз приглашавший его позавтракать в Американский клуб, вот испанец Касасус, с которым он обычно беседовал об общих знакомых, хотя знакомых этих не встречал уже добрый десяток лет, вот Мухгаузе, неизменно осведомлявшийся, со своего ли счета он желает взять деньги или со счета своей жены.

Проставив на корешке сумму и дважды ее подчеркнув, он наконец остановил свой выбор на Пирсе — Пирс молод и перед ним не так уж нужно разыгрывать комедию; впрочем, самому разыгрывать комедию подчас легче, чем смотреть, как это делают другие.

Но прежде он пошел за своей корреспонденцией; женщина, ведавшая почтой клиентов, передавая ему письма, грудью придержала готовую соскользнуть со стола бумажку, и Дик подумал, что никогда мужчина не сделал бы такого телодвижения. Он отошел в сторону и стал вскрывать конверт за конвертом. Счет от немецкой фирмы за семнадцать книг по психиатрии; счет из книжного магазина Брентано; письмо из Буффало от отца, чей почерк год от года становился все менее разборчивым; шуточное послание от Томми Барбана со штемпелем Феса; письма от двух цюрихских врачей, написанные

оба по-немецки; спорный счет от штукатура из Канна; счет от мебельщика; письмо от издателя медицинского журнала в Балтиморе; куча разных извещений и пригласительный билет на выставку пока неизвестного художника; кроме того, три письма на имя Николь и одно, адресованное ему для передачи Розмэри.

«…Не возражаете, если я опущу штору?»…

Он направился к Пирсу, но тот был занят с клиенткой, и Дик затылком ощутил неизбежность обращения к Касасусу, который сидел за соседним столом и был свободен.

— Как поживаете, Дайвер? — Касасус искренне обрадовался ему. Он встал, улыбка растянула его усы. — Я тут вас вспоминал недавно — зашла речь о Фезерстоне, он, оказывается, теперь в Калифорнии.

Дик сделал круглые глаза, слегка подавшись вперед.

— В Калифорнии?!

— Да, представьте себе.

Чек еще торчал в протянутой руке Дика; чтобы заставить Касасуса заняться делом, он повернулся к Пирсу и, поймав его взгляд, подмигнул ему с выражением сочувствия — шуточная игра, вошедшая у них в привычку года три назад, когда

Пирс состоял в весьма сложных отношениях с одной литовской графиней. Пирс, подхватив шутку, ухмыльнулся в ответ, и, пока длилась эта мимическая сцена, Касасус успел оформить чек; он был не прочь задержать Дика подольше, просто из дружеской симпатии к нему, но не нашел предлога и только повторил, приподнявшись и придерживая пенсне на носу: «Да, Фезерстон теперь в Калифорнии».

Перрен, сидевший за центральным столом, беседовал в это время с клиентом, в котором Дик успел узнать чемпиона мира в тяжелом весе; по взгляду, искоса брошенному Перреном на Дика, тот понял, что он хотел было окликнуть его и познакомить, но раздумал.

Опыт, накопленный у покрытой стеклом конторки, помог Дику успешно отразить светские поползновения Касасуса: сперва он обстоятельно изучал возвращенный ему чек, потом усмотрел за первой мраморной колонной справа нечто, возбудившее его глубокий интерес, и, наконец, после долгой возни со шляпой, тростью и пачкой писем, откланялся и пошел к выходу. Давно купленный щедрыми чаевыми швейцар знал свое дело — такси уже дожидалось у подъезда.

— Мне нужно в киностудию Films Par

Excellence — это на маленькой улочке в Пасси. Поезжайте к Porte de la Muette, а там я вам объясню, как ехать дальше.

События последних двух дней так все перепутали в нем, что он теперь сам толком не знал, чего хочет. У Porte de la Muette он отпустил такси и пешком пошел по направлению к студии, но, не дойдя нескольких домов, перешел на другую сторону улицы. Внешне полный достоинства, элегантный вплоть до последних мелочей костюма, он был словно растерявшееся, преследуемое животное. Равновесие можно было вернуть себе, только если вычеркнуть прошлое, забыть все напряжение последних шести лет. Он метался по кварталу, точно глупый мальчишка из таркингтоновского[19] романа, торопясь поворачивать на углах из страха пропустить Розмэри, когда она выйдет со студии. Квартал выглядел довольно уныло. Рядом со студией красовалась вывеска: 1000 chemises[20]. Всю витрину заполняли сорочки — с галстуками, без галстуков, сложенные стопками, расправленные на плечиках или с

[19] Notes: 19

Бут *Таркингтон* (1869–1946) — американский писатель, наиболее известный романами «Великолепные Эмберсоны» и «Элис Адамс».

[20] Notes: 20

«1000 сорочек» *(фр.)*.

искусственной небрежностью брошенные на самое дно витрины. Тысяча сорочек — подика сосчитай! Дальше можно было прочесть: Papeterie, Patisserie, Solde[21] — и рекламу Dejeuner de Soleil[22] с Констанцией Толмедж; потом шли вывески более мрачного содержания: Vetements Ecclesiastiques, Declaration de Deces, Pompes Funebres[23]. Жизнь и смерть.

Он понимал: то, что он сейчас делает, означает крутой перелом в его жизни, — настолько это не вяжется со всем, что было раньше, не вяжется даже с тем впечатлением, которое он мог и хотел бы произвести на Розмэри. В глазах Розмэри он всегда был воплощенной корректностью и своим появлением здесь как бы вторгался в чужой мир. Но для Дика этот поступок, которого он не мог не совершить, был выражением живой, хоть и глубоко в нем сокрытой сути. Он пришел сюда — в сорочке с манжетами, ладно облекавшими запястье, в пиджаке с обшлагами, как муфта или

---

[21] Notes: 21

«Писчебумажный магазин», «Кондитерская», «Распродажа» *(фр.)*.

[22] Notes: 22

«Солнечный завтрак» *(фр.)*.

[23] Notes: 23

«Церковное облачение», «Объявления о кончине», «Похоронное бюро» *(фр.)*.

втулка охватывавшими манжеты сорочки, с воротничком, гибко прилегавшим к шее, идеально подстриженный и выбритый, с франтоватым портфеликом в руке, — пришел, повинуясь той самой силе, что когда-то заставила другого человека прийти на церковную площадь в Ферраре во власянице и с головой, посыпанной пеплом. То была дань, которую Дик Дайвер платил непозабытому, неискупленному, нестершемуся.

XXI

После трех четвертей часа бесплодного ожидания одиночество Дика было прервано неожиданной встречей. Это была одна из тех случайностей, что подстерегали его именно тогда, когда ему меньше всего хотелось с кем-нибудь общаться. Упорные старания оградить свой обнажившийся внутренний мир приводили порой к обратным результатам; так актер, играющий вполсилы, заставляет зрителей вслушиваться, вытягивать шею и в конце концов создает напряжение чувств, которое помогает публике самой заполнять оставленные им в роли пустоты. И еще: мы редко сочувствуем людям, жаждущим и ищущим нашего сочувствия, но легко отдаем его тем, кто иными путями умеет возбудить в нас отвлечен-

ное чувство жалости.

Так, возможно, рассуждал бы сам Дик, если бы ему вздумалось анализировать эпизод, о котором, пойдет речь. На углу Rue de Saints Anges его остановил американец лет тридцати с худым, бледным лицом и, чуть кривя губы в мрачноватой усмешке, попросил прикурить. Дик сразу отнес его к знакомому с юных лет типу — такие вот молодцы праздно торчат в табачных лавчонках, облокотясь на прилавок и какой-то крохотной щелкой сознания примечая входящих и выходящих покупателей. Привычная фигура в гаражах, где втихую обделываются сомнительные делишки, в парикмахерских, в фойе маленьких театриков — так, по крайней мере, определил его для себя Дик. Иногда подобные лица мелькали на самых разящих карикатурах Тада[24] — мальчишкой Дик не раз с тревогой пытался взглянуть в полутьму преступного мира, граница которого проходила, казалось, совсем недалеко.

— Нравится вам Париж, приятель?

Не дожидаясь ответа, парень пошел рядом, приноравливая свой шаг к шагу Дика.

— Вы откуда? — спросил он подбадривающим

[24] Notes: 24

Тэд Дорган (1877–1929) — американский карикатурист и спортивный журналист.

тоном.

— Из Буффало.

— А я из Сан-Антонио — да только с самой войны осел здесь.

— Были в армии?

— А то как же! Восемьдесят четвертая дивизия — слышали про такую?

Парень слегка забежал вперед и прицелился в Дика взглядом, не сулившим добра.

— Вы живете в Париже, приятель? Или так, проездом?

— Проездом.

— А в каком отеле остановились?

Дик усмехнулся про себя — малый, видно, задумал нынче ночью обчистить его номер. Но эти мысли были тут же бесцеремонно прочтены.

— С таким сложением, как у вас, приятель, вам меня вроде бояться нечего. В Париже полно бродяг, которые охотятся на американских туристов, но меня вы не бойтесь.

Дику надоело, и он остановился.

— У вас, я вижу, много свободного времени.

— Нет, почему — я в Париже делаю дело.

— Какое же дело?

— Продаю газеты.

Столь безобидное занятие до смешного не вя-

залось со злодейскими ухватками парня; он, однако, тут же добавил:

— А вы не думайте — я прошлый год неплохо зарабатывал: по десять, а то и двадцать франков за номер «Санди таймс», которому цена шесть.

Он вытащил из порыжевшего бумажника вырезанную из газеты картинку и ткнул своему случайному спутнику. На картинке бесконечный поток американцев струился по сходням груженного золотом корабля.

— Двести тысяч. За одно лето оставляют тут десять миллионов.

— А что вас привело сюда, в Пасси?

Парень опасливо осмотрелся по сторонам.

— Кино, — таинственно шепнул он. — Здесь есть американская киностудия. Им, бывает, требуется, кто может говорить по-английски. Вот я и жду случая.

На этот раз Дик поторопился решительно отделаться от него.

Было уже ясно, что Розмэри либо успела проскочить во время одного из его обходов квартала, либо ушла еще до того, как он приехал в Пасси. Он вошел в бистро на углу, купил свинцовый жетончик и, втиснувшись в закуток между кухней и зловонным клозетом, вызвал коммутатор

отеля «Король Георг». В ритме собственного дыхания ему нетрудно было распознать один из симптомов Чейн-Стокса, но, как и все остальное, это лишь усугубило остроту его чувств. Назвав нужный номер, он долго стоял с трубкой в руке, бесцельно глядя из полутьмы в освещенный зал; наконец странно незнакомый голос сказал в трубке: «Алло!»

— Это Дик. Я не мог не позвонить вам.

Пауза; потом она ответила — храбро и удивительно в лад его настроению:

— Хорошо, что позвонили.

— Я говорю из бистро напротив вашей студии — думал, встречу вас и мы проедемся по Булонскому лесу.

— Ах, какая жалость! А я там пробыла всего несколько минут.

Пауза.

— Розмэри!

— Да, Дик?

— Что-то со мной творится неладное, когда я думаю о вас. Пожилому господину терять покой из-за маленькой девочки — это уж последнее дело.

— Никакой вы не пожилой, Дик. Вы молодой, самый молодой на свете.

— Розмэри!

Снова пауза. На полке, прямо против него, выстроились бутылки с ядами Франции из тех, что попроще, — «Отар», ром «Сен-Джеймс», «Мари Бриззар», пунш «Оранжад», «Андре Ферне Бланке», шерри «Роше», «Арманьяк».

— Вы одна?

«Не возражаете, если я опущу штору?»

— С кем же еще, по-вашему?

— Видите, я сам не знаю, что говорю. Мне бы так хотелось сейчас быть с вами.

Пауза, потом вздох и тихий ответ:

— И мне бы хотелось, чтобы вы были со мной.

Комната в отеле, скрытая за цифрами телефонного номера, там она лежит, и короткие всплески музыки нарушают тишину вокруг нее…

Там на Таити
Вдали от событий
Мы будем с тобою
Вдвое-ом.

Легкий налет пудры поверх загара — когда он целовал ее, кожа у корней волос была влажной; сразу побледневшее лицо рядом с его лицом, изгиб плеча.

«Нет, невозможно», — сказал он себе. Минуту

спустя он уже шагал по улице в сторону Porte de la Muette, а может быть, и в обратную — маленький портфель в одной руке, трость с золотым набалдашником, точно обнаженная шпага, — в другой.

Розмэри вернулась за письменный стол и дописала начатое письмо к матери:

…я его видела всего несколько минут, но он мне показался удивительно красивым. Я в него тут же влюбилась (конечно, Дика я люблю больше, но ты понимаешь, что я хочу сказать). Вопрос о его новой картине уже решен, и он завтра же уезжает в Голливуд, так что нам, по-моему, тоже не нужно задерживаться. Здесь сейчас Коллис Клэй. Он очень славный, но я с ним встречаюсь довольно редко из-за Дайверов, которые просто божественны, никогда не знала таких прелестных людей. Сегодня мне нездоровится, и я принимаю лекарство, хоть особой нужды в этом нет. Больше ничего писать не буду, скоро мы увидимся, и тогда расскажу тебе ВСЕ!!! Как получишь это письмо, сейчас же телеграфируй – не пиши, а телеграфи-

руй, – приедешь ли ты за мной, сюда или мне возвращаться на юг с Дайверами.

В шесть часов Дик позвонил Николь по телефону.

— У тебя нет никаких планов на вечер? — спросил он. — Предлагаю провести его тихо и мирно: пообедать в отеле, а потом отправиться в театр.

— Тебе так хочется? Пожалуйста. Я недавно звонила Розмэри, она решила обедать у себя в номере. Все-таки эта утренняя история подействовала на всех.

— На меня она ничуть не подействовала, — возразил Дик. — Если только ты не слишком утомлена, дорогая, давай правда придумаем что-нибудь. А то, вернувшись на Ривьеру, целую неделю будем рассуждать, как это вышло, что мы ни разу не посмотрели Буше[25]. И потом — все же лучше, чем сидеть и сокрушаться…

Это была оплошность, и Николь не пропустила ее.

— Сокрушаться — о чем?

— О Марии Уоллис.

Она согласилась пойти в театр. Таков был

---

[25] Notes: 25
Виктор *Буше* (1877–1942) — французский актер.

неписаный уговор между ними — быть неутомимыми всегда и во всем; они находили, что это очень упорядочивает их дни и особенно вечера. А если иной раз, что было неизбежно, усталость все же давала о себе знать, можно было отменить очередную эскападу, сославшись на то, что кто-то другой из их компании уходился и нуждается в передышке. Уже одетые и готовые к выходу — красивее пары не нашлось бы во всем Париже, — они постучались к Розмэри, но ответа не получили. Решив, что она заснула, они сошли вниз и, выпив вермуту с горьким пивом у стойки бара Фуке, окунулись в теплый и пряный парижский вечер.

XXII

Николь проснулась поздно и что-то еще пробормотала вдогонку своему сну, прежде чем разлепить длинные ресницы. Постель Дика была пуста, а в гостиной кто-то стучался в дверь — минутой позже она поняла, что этот стук и разбудил ее.

— Entrez! — крикнула она, но в ответ ничего не услышала; тогда она накинула халат и пошла отворить. За дверью стоял полицейский; учтиво поклонясь, он шагнул в комнату.

— Monsieur Афган Норт — он здесь?

— Кто? А-а, — нет, он уехал в Америку.

— Когда именно он уехал, madame?

— Вчера утром.

Полицейский покачал головой, потом в более быстром ритме потряс указательным пальцем.

— Вчера вечером он был в Париже. За ним записан номер в этом отеле, но там никого нет. Мне посоветовали спросить у вас.

— Ничего не понимаю — вчера утром мы проводили его на гаврский поезд.

— И тем не менее его сегодня видели здесь. Даже документы его проверяли. Так что можете не сомневаться.

— Чудеса какие-то! — воскликнула она в недоумении.

Полицейский что-то соображал. Он был недурен собой, но от него плохо пахло.

— Вчера вечером он не был вместе с вами?

— Да нет же!

— Мы арестовали негра. На этот раз наверняка того, которого нужно.

— Послушайте, я совершенно не понимаю, о чем вы говорите. Если вас интересует мистер Эбрэхэм Норт, наш знакомый, так если он и был вчера в Париже, мы об этом понятия не имеем.

Полицейский закивал головой, втянув верхнюю губу, убежденный, но не удовлетворенный ответом Николь.

— А что случилось? — спросила она, в свою очередь.

Он развел руками, распустил поджатые губы. Понемногу он оценил красоту Николь, и в его глазах появился масленый блеск.

— Обычная история, madame. Лето, много приезжих. Мистера Афгана Норта обворовали, и он заявил в полицию. Мы арестовали преступника. Теперь нужно, чтобы мистер Афган Норт опознал его и можно было оформить обвинение.

Николь плотней запахнула халат и отправила полицейского, повторив, что ничего больше не знает. После его ухода она приняла душ и оделась, так и не разгадав загадку. Потом позвонила Розмэри — был уже одиннадцатый час, — но телефон не ответил; тогда она попросила соединить ее с портье и выяснила, что Эйб действительно утром в половине седьмого появился в «Короле Георге» и взял номер, но фактически его не занял. Она села в гостиной и стала ждать Дика; однако Дик не шел и не звонил, и в конце концов она решила уйти, но тут ей позвонили снизу.

— Вас спрашивает мистер Кроушоу, un negre.

— По какому делу?

— Он говорит, что знает вас и доктора. Он говорит, что его друг мистер Фримен, которого знают все, он в тюрьме. Он говорит, что это ошибка и что ему нужно повидать мистера Норта, а то и его тоже могут арестовать.

— Ничего мы не знаем. — Николь сердито брякнула трубкой о рычаг, как бы ставя точку на всей этой истории.

Фантасмагорическое возникновение уехавшего Эйба в Париже открыло ей, насколько она устала от его беспутства. Решив больше о нем не думать, она поехала к портнихе, застала там Розмэри и вместе с нею отправилась на Rue de Rivoli в магазины, где продавались искусственные цветы и ожерелья из разноцветного бисера. С ее помощью Розмэри также выбрала в подарок матери бриллиантовую брошку и накупила косынок и модных портсигаров для голливудских коллег. Сама Николь купила только игрушечных солдатиков сыну — целую армию римских и греческих воинов, стоившую больше тысячи франков. Опять они по-разному тратили деньги, и опять Розмэри восхищалась тем, как это получается у Николь. Николь твердо знала, что тратит свои деньги, а у Розмэри все еще было такое

чувство, будто она каким-то чудом получила эти деньги взаймы и потому должна расходовать их с величайшей осторожностью.

Приятно было тратить деньги солнечным днем в большом чужом городе, чувствовать свое здоровое тело и здоровый румянец на лице, ходить, наклоняться, протягивать за чем-нибудь руки уверенными движениями женщин, сознающих свою женскую привлекательность.

В отеле их уже дожидался Дик, по-утреннему веселый и свежий; и Николь и Розмэри при виде его на мгновенье по-детски, от всего сердца обрадовались.

Оказалось, только что звонил Эйб; он действительно в Париже и с утра где-то прячется.

— В жизни не припомню более странного телефонного разговора.

Разговаривал не только Эйб, но еще человек десять. Каждый из этих непредусмотренных собеседников начинал с одного и того же:

— …тут один хочет поговорить с вами насчет этого дела — а он говорит, он тут вовсе ни при чем — что, что?

— Эй, вы там, потише, ничего не слышно — в общем, он впутался в историю, и ему теперь нельзя показываться домой. А я, например, считаю — я,

например, считаю… — Тут в трубке забулькало, и, что именно считал говоривший, осталось покрытым тайной.

Потом сквозь общий шум прорвалось нечто новое:

— Я хочу обратиться к вам, как к психологу… — Но личность, вдохновленную этим соображением, как видно, оттерли от телефона и ей так и не удалось обратиться к Дику ни как к психологу, ни вообще. Дальше разговор протекал примерно так:

— Алло!

— Ну?

— Что ну?

— Это кто говорит?

— Я. — Следовали сдавленные смешки. — Сейчас передаю трубку.

Время от времени слышался голос Эйба вперемежку с какой-то возней, падениями трубки, отрывочными фразами вроде «Мистер Норт, так нельзя…». Потом чей-то резкий, решительный голос сказал Дику в ухо:

— Если вы действительно друг мистера Норта, приезжайте и заберите его отсюда.

Но тут, перекрывая шум, вмешался сам Эйб, авторитетно и важно, с оттенком деловитой

решимости:

— Дик, из-за меня тут на Монмартре произошли расовые беспорядки. Я сейчас иду выручать Фримена из тюрьмы. Если там придет один негр, у него фабрика вакцины в Копенгагене, — алло, вы меня слышите? — если там кто-нибудь… — Снова в трубке начался разноголосый шабаш.

— Да как вы опять попали в Париж? — спросил Дик.

— Я доехал до Эвре, а потом решил самолетом вернуться, чтоб сравнить Эвре и Сен-Сюльпис. То есть не в смысле барокко. Скорей даже не Сен-Сюльпис, а Сен-Жермен! Ох, погодите минутку, я вас соединю с chasseur[26].

— Нет, пожалуйста, не надо.

— Слушайте — как Мэри, уехала?

— Да.

— Дик, я хочу, чтобы вы поговорили с одним человеком, я с ним тут сегодня познакомился. У него отец морской офицер, и каким только врачам его ни показывали… Сейчас я вам все расскажу…

Тогда-то Дик и повесил трубку, проявив, пожалуй, неблагодарность, — ведь чтоб жернов

---

[26] Notes: 26
Слугой в гостинице *(фр.)*.

его мысли заработал, ему требовалось зерно для помола.

— Эйб такой был приятный человек, — рассказывала Николь Розмэри. — Удивительно приятный. Давно, когда мы с Диком только что поженились. Жаль, вы его не знали тогда. Он гостил у нас по целым неделям, и мы почти не замечали его присутствия. Иногда он играл, иногда часами просиживал в кабинете наедине со своей возлюбленной — немой клавиатурой. У нас была одна горничная, — помнишь, Дик? — она всерьез считала его чем-то вроде домового, тем более что он очень любил ее пугать — она идет по коридору, а он из-за угла: «Бу-у!» Одно его «бу-у» стоило нам целого чайного сервиза, но мы не рассердились.

Как весело им жилось уже тогда, давным-давно! Розмэри не без зависти представляла себе эту жизнь, легкую, полную досуга, не то что у нее. Розмэри почти не знала досуга, но высоко его ценила, как все, у кого он редко бывает. Для нее досуг значил отдых, и она не догадывалась, что Дайверам спокойствие отдыха также мало знакомо, как ей самой.

— Что же с ним случилось? — спросила Розмэри. — Отчего он стал пить?

Николь покачала головой в знак того, что она

тут ни при чем.

— Так много незаурядных людей в наше время теряют себя.

— Почему только в наше время? — вмешался Дик. — Человеку незаурядному всегда приходится балансировать на грани — и далеко не все способны выдержать напряжение.

— А по-моему, причины тут глубже. — Николь стояла на своем, слегка раздраженная тем, что Дик вздумал противоречить ей в присутствии Розмэри. — Есть большие художники — возьмем хоть Фернана Леже, — которым вовсе не обязательно превращать себя в спиртную бочку. Почему это спиваются главным образом американцы?

Столько можно было ответить на этот вопрос, что Дик предпочел оставить его вовсе без ответа: пусть повиснет в воздухе, пусть победно бьется в уши Николь. За последнее время Дик все чаще мысленно придирался к ней. Он по-прежнему считал ее красивее всех, кого знал, по-прежнему находил в ней все, в чем нуждался, но в то же время он чуял, что назревает война, и где-то в подсознании закалял себя и точил оружие, готовясь к бою. Он не привык потворствовать себе, и сейчас его мучило, что он допустил такое потвор-

ство, тешась надеждой, будто Николь не видит в его отношении к Розмэри ничего, кроме самого невинного любования ее прелестью. А между тем вчера в театре, когда разговор коснулся Розмэри, Николь довольно резко старалась подчеркнуть, что она, в сущности, еще ребенок, — и это настораживало.

Втроем они позавтракали внизу, в зале, где все звуки были приглушены коврами, и неслышно ступавшие официанты ничуть не походили на тех, что вчера чечеточниками носились вокруг стола, за которым они так вкусно обедали. Кругом сидели американские семейства, с интересом разглядывали другие американские семейства и пытались завязать разговор.

Непонятной казалась компания за соседним столом. Там сидел молодой человек секретарского типа, с приятной улыбкой и написанной на лице готовностью слушать и выполнять, а с ним десятка два дам. Дамы были неопределенного возраста и еще более неопределенной социальной принадлежности, но в них чувствовалась какая-то общность, сплоченность, более тесная, чем, например, в кружке жен, коротающих время, пока мужья заняты на деловом заседании. И уж конечно — чем в любой туристской группе.

Дик инстинктивно прикусил язык, с которого едва не сорвалось насмешливое замечание; дождавшись официанта, он попросил узнать, что это за общество за соседним столом.

— А это Матери Героев, — объяснил официант.

Все трое вполголоса охнули; у Розмэри выступили на глазах слезы.

— Те, что помоложе, должно быть, вдовы, — сказала Николь.

Из-за бокала с вином Дик снова глянул на тех, о ком шла речь; в их ясных лицах, величавом спокойствии и в них самих и вокруг них проступало зрелое достоинство старшего поколения Америки. Присутствие этих женщин, приехавших издалека оплакивать своих павших, скорбеть о том, чего они уже не могли изменить, облагородило ресторанный зал. На мгновение Дик возвратился в детство: вот он скачет верхом на отцовском колене, а вокруг кипят страсти и стремления старого мира. Он почти заставил себя повернуться к двум своим спутницам и заглянуть в лицо тому новому миру, в котором он жил и в который верил.

«…Не возражаете, если я опущу штору?..»

XXIII

Эйб Норт все еще был в баре отеля «Риц», где засел с девяти часов утра. Когда он явился туда искать убежища, все окна были раскрыты настежь и широкие лучи солнца исторгали пыль из продымленных ковров и сидений. Chasseurs вольно носились по коридорам, точно тела в эфире, освобожденные от земной оболочки. Дамский бар, расположенный напротив основного, казался совсем крошечным — даже вообразить трудно было, какие толпы он способен вместить после полудня.

Сам знаменитый Поль еще не прибыл, но Клод, подсчитывавший за стойкой наличные запасы, с простительным удивлением оторвался от своего дела, чтобы приготовить Эйбу аперитив. Эйб сел на скамейку у стены. После двух порций выпивки он почувствовал себя лучше — настолько, что даже сходил наверх в парикмахерскую и побрился. Когда он вернулся в бар, Поль уже был там — свой автомобиль, заказную модель, он тактично оставил на бульваре Капуцинов. Поль симпатизировал Эйбу и подсел к нему поболтать.

— Я сегодня должен был отплыть в Штаты, — сказал Эйб. — Или нет, не сегодня — вчера,

что ли.

— Отчего же перерешили? — спросил Поль.

Эйб задумался, но наконец подыскал причину:

— Я читал роман, который печатается в «Либерти» и очередной выпуск должен вот-вот выйти, — если б я уехал, я бы его пропустил и так бы уже и не прочел никогда.

— Интересный роман, наверно.

— Н-ну, такой роман!

Поль встал, усмехаясь, но не ушел, а облокотился на спинку стула.

— Если вы в самом деле хотите уехать, мистер Норт, то завтра на «Франции» отплывают двое ваших знакомых. Слим Пирсон и мистер — как же его фамилия? Мистер — мистер — сейчас припомню — высокий такой, недавно отпустил бороду.

— Ярдли, — подсказал Эйб.

— Мистер Ярдли. Они оба едут на «Франции».

Он уже собрался вернуться к своим обязанностям, но Эйб сделал попытку задержать его.

— Да мне надо ехать через Шербур. Мой багаж ушел этим путем.

— Багаж в Нью-Йорке получите, — уже на пути к стойке сказал Поль.

Логичность этого замечания дошла до Эйба

не сразу, но он обрадовался тому, что кто-то о нем думает, верней, тому, что можно и дальше пребывать в состоянии безответственности.

Между тем посетителей в баре все прибавлялось. Первым появился высокий датчанин, знакомый Эйбу по встречам в других местах. Он выбрал столик у противоположной стены, и Эйб сразу понял, что там он и проведет весь день — будет пить, есть, читать газеты, вести разговоры со случайными соседями. Эйбу вдруг захотелось пересидеть его. С одиннадцати часов в бар стали забегать студенты. Примерно в это время Эйб и попросил служителя соединить его по телефону с Дайверами; но пока тот дозванивался, у Эйба появились еще собеседники, которых он решил тоже подключить к разговору, и это создало невообразимую путаницу. Время от времени в сознании Эйба всплывал тот факт, что надо бы пойти вызволить из тюрьмы Фримена, но от всяких фактов он упорно отмахивался, как от видений ночного кошмара.

К часу дня бар уже был переполнен; среди шумной разноголосицы официанты делали свое дело, считали выпитое, переводили его количество на понятный клиентам язык цифр.

— Так, значит, два виски с содовой… и еще

одно… два мартини и потом третье… для себя вы ничего не брали, мистер Куотерли… значит, два раза по три. Всего с вас семьдесят пять франков, мистер Куотерли. Мистер Шеффер говорит, он больше ничего не заказывал, — последний раз было только виски для вас… Мое дело исполнять… покорно благодарю.

В суматохе Эйб остался без места и теперь стоял, слегка пошатываясь, среди своей вновь приобретенной компании. Чей-то песик, топтавшийся у него под ногами, запутался в них своим поводком, но Эйб ухитрился высвободиться, ничего не опрокинув, и должен был выслушать множество извинений. Потом его пригласили позавтракать, но он отказался. Скоро Тринбраса, объяснил он, в Тринбраса у него назначено деловое свидание. Немного спустя он откланялся с безупречной галантностью алкоголика, вышколенного временем, подобно арестанту или старому слуге, и, повернувшись, обнаружил, что горячка в баре схлынула так же стремительно, как и началась.

Датчанин напротив завтракал с собутыльниками. Эйб тоже заказал себе завтрак, но почти не притронулся к нему. Он просто сидел и с удовольствием вновь переживал прошлое. От винных паров самое приятное из прошлого пе-

ремешивалось с настоящим, словно оно все еще происходит — и даже с будущим, словно будет происходить всегда.

В четыре часа к Эйбу подошел служитель.

— Там вас спрашивает цветной, по фамилии Петерсон, Жюль Петерсон.

— Господи! Как он меня нашел?

— Я ему не говорил, что вы здесь.

— Откуда же он узнал? — Эйб чуть было не повалился на стол, заставленный посудой, но сумел овладеть собой.

— Говорит, что обошел подряд все американские бары и отели.

— Скажите ему, что меня здесь нет... — Служитель уже приготовился идти, когда Эйб, передумав, спросил: — А его сюда пустят?

— Сейчас узнаю.

Поль, к которому адресовался служитель, оглянулся и покачал головой, но, увидев Эйба, подошел сам.

— Простите, мистер Норт, но я не могу разрешить.

Эйб с трудом заставил себя встать и вышел на Rue Cambon.

XXIV

Со своим кожаным портфельчиком в руках Ричард Дайвер вышел из комиссариата Седьмого округа (оставив Марии Уоллис записку, подписанную «Диколь», как они подписывали письма знакомым в начале своей любви) и отправился в мастерскую, где заказывал сорочки. Там вокруг него всякий раз поднималась суета, непропорциональная стоимости его заказа, и ему было стыдно. Стыдно вводить в заблуждение этих бедных англичан своими изящными манерами, своим видом человека, владеющего ключом к благоденствию, стыдно просить закройщика переколоть складочку на шелку рукава. Прямо оттуда он зашел в бар отеля «Кринон», выпил кофе и проглотил рюмку джина.

Войдя в отель, он удивился неестественной яркости освещения; выйдя оттуда, понял: так было оттого, что на улице уже почти стемнело. От ветра, нагнавшего тучи, в четыре часа настудил вечер, и на Елисейских Полях кружились и беспорядочно падали на землю редкие листья. Дик прошел два квартала по Rue de Rivoli, чтобы получить почту в банке. Потом взял такси и дал адрес своего отеля. По крыше машины бараба-

нили капли дождя, а он сидел в темноте, один со своей любовью.

Два часа назад в коридоре отеля «Король Георг» красота Розмэри померкла перед красотою Николь, как красота девушки с книжной иллюстрации перед красотой женщины Леонардо. Дик ехал под дождем вдоль Елисейских Полей, мрачный и растревоженный; в нем словно боролись страсти нескольких разных людей, и не видно было простого выхода.

Розмэри отворила дверь своего номера, полная волнений, не ведомых никому, кроме нее самой. У нее сейчас была, что называется, «растрепана душа»; за целые сутки ей не удалось себя собрать, все спуталось в ее судьбе, и напрасно она пыталась что-то привести в ясность, как складывают картинку из разрозненных, разбросанных частей, — подсчитывала успехи и надежды, нанизывала на одну нить Дика, Николь, свою мать, вчерашнего режиссера из Films Par Excellence и перебирала, как четки.

Когда в дверь постучал Дик, она только что переоделась и смотрела в окно на дождь, вспоминая строчки каких-то стихов, представляя себе, как бегут ручьи по водостокам Беверли-Хиллз. Она открыла дверь и увидела Дика — увидела его

раз навсегда отлитым в божественную форму, вечным и неменяющимся, как старшие всегда кажутся младшим. А Дик при первом взгляде на нее испытал невольное легкое разочарование. Лишь в следующую минуту в нем нашла отклик беззащитная прелесть ее улыбки, ее тела, созданного с точнейшим расчетом, так, чтобы напоминать бутон, но обещать цветок. В открытую дверь ванной виднелся коврик с мокрыми отпечатками ее ступней.

— Мисс Телевидение, — сказал он шутливым тоном, не соответствовавшим его настроению.

Он положил на туалетный столик портфель, перчатки, прислонил к стене трость. Его упрямый подбородок не давал скорбным складкам лечь вокруг рта, гнал их вверх, ко лбу, к вискам, точно страх, которого не должны видеть люди.

— Идите сюда, сядьте ко мне на колени, — ласково позвал он. — Пусть ваши славные губки будут поближе.

Она повиновалась и под стихающий шум дождя за окном — кап-ка-ап — приложила губы к холодному и прекрасному образу, созданному ее воображением.

Потом она стала сама целовать его короткими, быстрыми поцелуями, и всякий раз ее лицо, при-

ближаясь, разрасталось перед его глазами, и он снова дивился необыкновенной шелковистости ее кожи; но одно из свойств красоты — отражать лучшее, что есть в человеке, этой красотой любующемся; быть может, потому он все упорнее думал о Николь, которая была в двух шагах по коридору, и о своей ответственности перед нею.

— Дождь кончился, — сказал он. — Смотрите, крыши уже освещены солнцем.

Розмэри встала и, наклоняясь к нему, сказала:

— Какие же мы с вами актеры!

И это были самые ее правдивые слова по отношению к нему.

Она отошла к туалетному столику поправить прическу, но только что взялась за гребень, как в дверь постучали — негромко, но настойчиво.

Оба застыли на месте; стук повторился, чуть погромче — тогда Розмэри, вдруг вспомнив, что дверь не заперта, провела торопливо гребнем по волосам, кивнула Дику, успевшему уже оправить измятое покрывало на кровати, где они сидели, и пошла отворять. Дик в это время заговорил ровным, естественным голосом:

— …ну, если у вас нет настроения куда-нибудь идти, я так и скажу Николь, и мы проведем наш прощальный вечер тихо, по-семейному.

Напрасная предосторожность, — те, кто стоял за дверью, были настолько поглощены собственными заботами, что попросту не заметили бы ничего, что не имело к ним непосредственного касательства. То были Эйб, постаревший за сутки на несколько месяцев, и невысокий темнокожий человек с испуганным лицом, которого Эйб представил как мистера Петерсона из Стокгольма.

— Он попал в ужасное положение, а виноват я, — сказал Эйб. — Мы пришли посоветоваться, что делать.

— Пойдемте к нам, — предложил Дик.

Эйб настоял, чтобы Розмэри пошла тоже, и они все направились к номеру Дайверов; Жюль Петерсон, корректный и чинный — негр-знающий-свое-место, идеал республиканцев из пограничных штатов, — шел последним.

Как выяснилось, Петерсон был случайным свидетелем происшествия, разыгравшегося рано утром в одном из монпарнасских бистро; он согласился пойти с Эйбом в полицию и дал официальные показания, что видел, как какой-то негр выхватил из рук Эйба тысячефранковую бумажку. Требовалось установить личность негра. Эйб и Жюль в сопровождении полицейского возвратились в бистро и там с ходу якобы

опознали преступника; оказалось, однако, что тот, на кого они указали, пришел в бистро уже после ухода Эйба. Полиция еще больше запутала дело, арестовав негра Фримена, содержателя известного ресторана, который заходил в бистро лишь ненадолго и то совсем рано, когда там еще не сгустился алкогольный туман. Настоящий же виновник — чьи приятели, впрочем, утверждали, что он взял у Эйба только пятьдесят франков, чтобы уплатить за выпивку, заказанную им, Эйбом, для всей компании, — выплыл вновь лишь недавно и в довольно зловещей роли.

Короче говоря, за какой-нибудь час Эйб сумел впутаться в сложное переплетение жизней, совести и страстей одного афроевропейского и трех афроамериканских обитателей Латинского квартала. Как ему выпутаться, оставалось совершенно неясным, а пока что весь день прошел в каком-то негритянском наваждении; незнакомые негритянские лица возникали перед ним в самых неожиданных местах, настойчивые негритянские голоса донимали его по телефону.

Однако Эйбу удалось ускользнуть от всех, исключая Жюля Петерсона. Петерсон оказался в положении того дружественного индейца, который пришел на выручку белому человеку. Сейчас

негры, пострадавшие в этой истории, гонялись не столько за Эйбом, сколько за Петерсоном, которого считали предателем, а Петерсон не отставал от Эйба, уповая на его покровительство.

Петерсон имел в Стокгольме маленькую фабрику ваксы, но прогорел, и теперь все его достояние составляли рецепты ваксы и оборудование, умещавшееся в деревянном ящичке; но его новоявленный покровитель сегодня утром пообещал пристроить его к делу в Версале — там жил бывший шофер Эйба, ныне сапожник. Эйб даже успел дать Петерсону двести франков в счет будущих доходов.

Розмэри злилась, слушая всю эту несусветицу; чтобы оценить тут смешную сторону, требовался особый, грубоватый юмор, которым она не обладала. Темнокожий человек с его карманной фабричкой, с бегающими глазками, время от времени закатывавшимися от страха так, что видны были только полушария белков; фигура Эйба, его одутловатое, несмотря на природную тонкость черт, лицо — все это было для нее чем-то далеким, как болезнь.

— Дайте мне шанс в жизни, я больше ничего не прошу, — говорил Петерсон с тем тщательным и в то же время неестественным выговором, с

которым говорят в колониях. — Мой метод прост, мой рецепт настолько хорош, что меня разорили, выжили из Стокгольма, потому что я не соглашался его раскрыть.

Дик вежливо смотрел ему в лицо — затем возникший было интерес иссяк, и он повернулся к Эйбу.

— Поезжайте в другой отель и ложитесь спать. Когда проспитесь, мистер Петерсон придет к вам и вы сможете продолжить свой разговор.

— Да вы поймите, в какую он попал заваруху, — настаивал Эйб.

— Я лучше подожду внизу, — деликатно предложил Петерсон. — Может быть, не так удобно обсуждать мои дела в моем присутствии.

Он исполнил короткую пародию на французский поклон и удалился. Эйб встал с тяжеловесной медлительностью трогающегося паровоза.

— Я сегодня, как видно, не вызываю сочувствия.

— Сочувствие — да, одобрение — нет, — поправил его Дик. — Мой вам совет: уходите из этого отеля — хотя бы через бар. Отправляйтесь в «Шамбор» или в «Мажестик», если вам не нравится, как обслуживают в «Шамборе».

— У вас не найдется чего-нибудь выпить?

— Мы в номере ничего не держим, — солгал Дик.

Смирившись, Эйб стал прощаться с Розмэри; долго жал ей руку и, с трудом подобрав дергающиеся губы, пытался составить фразу, которая никак не получалась.

— Вы самая — одна из самых…

Ей было и жаль его, и противно от прикосновений его липкой руки, но она мило улыбалась, будто всю жизнь только и делала, что беседовала с людьми, у которых заплетался язык. Мы часто относимся к пьяным неожиданно уважительно, вроде того, как непросвещенные народы относятся к сумасшедшим. Не с опаской, а именно уважительно. Есть что-то внушающее благоговейный трепет в человеке, у которого отказали задерживающие центры и который способен на все. Конечно, потом мы его заставляем расплачиваться за этот миг величия, миг превосходства.

Эйб сделал еще одну попытку разжалобить Дика.

— Ну, а если я поеду в отель, отпарюсь, отскребусь, высплюсь и разделаюсь с этими сенегальцами — пустят меня вечером посидеть у камелька?

Дик кивнул — полуутвердительно, полунасмешливо — и сказал:

— Боюсь, что вы переоцениваете свои возможности.

— Вот уж будь здесь Николь, она бы наверняка просто сказала: «Приходите».

— Что ж, приходите. — Дик принес и поставил на стол большую коробку, доверху наполненную картонными фишками, на которых были напечатаны буквы. — Приходите, будем играть в анаграммы.

Эйб заглянул в коробку с видимым отвращением, словно ему предложили съесть ее содержимое вместо овсяной каши.

— Что еще за анаграммы? Хватит с меня сегодня всяких…

— Это игра, тихая, спокойная игра. Составляют из букв слова — любые, кроме слова «спиртное».

— Наверно, и «спиртное» можно составить. — Эйб запустил руку в коробку с фишками. — Ничего, если я приду и составлю слово «спиртное»?

— Хотите играть в анаграммы, приходите.

Эйб печально покачал головой.

— Нет уж, если вы так настроены, лучше мне не приходить — я вам буду не ко двору. — Он укоризненно помахал Дику пальцем. — Только вспомните, что сказал Георг Третий: «Если Грант напьется, я хотел бы, чтоб он перекусал всех дру-

гих генералов».

Он еще раз глянул на Розмэри уголком золотистого глаза и вышел. К его облегчению, Петерсона нигде не было видно. Чувствуя себя одиноким и бездомным, он поехал обратно в «Риц», переспросить у Поля, как называется тот пароход.

XXV

Как только в коридоре утихли его запинающиеся шаги, Дик и Розмэри сомкнулись в торопливом объятии. Пыль Парижа лежала на них обоих, но сквозь эту пыль они обоняли друг друга — резиновый дух колпачка авторучки Дика, легчайший аромат тепла от шеи и плеч Розмэри. Дик ни о чем не думал лишние полминуты; Розмэри первая вернулась в реальный мир.

— Пора мне, юноша, — сказал она.

Не отрывая от него растерянного взгляда, она отступала все дальше и наконец исчезла за дверью — так уходить она выучилась еще в начале своей карьеры, и ни один режиссер не пытался тут что-то навязывать ей.

Отворив дверь своего номера, она сразу пошла к письменному столу — ей помнилось, что она забыла там свои часики. Там они и лежали; застегивая браслет, она скользила глазами по

недописанному письму к матери, которой писала каждый день, и мысленно сочиняла для него заключительную фразу. И тут у нее постепенно возникло ощущение, что в комнате еще кто-то есть.

В человеческом жилье всегда найдутся предметы, почти незаметно преломляющие свет: полированное дерево, лучше или хуже начищенная бронза, серебро, слоновая кость и еще сотни источников светотени, которых мы и вовсе не принимаем в расчет, — ребро картинной рамы, кончик карандаша, край пепельницы, хрустальной или фарфоровой безделушки; все это воздействует на особо чувствительные участки сетчатки и на те ассоциативные центры подсознания, которые что-то регулируют в нашем восприятии, подобно тому как повороты винта бинокля помогают четко увидеть предмет, только что казавшийся бесформенным пятном. Вероятно, именно этим можно объяснить возникшее у Розмэри таинственное «ощущение» чьего-то присутствия в комнате, прежде чем это ощущение оформилось в мысль. Еще не дав ему оформиться, она почти по-балетному круто повернулась на носках и увидела, что на ее постели лежит мертвый негр.

На мгновение — что уж было вовсе нелепо — ей показалось, что это Эйб Норт. Она отчаянно закричала, уронила на стол так и не застегнувшийся браслет с часами и опрометью бросилась вон.

Дик приводил в порядок свои вещи; внимательно осмотрел перчатки, которые надевал сегодня, и бросил их к другим, лежавшим кучей в углу чемодана. Пиджак и жилет уже висели в шкафу на плечиках, а на другие плечики он повесил сорочку — метод, изобретенный им самим. «Можно надеть не совсем свежую сорочку, но мятую сорочку надевать нельзя». Николь уже была дома и вытряхивала в корзину для мусора что-то, использованное Эйбом в качестве пепельницы, когда в комнату ворвалась Розмэри.

— Дик! Дик! Скорее сюда!

Дик бросился через коридор в ее комнату. Став на колени, он приложил ухо к сердцу Петерсона, потом пощупал пульс — труп еще не остыл, лицо, при жизни смиренное и испуганное, в смерти стало грубым и злым; под мышкой торчал ящичек с оборудованием, но ботинок на свешивающейся ноге был нечищен, и подметка прохудилась. По французским законам к обнаруженному мертвому телу запрещается прикасаться, однако Дик все же чуть сдвинул руку Петерсона, чтобы раз-

глядеть нечто, привлекшее его внимание — на зеленом покрывале темнело пятно, кровь могла пройти насквозь, на одеяло.

Дик закрыл дверь и постоял, соображая. В коридоре послышались легкие шаги, потом голос Николь окликнул его по имени. Он приоткрыл дверь и сказал шепотом:

— Принеси покрывало и одно из одеял с моей кровати — только осторожно, чтобы никто тебя не видел. — И, заметив напряженное выражение ее лица, поспешил добавить: — Ты только не волнуйся, ничего особенного, просто тут черномазые передрались.

— Только поскорей кончай с этим.

Дик поднял тело с кровати — легкое, истощенное недоеданием тело. Он держал его так, чтобы кровь из раны стекала в одежду убитого. Положив его на пол, он сдернул с кровати покрывало и верхнее одеяло, подошел к двери и, чуть-чуть приоткрыв ее, прислушался — где-то за поворотом зазвенела посуда и громкий голос сказал покровительственно: «Merci, madame», но официант ушел в другую сторону, к служебной лестнице. Дик и Николь проворно обменялись из двери в дверь свертками; застлав кровать Розмэри чистым покрывалом, Дик, взмокший от пота,

еще постоял среди комнаты, раздумывая. Две вещи он уяснил себе сразу же после беглого осмотра трупа. Во-первых: очевидно, враждебный индеец Эйба выследил дружественного индейца и настиг его в коридоре, а когда тот попытался спастись в номере Розмэри, последовал за ним и убил его. Во-вторых: если дать событиям развиваться естественным путем, никакие силы на свете не уберегут имя Розмэри от скандала. А ее контракт подразумевал, что она обязана оставаться все тою же «папиной дочкой», наивной и невинной.

Дик машинально сделал жест, словно засучил рукава, хотя был в нижней рубашке-безрукавке, и нагнулся над трупом. Упершись ему в плечи, он пинком распахнул дверь и вытащил его в коридор, где и оставил лежать в подходящем к случаю положении. Потом снова вошел в комнату Розмэри и тщательно пригладил в одну сторону ворс на ковре. Только после этого он вернулся к себе и, взяв телефонную трубку, попросил соединить его с управляющим.

— Это вы, Макбет? Говорит доктор Дайвер — очень серьезное дело. Нас никто не может подслушать?

Хорошо, что он не поленился установить с мистером Макбетом тесные дружеские отношения.

Хоть одна выгода от той щедрости, с которой Дик расточал свое природное обаяние направо и налево…

— Мы сейчас вышли из своего номера и наткнулись на убитого негра… в коридоре… нет, нет, штатский… Погодите минутку — я решил позвонить вам, понимая, что вы вряд ли обрадуетесь, если все жильцы этого этажа станут натыкаться на труп. Но убедительно прошу, чтобы мое имя нигде не фигурировало. Не хочу стать жертвой французской судебной волокиты только потому, что мне посчастливилось обнаружить труп.

Какая забота о репутации отеля! Два дня назад мистер Макбет мог самолично убедиться в этой особенности доктора Дайвера, оттого он и принял предложенную ему версию безоговорочно.

Через минуту мистер Макбет был уже наверху, а еще через минуту там появился жандарм. Но за это время Макбет успел шепнуть Дику: «Будьте спокойны, никому из наших гостей не нужно опасаться излишних упоминаний его имени. Не могу выразить, как я вам благодарен за вашу предусмотрительность».

Мистер Макбет тут же принял некие меры, о существе которых можно было только догадываться, но которые произвели на жандарма такое

впечатление, что он, то ли от беспокойства, то ли от жадности, свирепо затеребил свои длинные усы. Меж тем с расторопностью, которую сам Петерсон, как бизнесмен, сумел бы оценить, останки были перенесены в пустующий номер люкс одного из самых фешенебельных отелей мира.

Дик вернулся к себе.

— Что все это значит? — воскликнула Розмэри. — Это так принято у американцев в Париже — стрелять друг в друга?

— Должно быть, сейчас сезон охоты, — ответил Дик. — А где Николь?

— Кажется, в ванной.

Розмэри смотрела на него с обожанием, ведь он ее спас — пророческие видения бедствий, которые могло навлечь на нее случившееся, уже проносились в ее голове, пока она, мысленно преклоняясь, слушала негромкий, твердый, уверенный голос, улаживавший все. Послушная душевному и физическому влечению, она готова была броситься к нему, но в эту минуту что-то отвлекло его внимание: он толкнул дверь спальни и, не останавливаясь, пошел к ванной. И тогда Розмэри услышала тоже: бессвязный, нечеловеческий крик несся сквозь щели и замочные

скважины и, нарастая, обретал устрашающую реальность на комнатном просторе.

Первой мыслью Розмэри было, что Николь упала в ванной и расшиблась; с этим она и побежала вслед за Диком. Но прежде чем он оттолкнул ее и загородил собой дверь, она успела увидеть нечто совсем другое.

На коленях, схватившись за борт ванны, Николь раскачивалась из стороны в сторону.

— Ты, все ты! — выкрикивала она. — Зачем ты пришел сюда — это единственное место на свете, где я могу побыть одна, — а ты пришел и еще принес мне окровавленное одеяло. Давай я в него завернусь и покрасуюсь перед тобой — мне не стыдно, мне только жалко. У нас на Цюрихском озере был маскарад первого апреля, в День дураков, и все дураки там были, а я хотела пойти завернувшись в одеяло, только мне не позволили…

— Успокойся!

— …я тогда спряталась в ванной, а меня нашли и сказали: «Вот вам домино, надевайте его». Я и надела. А что мне было делать?

— Успокойся, Николь!

— Я не ждала, что ты будешь любить меня, — я знала, что уже поздно, — только не приходи в

ванную, единственное место, где я могу побыть одна, и не носи мне окровавленные одеяла, чтобы я стирала их.

— Успокойся, Николь. Встань с полу…

Розмэри из гостиной услышала, как захлопнулась дверь ванной. Ее била дрожь: теперь она знала, что увидела Вайолет Маккиско в уборной на вилле «Диана». Зазвонил телефон, она сняла трубку и едва не закричала от радости, услышав голос Коллиса Клэя; он звонил к ней и, не получив ответа, догадался позвонить к Дайверам. Она попросила его подняться и подождать, пока она наденет шляпу, — ей страшно было одной войти в свою комнату.

Книга вторая



I

Весной 1917 года, когда доктор Ричард Дайвер впервые приехал в Цюрих, ему было двадцать шесть лет — прекрасный возраст для мужчины, самый расцвет холостяцкой вольности. Для Дика он не был омрачен даже тем, что пришелся на годы войны, потому что Дик уже тогда представлял собой слишком большую ценность, слишком солидное капиталовложение, чтобы пускать его на пушечное мясо. Много лет спустя ему начало казаться, что, пожалуй, стены его швейцарской обители не столь уж надежно ограждали его от внешнего мира; впрочем, он так и не утвердился в этой мысли, а тогда, в 1917-м, только виновато отшучивался, говоря, что война прошла мимо него. В Цюрих он отправился по предписанию начальства, чтобы там завершить свое образование

и получить ученую степень.

Швейцария была островом, который с одной стороны омывали грозные волны, докатывавшиеся от Горициии; с другой — водовороты, бурлившие на Сомме и Энне. В ту пору казалось, что среди иностранцев, которыми кишели кантоны, больше подозрительных личностей, чем настоящих больных, но это были только догадки; типы, перешептывавшиеся в маленьких кафе Берна и Женевы, могли быть просто скупщиками бриллиантов или коммивояжерами. Но все хорошо видели, как между синими Невшательским и Баденским озерами тянулись друг другу навстречу длинные поезда, набитые слепыми, безногими, безрукими — какими-то полуживыми обрубками людей. Над стойками пивных и в магазинных витринах красовались цветные плакаты на тему о защите швейцарцами своих границ в 1914 году: юноши и старики свирепо взирали с гор на маячившие внизу бледные тени французов и немцев. Эти плакаты были выпущены с целью вселить в швейцарцев воодушевляющее сознание, что и их не обошла эпидемия боевой славы тех дней. Бойня продолжалась, но плакаты с годами истрепались и выцвели, и когда в войну вдруг ввязалась Америка, никого это так не уди-

вило, как маленькую республику, европейскую ее сестру.

Доктор Дайвер к этому времени уже успел глянуть на войну издали: 1914 год застал его в Оксфорде, куда он поступил, получив от штата Коннектикут Родсовскую стипендию. Вернувшись на родину, он еще год проучился в университете Джона Гопкинса и закончил курс. В 1916-м страх, что великий Фрейд может погибнуть при воздушном налете, погнал его в Вену. Жизнь уже и тогда едва теплилась в этом дряхлеющем городе, но Дик как-то ухитрился раздобыть достаточно угля и керосину, чтобы можно было сидеть в комнатке на Даменштиффштрассе и писать статьи, которые он потом уничтожил, но которые, будучи восстановлены, составили костяк его книги, вышедшей в Цюрихе в 1920 году.

В жизни каждого из нас бывает пора, когда все удается, когда сам себе кажешься героем; то была именно такая пора для Дика Дайвера. При этом он и не догадывался о присущем ему обаянии и был уверен, что всякий здоровый молодой человек испытывает сам и внушает другим совершенно такие же чувства. Еще в Нью-Хейвене кто-то раз назвал его «Счастливчик Дик» — это прозвище застряло у него в памяти.

— Счастливчик Дик, вот ты кто, — вполголоса твердил он себе, кружа по комнате в свете последних вспышек дотлевающего огня. — Ты попал в точку, приятель. Углядел то, чего до тебя никто не видал.

В начале 1917 года, когда с углем стало очень туго, Дик пустил на топливо все свои учебники — их у него набралось штук сто; но всякий раз, засовывая очередной том в печку, он делал это с веселым остервенением, словно знал про себя, что суть книги вошла в его плоть и кровь, что он и через пять лет сможет пересказать ее содержание — если оно того будет стоить через пять лет. Когда коврик с полу, накинутый на плечи, уже не спасал от холода, он садился перед печкой и жег книги с той прекрасной безмятежностью ученого, которая больше всего на земле приближается к райскому блаженству, но которой, как видно из дальнейшего, скоро должен был наступить конец.

За то, что этот конец пока не наступил, он был благодарен своему телу, закаленному пробежками на стадионе Нью-Хейвена и купаньем в зимнем Дунае. Квартира у него была общая с Элкинсом, вторым секретарем посольства; иногда туда приходили в гости две очень милые молодые

девушки — приходили и уходили, дальше дело не шло, и связи с посольством тоже не шли дальше. Общение с Элкинсом впервые заставило его чуть-чуть усомниться в глубине собственных мыслей; казалось порой, что не так уж они отличаются от мыслей Элкинса, — Элкинса, помнившего наперечет всех нью-хейвенских нападающих за последние тридцать лет.

«А Счастливчику Дику не пристало быть просто толковым молодым человеком, каких много; цельность натуры — недостаток для него, в нем должна быть щербинка. И нужно, чтобы именно жизнь оставила на нем свой след; болезнь, или, там, любовная неудача, или комплекс неполноценности — это все не то, хоть, правда, интересно было бы поработать над собой и заново выстроить разрушенную часть здания, да так, чтобы она была лучше, чем раньше».

Он высмеивал себя за подобные рассуждения, называя их пустозвонством и «американщиной» — так у него обозначалось всякое суесловие, не подкрепленное работой мозга: «американщина». Но он хорошо сознавал, что оборотная сторона его цельности — душевная неполнота.

«Одного могу пожелать тебе, дитя мое, — говорит фея Черная Палочка в „Розе и кольце“

Теккерея, — немного несчастья».

А иногда он ворчливо оправдывался перед собой: «Виноват я разве, что в тот день Пит Ливингстон забился в раздевалку и его, сколько ни искали, так и не могли найти. И стипендию получил я, хоть если бы не это, мне бы ее не видать как ушей своих, — я ведь почти никого не знал из нужных людей. Пит был верный кандидат, и не ему, а мне надо было тогда спрятаться в раздевалке. Может, я бы так и сделал, если б мог подумать, что у меня есть какие-то шансы. А впрочем, с чего бы это Мерсер зачастил ко мне в те последние недели? Да, да, шансы у меня были, и я это знал. И поделом бы мне было, если бы я сам все испортил, сочинив себе какой-то „комплекс“».

После лекций он не раз обсуждал этот вопрос с одним юным мыслителем из Румынии, и тот его успокаивал: «Нет никаких данных предполагать наличие „комплекса“ в современном смысле слова у Гёте, скажем, или у такого человека, как Юнг. Ты не философ-романтик, ты ученый. Тебе требуется память, настойчивость, воля и прежде всего здравый смысл. Неумение верно себя оценивать — вот что может тебе повредить в будущем. Я знал одного человека, который два года потратил на изучение мозга армадилла в

расчете на то, что в конце концов он будет знать о мозге армадилла больше всех. Я с ним спорил, доказывал, что по существу он не раздвигает рамки человеческих знаний, что его выбор безоснователен. И что же? Когда он наконец отправил свой труд в один медицинский журнал, ему вернули рукопись — в редакционном портфеле уже имелась работа другого автора на ту же тему».

Когда Дик приехал в Цюрих, у него было меньше ахиллесовых пят, чем понадобилось бы, чтобы снабдить ими сороконожку, но все же предостаточно: то были иллюзии вечной силы, и вечного здоровья, и преобладания в человеке доброго начала, — иллюзии целого народа, порожденные ложью прабабок, под волчий вой убаюкивавших своих младенцев, напевая им, что волк далеко-далеко.

Защитив диссертацию, Дик получил предписание ехать во Францию, в Бар-сюр-Об, где тогда формировался неврологический госпиталь. Работа во Франции разочаровала его — приходилось быть больше администратором, чем врачом. Но зато у него оставалось достаточно времени, чтобы дописать краткий учебник, начатый еще в Цюрихе, и собрать материал для новой книги. Весной 1919 года он демобилизовался и вернулся

в Цюрих.

Сказанное выше звучит как начало биографии, но без обнадеживающего намека, что героя ждет сложная и увлекательная судьба и что он уже слышит ее зов, как слышал генерал Грант, сидя в мелочной лавочке в Галене. К тому же, когда знаешь человека в солидности его зрелых лет, всегда странно бывает наткнуться на юношескую фотографию, с которой вдруг глянет на тебя пронзительным, жгучим, орлиным взглядом незнакомое лицо. Так что лучше не будем томить читателя: час Дика Дайвера настал.

II

Был сыроватый апрельский день, длинные облака тянулись наискосок над Альбисхорном, и вода, где помельче, казалась совсем неподвижной. Цюрих во многом напоминает американские города. Эти два дня, после приезда из Франции, Дику все время словно недоставало чего-то, и он наконец понял чего — ощущения завершенности, создаваемого французскими улицами, за которыми, кажется, ничего дальше нет. В Цюрихе всегда помнишь о том, что лежит за пределами Цюриха: городские крыши уводят взгляд к горным пастбищам, оглашаемым мелодичным позвякиваньем,

а над ними угадываются причудливые силуэты вершин — вся жизнь предстает как неуклонный подъем ввысь, к открыточному небу. В предгорьях Альп, краю игрушек и фуникулеров, каруселей и негромкого колокольного перезвона, не чувствуешь себя в той мере земным, как во Франции, среди французских виноградников, где лозы растут чуть ли не под ногами.

В Зальцбурге, где Дику однажды пришлось провести несколько дней, он сразу почувствовал себя во власти века музыки, купленной или заимствованной; в Цюрихе, в университетских лабораториях, осторожно исследуя строение мозга, он сам себе казался похожим больше на игрушечного мастера, чем на того неукротимого юнца, что вихрем влетал, бывало, в старый учебный корпус Джона Гопкинса, ничуть не смущенный ироническим взглядом гигантского Христа в вестибюле.

И все же он решил остаться еще на два года в Цюрихе, сумев оценить по достоинству работу игрушечных мастеров, которая, требуя исключительной точности, воспитывает исключительное терпение.

Сейчас он ехал в клинику профессора Домлера на Цюрихском озере, навестить Франца Грего-

ровиуса, занимавшего там штатную должность. Франц, уроженец кантона Во, несколькими годами старше Дика, встретил гостя на трамвайной остановке. У него была эффектная, романтическая внешность — глаза святого на смуглом лице Калиостро. Он представлял третье поколение династии Грегоровиусов; дед его был учителем Крепелина в ту пору, когда психиатрия как наука делала свои первые шаги. Франц был самолюбив, темпераментен, считал себя наделенным незаурядной гипнотической силой. Вероятно, если бы фамильный талант успел несколько притупиться в предыдущем поколении, из него вышел бы первоклассный клиницист.

Уже в машине он начал разговор.

— Ну, рассказывайте, что с вами было на войне. Наверно, как и все, чувствуете себя теперь другим человеком? Лицом вы не изменились — все то же глупое нестареющее американское лицо, хоть я-то знаю, что глупым вас никак не назовешь.

— Я войны не видел, Франц, вам это должно быть известно по моим письмам.

— Не имеет значения — у нас тут лечатся от контузии люди, которые только издали слышали грохот воздушной бомбардировки. И даже такие, которые только читали газеты.

— Что за чепуха!

— Может быть, и чепуха, Дик. Но это клиника для богатых, и мы таких выражений не употребляем. Теперь скажите честно: вы приехали ради меня или ради той американки?

Они искоса глянули друг на друга. Франц загадочно усмехнулся.

— Разумеется, вначале все письма проходили через меня, — сказал он рокочущим докторским баском. — Но после того как наметился поворот, я перестал их вскрывать, считая это неделикатным. В сущности, это уже теперь ваша больная.

— Значит, она поправилась? — спросил Дик.

— Вполне. Я ведь вел ее с тех пор, как она к нам поступила, — я веду почти всех больных из Англии и Америки. Они меня называют доктор Грегори.

— Дайте мне объяснить вам, как все получилось с этой девушкой, — сказал Дик. — Я ее только один раз видел. В день, когда приезжал проститься с вами перед отъездом во Францию. Я тогда впервые надел военную форму и чувствовал себя как на маскараде. Да еще все путался с непривычки — то отдам честь рядовому, то еще что-нибудь.

— А почему вы сегодня не в военном?

— Фью! Я уже три недели как демобилизовался. Так вот: распрощавшись с вами, я пошел к павильону на озере, где оставил свой велосипед…

— К «Кедровой беседке».

— …вечер был чудесный — луна вон над той вершиной…

— Над Кренцэггом.

— …впереди шли двое: сиделка и с ней молодая девушка. Мне сперва и в голову не пришло, что это пациентка клиники. Я нагнал их, чтобы спросить у сиделки, до которого часу ходит трамвай, и дальше мы пошли вместе. Девушка показалась мне красоты необыкновенной.

— Она и сейчас такая же.

— Ее заинтересовал мой мундир — она никогда не видела американской военной формы, — и мы разговорились самым естественным образом, только… — Он умолк, вглядываясь в открывшийся вдруг знакомый вид, потом договорил: — Только я не так закален, как вы, Франц; мне всегда больно смотреть на прекрасную оболочку, если я знаю, что под ней скрывается. Вот и все знакомство — а потом стали приходить письма.

— Это знакомство ее спасло, — с пафосом сказал Франц, — оно дало ей необходимое переключение. Оттого-то я и поехал сегодня вас встречать,

бросив все свои дела. Мне нужно с вами обстоятельно поговорить до того, как вы встретитесь с нею. Впрочем, ее сейчас нет, я отпустил ее в Цюрих за покупками. — Голос его зазвенел от волнения. — Отпустил без сиделки, вдвоем с другой больной, состояние которой значительно менее устойчиво. Я считаю ее полностью излеченной и горжусь этим успехом, достигнутым с вашей невольной помощью.

Дорога, следуя всем изгибам берега, привела их наконец в плодородную долину, где зеленые выпасы чередовались с пригорками, на которых лепились деревянные шале. Солнце плыло по синему океану неба, и Дик вдруг почувствовал истинно швейцарскую прелесть этого уголка — такой веселый гомон несся со всех сторон, так славно пахло здоровьем и бодростью.

Заведение профессора Домлера состояло из трех старых зданий и двух новых, раскинувшихся между озером и цепью невысоких холмов. Основанное десять лет назад, оно стало первой психиатрической клиникой современного типа. Никто со стороны не догадался бы, что здесь находится убежище для надломленных, неполноценных, несущих в себе угрозу этому миру, два из пяти зданий обнесены были глухой стеной, вид

которой смягчала завеса винограда. Какие-то люди сгребали в кучи солому на самом солнцепеке; по аллеям парка гуляли больные в сопровождении сиделок, которые, заслышав шум машины, предостерегающе взмахивали белым флажком.

Франц привел Дика в свой кабинет и попросил позволения отлучиться на полчаса. Оставшись один, Дик расхаживал по кабинету, стараясь составить себе суждение о Франце по беспорядку на его письменном столе, по его книгам, по книгам его отца и деда — ими написанным или им принадлежавшим, — по увеличенному отцовскому дагерротипу[27], с швейцарской чинностью висевшему на стене. В кабинете было накурено; Дик распахнул балконную дверь, и конус солнечного света прорезал дымный воздух. Мысли Дика обратились к той девушке, к американке.

За восемь месяцев он получил от нее около пятидесяти писем. Первое содержало попытку что-то объяснить или оправдать: еще в Америке она слышала, что многие девушки пишут письма незнакомым солдатам, — вот она и узнала у доктора Грегори его имя и адрес и надеется, он не будет против, если она время от времени

[27] Notes: 27

Дагерротипы — первые фотографии, сделанные с помощью посеребренной металлической пластины, помещенной в камеру обскура.

станет посылать ему несколько слов привета и т. д. и т. п.

Тон письма нетрудно было узнать — он был заимствован из «Длинноногого папочки» и «Притворщицы Молли»[28], сентиментально-развлекательных сочинений, которыми в ту пору зачитывалась Америка. Но дальше этого сходство не шло.

Письма распадались на две группы: те, что были написаны в период до перемирия, носили отчетливо патологический характер, остальные же, вплоть до самых недавних, были письмами вполне нормального человека, постепенно раскрывавшегося во всем богатстве своей натуры. За последние месяцы Дик привык с нетерпением ожидать этих писем, скрашивавших томительную скуку Бар-сюр-Об, — впрочем, и в письмах более ранних он сумел прочесть гораздо больше, чем это было доступно Францу.

Mon capitaine![29]
Вы мне показались таким красивым в

---

[28] Notes: 28

«Длинноногий папочка» — эпистолярный роман (1912) американской писательницы Джин Вебстер; *«Притворщица Молли»* — роман (1910) американской писательницы Элеаноры Хэллоуэлл Эбботт.

[29] Notes: 29

Мой капитан! *(фр.)*

военной форме. А потом я решила je m'en fiche[30] *и по-французски и по-немецки. Я решила, что и я вам понравилась, но к этому я привыкла, и хватит. Если вы сюда еще раз приедете со всякими пошлостями и подлостями, которые вовсе не к лицу джентльмену, как меня учили понимать это слово, вам же будет хуже. Впрочем, вы как будто поскромнее других, такой уютный, точно большой пушистый кот. Мне вообще нравятся женственные молодые люди. А вы женственный? Я таких встречала, не помню когда и где.*

Не сердитесь на меня, это мое третье письмо к вам, я его сейчас отправлю или не отправлю совсем. Я часто раздумываю о лунном свете, и у меня нашлось бы немало свидетелей, если б только меня выпустили отсюда.

Они говорят, вы тоже доктор, но вы ведь кот, так что это другое дело. Голова очень болит, так вы не сердитесь, почему я гуляю тут запросто с белым

---

[30] Notes: 30
Наплевать *(фр.)*.

котом, это вам все объяснит. Я говорю на трех языках, не считая английского, и, наверно, могла бы работать переводчицей, если б вы меня устроили там, во Франции, наверно, я бы справилась, если б меня привязали ремнями, как в ту среду. А сегодня суббота, и вы далеко, может быть, уже и убиты.

Приезжайте ко мне опять, я ведь тут навсегда, на этом зеленом холме. Разве только отец поможет, милый мой папа, но они мне не позволяют писать ему.

Не сердитесь, я сегодня сама не своя. Напишу, когда буду чувствовать себя лучше.

Привет.

Николь Уоррен

Не сердитесь на меня.

Капитан Дайвер!

Я знаю, когда такое нервное состояние, как у меня сейчас, нехорошо сосредоточиваться на себе, но мне хочется, чтобы вы все про меня знали. Когда это началось в Чикаго прошлый год, а может быть, и не прошлый, не помню, я тогда переста-

ла выходить на улицу и разговаривать с прислугой, и мне так нужно было, чтобы кто-нибудь мне объяснил, что со мной. Кто понимал, тот обязан был мне объяснить. Слепого берут за руку и ведут, раз он сам идти не может. Но мне говорили и недоговаривали, а у меня уже слишком все спуталось в голове, чтобы я могла додумать сама. Нашелся один человек – он был француз, офицер, и он понимал. Он мне дал розу и сказал, что она «plus petite et moins entendue»[31]*. Мы подружились. А потом он ее отнял. Мне становилось все хуже, а объяснить было некому. Есть такая песенка про Жанну д'Арк, вот мне ее пели, а мне было обидно, и я плакала, потому что у меня тогда голова еще была в порядке. Советовали, чтобы я занималась спортом, но я не хотела спорта. Потом раз я вышла из дому и пошла по бульвару Мичиган – далеко-далеко. За мной поехали и догнали, но я не захотела садиться в машину. В конце концов меня втащили силой и после этого приставили*

[31] Notes: 31
Еще меньше и еще неопытнее *(фр.)*.

ко мне сиделку. Потом уже я постепенно стала понимать, потому что видела, как это у других. Вот, теперь вы все знаете. Здесь я никогда не поправлюсь, врачи без конца пристают ко мне с расспросами и не дают успокоиться и забыть. Поэтому я сегодня написала отцу, пусть приедет и заберет меня отсюда. Я очень рада, что вам так нравится ваша работа, наверно, это очень интересно, проверять людей и решать, кто годится, а кто нет.

А вот из другого письма:

Могли бы пропустить одну проверку и написать мне письмо. Мне недавно прислали граммофонные пластинки, на случай если я забуду свой урок, а я их все перебила, и за это теперь сиделка со мной не разговаривает. Пластинки были английские, и она все равно ничего не понимала. В Чикаго один доктор назвал меня симулянткой, это он хотел сказать, что я шестой близнец, а он еще никогда таких не встречал. Но я в то время очень сильно чудила, и мне было все равно – когда я начинаю так сильно чудить, мне все

равно, назови меня хоть миллионным близнецом.

Вы в тот вечер говорили, что научите меня не скучать. Знаете, мне иногда кажется, что любовь – самое главное в жизни, должна быть самым главным. Но я рада за вас, что экзамены не оставляют вам свободного времени.

Toute a vous[32]

Николь Уоррен

Были и другие письма, в сбивчивом ритме которых слышалась более тревожная мелодия.

Милый капитан Дайвер!

Пишу вам потому, что мне не к кому больше обратиться, и если даже я, такая больная, вижу нелепость своего положения, вам-то уж наверняка это ясно. Я вся совершенно разбита и уничтожена, не знаю, этого ли тут добивались. Родные ко мне равнодушны, нечего и ждать от них помощи и сочувствия. Я больше не могу, я уверена, оставаясь здесь, я только попусту буду терять время и вконец рас-

---

[32] Notes: 32
Ваша *(фр.)*.

строю свое здоровье, а голова у меня все равно не придет в порядок.

Заперли меня в это заведение, которое что-то вроде сумасшедшего дома, и все только потому, что никто не решился сказать мне правду. Если бы я с самого начала все знала, как знаю теперь, я бы справилась, хватило бы сил, но те, кто должен был открыть мне глаза, не захотели. А теперь, когда я уже узнала, и такой дорогой ценой, они все поджали хвосты и хотят, чтобы я думала как раньше. Особенно старается один, но теперь уже я все равно знаю.

Мне очень тоскливо вдали от друзей и родных, которые все за океаном, я целыми днями брожу как потерянная. Сделайте доброе дело, устройте меня переводчицей (я в совершенстве знаю французский и немецкий, довольно хорошо итальянский и немного испанский), или в санитарный отряд, или медицинской сестрой – я бы могла пройти какие-нибудь курсы.

И еще:

Если вы не согласны с моими объяснениями, что со мной, могли бы, по крайней

мере, объяснить по-своему, мне это важно, потому что у вас лицо доброго кота, а не такая дурацкая физиономия, какую здесь принято строить. Доктор Грегори дал мне вашу фотографию, вы на ней не такой красивый, как в военной форме, но зато моложе.

Mon capitaine!

Очень приятно было получить вашу открытку. Я рада за вас, что вам так нравится проваливать медицинских сестер на экзаменах, – не беспокойтесь, я очень хорошо поняла все, что вы пишете. Только мне-то, когда я вас увидела, показалось, что вы должны быть не такой, как все.

Милый капитан Дайвер!

Сегодня я думаю по-одному, а завтра по-другому. В этом вся моя беда, и еще в том, что мне хочется делать всем назло, и я никогда не знаю меры. Я бы охотно посоветовалась с каким-нибудь специалистом по вашей рекомендации. Здесь все лежат в ваннах и поют: «Играй, дитя, в своем саду», но у меня нет своего сада, где я могла бы играть, и ничего хорошего я не

вижу, куда ни посмотри. Вчера они опять взялись за свое, опять в кондитерской, и я чуть не ударила продавца гирей, только меня удержали.

Не буду больше писать вам. У меня все в голове путается.

И целый месяц не было писем. А потом вдруг этот поворот.

…Понемногу возвращаюсь к жизни…

…Смотрю на цветы, на облака…

…Война окончилась, а я, кажется, и не знала, что была война.

…Вы очень добрый! И должно быть, очень умный, хотя и похожи на белого кота, что, впрочем, незаметно на той фотографии, которую мне дал доктор Грегори…

…Сегодня была в Цюрихе, так странно опять ходить по городским улицам…

…Сегодня мы ездили в Берн, мне очень понравилось, что там на каждом углу часы…

…Сегодня мы забрались высоко в горы, нарвали асфоделей и эдельвейсов…

Потом письма стали приходить реже, но он исправно на все отвечал. В одном она написала:

Я бы хотела, чтобы кто-нибудь в ме-

ня влюбился, как влюблялись когда-то давно, до моей болезни. Но, наверно, мне еще много лет нечего и мечтать о таких вещах.

Однако стоило Дику чуть задержаться с ответом, последовал взрыв тревоги, похожей на лихорадочную тревогу любви:

Я чувствую, что надоела вам... Нельзя, наверно, быть такой навязчивой... Всю ночь мне не давала покоя мысль, что вы больны.

Дик и в самом деле переболел инфлюэнцей, после чего долго ходил вялый, безразличный ко всему, и переписку поддерживал только из вежливости. А потом далекий образ Николь заслонила вполне реальная фигура штабной телефонистки, прибывшей в Бар-сюр-Об из Висконсина. У нее были красные, как на рекламном плакате, губы, и в офицерской столовой она получила двусмысленную кличку «Коммутатор».

Вернулся в кабинет Франц, явно довольный собой. Дик снова подумал, что он был бы превосходным клиницистом, — смена плавных и

рассыпчато-дробных каденций в его наставлениях больным и персоналу шла не от порывов души, а от его безмерного, хоть и безобидного честолюбия. Свои истинные чувства он умел дисциплинировать и держать при себе.

— Поговорим об американке, Дик, — сказал он. — Я рад буду послушать ваши рассказы и сам кое-что рассказать о себе, но это потом, а сперва займемся американкой. Я этого случая давно жду.

Он порылся в одном из своих ящиков и вытащил толстую папку, но, полистав ее содержимое, передумал и, отложив ее в сторону, заговорил без всяких бумаг.

III

Года полтора назад доктор Домлер получил довольно туманное письмо от некоего мистера Девре Уоррена из чикагских Уорренов, американца, жившего в Лозанне. Последовал короткий обмен посланиями, в итоге которого мистер Уоррен в назначенный день прибыл в клинику со своей шестнадцатилетней дочерью по имени Николь. Вид у девушки был больной, и на время разговора мистера Уоррена с доктором сопровождавшая ее сестра милосердия увела ее в парк.

Уоррен оказался на редкость красивым господином лет сорока или даже меньше. Безупречный образец американской породы — высокий, широкоплечий, статный, «un homme tres chic»[33], как говорил потом доктор Домлер Францу. В больших серых глазах были красноватые прожилки от занятий греблей на Женевском озере в яркие солнечные дни, и вся повадка изобличала человека, знающего жизнь только с приятных ее сторон. Беседа велась по-немецки — гость, как оказалось, получил образование в Геттингене. Он явно нервничал и не знал, как подступить к мучительному для него вопросу.

— Доктор Домлер, моя дочь не совсем здорова душевно. Я показывал ее десяткам врачей, приставил специальную сестру, пробовали лечение покоем, отдыхом, но ничего не помогает. Мне настойчиво рекомендовали обратиться к вам.

— Прекрасно, — сказал доктор Домлер. — Попрошу вас рассказать мне все по порядку, с самого начала.

— Не знаю, что считать началом, — насколько мне известно, ни в моем роду, ни в роду моей жены никогда не было душевнобольных. Николь

---

[33] Notes: 33
Очень эффектный мужчина *(фр.)*.

одиннадцати лет осталась без матери, на попечении гувернанток, и я, можно сказать, был ей и за отца, и за мать — и за отца, и за мать.

Он с большим волнением произнес эти слова. В уголках его глаз навернулись слезы, и доктор Домлер только сейчас заметил, что от него чуть попахивает спиртным.

— Она была прелестным ребенком, все ее просто обожали, решительно все, кто ее знал. Такая умненькая, веселая, как птичка. Любила читать, рисовать, танцевать, играть на рояле. Помню, жена говорила, что из всех наших детей она одна никогда не плакала по ночам. У меня есть еще старшая дочь и был сын, он умер маленьким, но Николь — она всегда была… всегда была…

Он запнулся, и доктор Домлер пришел на помощь:

— Всегда была вполне нормальным, здоровым, жизнерадостным ребенком.

— Да, да, вполне.

Доктор Домлер ждал. Мистер Уоррен покачал головой, испустил глубокий вздох, глянул искоса на доктора Домлера и снова уставился в пол.

— Месяцев восемь тому назад, — а может быть, десять, а может быть, полгода, никак не припомню, где мы жили, когда это началось, — с ней

стало твориться что-то странное, несуразное. Моя старшая дочь первая заметила и сказала мне — а я не замечал ничего, для меня она была все та же, — торопливо вставил он, как будто кто-то пытался возложить вину на него, — все та же милая, ласковая девочка. Пока не вышла эта история с лакеем.

— Ага! — сказал доктор Домлер, кивнув убеленной сединами головой, будто он, точно Шерлок Холмс, знал, что рано или поздно в рассказе должен появиться лакей, — именно лакей, а не еще кто-нибудь.

— Был у меня лакей, много лет прослужил в доме — швейцарец, между прочим. — Он поднял глаза на доктора Домлера, как бы ожидая проявлений патриотического восторга. — И вот Николь вдруг вообразила, будто этот лакей преследует ее. Теперь я убежден, что ничего подобного не было, но тогда я поверил и тут же отказал ему от места.

— А в чем именно она его обвиняла?

— То-то и есть, что врачи не могли добиться от нее ничего определенного. Она только смотрела на них и молчала, как бы считая, что они сами должны знать. Но было совершенно ясно, что дело касается каких-то непристойных посягательств с

его стороны, — тут не могло быть сомнений.

— Так. Дальше?

— Мне, конечно, приходилось читать о навязчивых идеях, которые иногда появляются у одиноких женщин, — будто под кроватью или за дверью прячется мужчина. Но откуда что-либо подобное у Николь? Поклонников у нее было хоть отбавляй. Мы тогда жили на своей вилле в Лейк-Форест — это дачное место под Чикаго. Она целыми днями играла с молодыми людьми в гольф и в теннис, многие из них были влюблены в нее по уши.

Уоррен говорил, а слушавший его сухонький старичок то и дело уголком своих мыслей возвращался в Чикаго. В молодости его звали переехать туда, предлагали доцентуру в Чикагском университете, и если бы он принял это предложение, то, возможно, был бы теперь богатым человеком, имел бы собственную клинику, вместо того чтобы довольствоваться жалким пакетом акций, как здесь. А он не решился: когда он представил себе эти степные просторы, эти бескрайние поля пшеницы, его знания показались ему слишком скудными для таких масштабов. Но он тогда много прочел о Чикаго, о феодальных династиях Арморов, Палмеров, Филдов, Крэйнов, Уорренов,

Мак-Кормиков, Свифтов; а впоследствии у него перебывало немало пациентов из Чикаго и Нью-Йорка, принадлежавших к этому кругу.

— Ей становилось все хуже, — рассказывал Уоррен. — Начались припадки, во время которых она бог знает что говорила. Старшая сестра иногда пробовала записывать ее слова — вот взгляните… — Он протянул Домлеру сложенный в несколько раз листок. — Больше всего про мужчин, которые ее будто бы преследуют, тут и знакомые, которые бывали в доме, и случайные прохожие на улице.

Он еще долго говорил обо всем, что им пришлось пережить, о том, как ужасно положение семьи, в которой стряслась такая беда, и как все попытки лечения в Америке ни к чему не привели, и как, наконец, в надежде на перемену обстановки, он не убоялся подводной блокады и повез дочь в Швейцарию.

— На американском крейсере, — чуть свысока уточнил он. — Благодаря счастливой случайности мне удалось это устроить. Замечу в скобках, — он улыбнулся, как бы оправдываясь, — что, как говорится, деньги не помеха.

— Без сомнения, — сухо согласился доктор Домлер.

Он старался понять, зачем этот человек ему лжет и в чем именно. А если не лжет, почему так веет фальшью от всего разговора, от элегантной фигуры в костюме спортивного покроя, с непринужденным изяществом расположившейся в кресле? Там, на аллеях парка, где сгущаются февральские сумерки, настоящая трагедия, пичужка с перебитыми крыльями, а здесь что-то не то — не то и не так.

— Я бы теперь хотел несколько минут поговорить с вашей дочерью, — сказал доктор Домлер, переходя на английский язык, словно это могло приблизить его к Уоррену.

Через несколько дней после того, как Уоррен, оставив дочь в клинике, уехал обратно в Лозанну, доктор Домлер и Франц записали в истории болезни Николь:

> *Diagnostic: Shizophrenie. Phase aigue en decroissance. La peur des hommes est un symptome de la maladie et n'est point constitutionnelle... Le pronostic doit rester reserve*[34].

---

[34] Notes: 34

Диагноз: шизофрения. Стадия обострения, идущая на спад. Боязнь мужчин не конституциональна, а является симптомом заболевания... Прогноз пока неясен *(фр.)*.

И они с возрастающим интересом стали ждать, когда мистер Уоррен приедет опять в клинику, как обещал.

Мистер Уоррен, однако, не торопился исполнить свое обещание. По прошествии двух недель доктор Домлер написал ему письмо. Не получив ответа, он решился на шаг, который по тем временам следовало считать une folie[35], — заказал телефонный разговор с «Гранд-отелем» в Лозанне. Камердинер мистера Уоррена сообщил ему, что мистер Уоррен сегодня уезжает домой и занят сборами в дорогу. Но при мысли о сорока швейцарских франках за разговор, которые будут значиться в графе особых расходов клиники, в докторе взыграла кровь тюильрийских гвардейцев, и мистеру Уоррену пришлось подойти к телефону.

— Вы должны приехать — совершенно необходимо. Зависит здоровье вашей дочери. Я ни за что не ручаюсь.

— Позвольте, доктор, но для чего же я поместил ее к вам? Я не могу, меня срочно вызывают в Штаты.

Доктор Домлер не привык к беседам на таком

---

[35] Notes: 35
Сумасбродством *(фр.)*.

расстоянии, тем не менее он сумел столь решительно продиктовать в трубку свой ультиматум, что устрашенный американец на другом конце провода не выдержал и уступил. Через полчаса после своего вторичного появления в клинике Уоррен сдался; его мощные плечи под свободно облегавшим их пиджаком затряслись от глухих рыданий, глаза стали красными, как закат на Женевском озере, и Домлер с Францем услышали чудовищное признание.

— Сам не знаю, как это случилось, — хрипло выговорил он. — Сам не знаю… Она была еще ребенком, когда умерла ее мать, и по утрам я брал ее к себе в постель, иногда она засыпала рядом со мной. Мне так жаль было бедную малышку. Позднеймы стали путешествовать вместе. Сидя в машине или в купе поезда, я держал ее руку, а она мне напевала что-нибудь. Иногда мы говорили друг другу: «Давай сегодня ни на кого не смотреть — пусть это утро будет только наше, — ты и я, больше нам никто не нужен». — Горькая насмешка в его голосе. — Люди умилялись до слез, глядя на нас: какая трогательная семейная привязанность. Мы были словно любовники — и однажды мы в самом деле стали любовниками… После того как это случилось, я готов был пустить

себе пулю в лоб, но, видно, жалкие выродки вроде меня на это не способны.

— Что же потом? — спросил доктор Домлер, снова думая о Чикаго и вспоминая тихого, белесого господина в пенсне, так внимательно разглядывавшего его в Цюрихе тридцать лет назад. — Это продолжалось?

— О нет, нет! Она словно оледенела сразу. Только все твердила: «Ничего, папочка, ничего. Ты не огорчайся, не надо».

— Последствий не было?

— Нет. — Он судорожно всхлипнул и, достав платок, высморкался несколько раз. — Если не считать того, что теперь.

Выслушав рассказ до конца, доктор Домлер откинулся на спинку глубокого кресла, традиционного для любой буржуазной гостиной, и мысленно рявкнул: «Деревенщина!» — едва ли не впервые за два десятка лет позволив себе столь ненаучное определение. Затем сказал:

— Я бы хотел, чтобы вы переночевали в Цюрихе, в гостинице, а утром снова ко мне явились.

— А дальше что?

Доктор Домлер растопырил руки настолько, что в них вполне уместился бы молочный поросенок.

— Чикаго, — сказал он не то вопросительно, не то утвердительно.

IV

— Теперь ясно было, с чем мы имеем дело, — продолжал Франц. — Домлер поставил Уоррену условием, что тот должен расстаться с дочерью на долгий срок, лет на пять, не меньше. Уоррен после своей капитуляции, кажется, больше всего беспокоился о том, как бы эта история не дошла до Америки. Мы разработали план лечения и стали ждать. Оснований для оптимизма не было: как вы знаете, процент излечений очень невелик в этом возрасте.

— Первые письма были неутешительны, — согласился Дик.

— Весьма неутешительны и при этом весьма типичны. Я даже колебался, отправлять ли самое первое письмо. Но потом решил: пусть Дик знает, что мы тут занимаемся делом. Вы проявили великодушие, отвечая на эти письма.

Дик вздохнул.

— У нее такое прелестное лицо — она мне прислала несколько любительских снимков. И потом, первое время мне совершенно нечего было делать в Бар-сюр-Об. Да и что я ей писал, в

конце концов, — «будьте умницей и слушайтесь врачей».

— Этого оказалось достаточно. Важно было, что появился кто-то во внешнем мире, о ком она могла думать. Раньше ведь никого не было, кроме старшей сестры, с которой она, видно, не очень близка. Кроме того, нам ее письма давали очень ценный материал, по ним можно было контролировать ее состояние.

— Тем лучше.

— Вы понимаете, что тут произошло? В ней был силен комплекс соучастия, но это не так существенно, разве что для определения природной устойчивости психики и силы характера. Сначала — это потрясение. Потом ее отправили в пансион, и там, под влиянием разговоров сверстниц, мысль о соучастии была вытеснена; а дальше уже недолго было соскользнуть в иллюзорный мир, где все мужчины стремятся причинить тебе зло, и чем больше их любишь и доверяешь им, тем они коварнее…

— Она когда-нибудь прямо говорила о… ну, о том, что с ней случилось?

— Нет, и по правде сказать, когда она как будто пришла в норму — это было в октябре, — мы оказались в затруднительном положении. Будь

ей лет тридцать, можно было бы спокойно ждать, пока она сама окончательно выровняется, но, принимая во внимание ее молодость, мы опасались, как бы она не осталась навсегда внутренне покалеченной. И доктор Домлер сказал ей откровенно: «Теперь все зависит от вас самой. Вы ни в коем случае не должны считать, что жизнь для вас в чем-то кончена, — напротив, она еще только начинается», и так далее и тому подобное. Умственные данные у нее превосходные: полагаясь на это, он ей даже дал почитать Фрейда — кое-что, не слишком много, — и она очень заинтересовалась. В общем, она у нас тут сделалась общей любимицей. Но это скрытная натура, — добавил он и немного замялся, — хотелось бы знать, нет ли в ее последних письмах, тех, которые она отправляла сама из Цюриха, чего-нибудь, что говорило бы о ее настроениях, планах на будущее?

Дик задумался.

— И да и нет. Если хотите, я могу привезти эти письма. По-моему, в них чувствуется надежда и вполне нормальная жажда жизни — даже с уклоном в романтику. Иногда она употребляет выражение «мое прошлое», как его употребляют бывшие заключенные, — так, что не поймешь, идет ли речь о совершенном преступлении,

или о тюрьме, или обо всем вместе. Но в конце концов — кто для нее я? Манекен, соломенное чучело.

— Я прекрасно понимаю ваше положение и готов еще раз повторить, что мы вам очень признательны. Я потому и настаивал на этом разговоре до вашей встречи с ней.

Дик рассмеялся.

— Думаете, она, как увидит меня, так сразу на меня кинется?

— Не в том дело. Я вас очень прошу, будьте с ней поосторожнее. Вы из тех, кто нравится женщинам, Дик.

— Тем хуже для меня! Но я не только буду осторожен, я постараюсь внушить ей отвращение. Наемся чесноку перед встречей, приду небритым. Увидите, она от меня прятаться будет.

— Зачем же чеснок? — всерьез забеспокоился Франц. — Это может повредить вам не только в ее глазах. Впрочем, вы, наверно, шутите?

— Могу даже припадать на одну ногу. И кстати, там, где я квартирую, нет ванны.

— Ну, конечно, вы шутите. — Франц почувствовал облегчение, во всяком случае, он облегченно вздохнул и поудобней уселся в кресле. — А теперь расскажите о себе, о своих намерениях.

— Намерение у меня одно, Франц: стать хорошим психиатром, и не просто хорошим, а лучшим из лучших.

Франц весело засмеялся, но он видел, что на этот раз Дик говорит серьезно.

— Очень мило — вполне по-американски, — сказал он. — У нас это все не так просто. — Он встал и подошел к балконной двери. — Когда я стою здесь, мне виден Цюрих. Вон колокольня Гросмюнстера, там похоронен мой родной дед. Чуть дальше, за мостом, могила моего предка Лафатера, который не хотел, чтобы его хоронили в церкви. Рядом статуя другого предка, Генриха Песталоцци, и памятник доктору Альфреду Эшеру. А на все это с высоты взирает Цвингли. Целый пантеон героев всегда перед глазами[36].

— Вы правы. — Дик поднялся с кресла. — Я просто расхвастался не в меру, а между тем вся работа еще впереди. Большинство американцев во Франции ждут не дождутся, когда можно будет уехать домой, но я — другое дело. Мое офицерское жалованье сохраняется за мной на весь год с

---

[36] Notes: 36

Иоганн Каспар *Лафатер* (1741–1801) — швейцарский писатель и богослов; *Генрих Песталоцци* (1746–1827) — швейцарский педагог; *Альфред Эшер* (1819–1882) — швейцарский политик и промышленник; Ульрих *Цвингли* (1484–1531) — швейцарский христианский философ и гуманист.

одним лишь условием: чтобы я посещал лекции в университете. Не правда ли, широкий жест со стороны правительства! Сразу видно, что оно умеет ценить тех, кому предстоит прославить свою родину. В конце года я на месяц съезжу в Штаты, повидаться с отцом. А потом вернусь сюда — мне предложили место.

— Где?

— У ваших конкурентов — в клинике Гислера в Интерлакене.

— Не советую, — предостерег его Франц. — У них за год сменилось с десяток врачей, Гислер сам страдает маниакально-депрессивным психозом, и в клинике хозяйничает его жена со своим любовником — это, разумеется, между нами.

— А что же ваши американские планы? — небрежно спросил Дик. — Помните, вы собирались уехать в Нью-Йорк и в компании со мной открыть там лечебницу для миллиардеров, оборудованную по последнему слову?

— Э, студенческие бредни.

Обедал Дик у Франца, в обществе его жены и маленькой собачонки, от которой пахло почему-то жженой резиной. Что-то навело на него смутную тоску — не дух бережливости, витавший над скромным коттеджем в дальнем углу

парка, и не фрау Грегоровиус, такая, какой ее и можно было вообразить заранее, но внезапное сужение горизонтов Франца, как видно, ничуть его не огорчавшее. Дик принял бы аскетизм, но аскетизм иного плана — как средство к достижению цели, как источник света, помогающего продвигаться вперед; крохоборчески втискивать жизнь в костюм, доставшийся по наследству, казалось ему нелепым. Тесное пространство, в котором обращались Франц и его жена, уродовало их движения, обрекая на однообразие и скуку. Послевоенные месяцы во Франции, американский размах и щедрость при проведении ликвидационных операций повлияли на умонастроение Дика. К тому же он был избалован отношением людей, и мужчин и женщин, и, быть может, инстинктивная догадка, что это не полезно для целеустремленного человека, способствовала его решению вернуться в самый центр швейцарского часового циферблата.

Он пленил Кэте Грегоровиус, заставив ее уверовать в собственные женские чары, а сам еле сдерживал накипавшее раздражение против этого пропахшего капустой дома, в то же время ненавидя себя за эти вдруг проявившиеся задатки необъяснимой суетности.

«Господи, неужели я такой же, как все, в конце концов? — думал он потом, просыпаясь среди ночи. — Неужели я такой, как все?»

Неподходящие чувства для социалиста, но вполне подходящие для тех, кто выбрал себе одну из самых удивительных профессий на свете. Суть же была в том, что в нем уже начался тот процесс разгораживания на клеточки цельного мира молодости, в ходе которого решается вопрос, стоит или не стоит умирать за то, чему больше не веришь. В тишине цюрихских бессонных ночей он смотрел пустым взглядом в чью-то кухню напротив, освещенную уличным фонарем, и ему хотелось быть добрым, быть чутким, быть отважным и умным, что не очень-то легко. И еще быть любимым, если это не послужит помехой.

V

На веранду главного корпуса лился из распахнутых дверей яркий свет, темно было только у простенков, увитых зеленью, и причудливые тени плетеных кресел стекали вниз, на клумбы с гладиолусами. Фигура мисс Уоррен сперва мелькала среди других, сновавших из комнаты в комнату, потом четко обрисовалась в дверях, как только она заметила Дика; свет упал на ее лицо,

когда она переступала порог, и она понесла его с собой. Она шла, точно танцуя, музыка всю неделю звучала у нее в ушах, музыка лета, в которой есть и густая синь неба, и озорные потемки, — а когда появился Дик, зазвучала так громко, что ей захотелось подпевать этой музыке.

— Здравствуйте, капитан, — сказала она, с трудом отводя свой взгляд, казалось, запутавшийся в его взгляде. — Хотите, посидим здесь. Сегодня тепло, как летом.

Какая-то женщина вышла следом за ней, толстуха, закутанная в шаль. Николь представила:

— Сеньора ***.

Франц оставил их, сославшись на дела, и Дик пододвинул три кресла.

— Чудесный вечер, — сказала сеньора.

— Прекрасный, — подтвердила Николь и повернулась к Дику. — Вы надолго сюда?

— В Цюрих, вы хотите сказать? Надолго.

— Первый по-настоящему весенний вечер, — заметила сеньора.

— До какого же времени?

— По крайней мере до июля.

— А я в июне уезжаю.

— Июнь — чудесный месяц в здешних краях, — отозвалась сеньора. — Лучше побудьте июнь

здесь и уезжайте в июле, когда станет по-настоящему жарко.

— А куда вы поедете? — спросил Дик у Николь.

— Куда повезет Бэби, моя сестра, — мне бы хотелось, чтобы это было такое место, где интересно и весело, ведь у меня столько времени пропало. Но может быть, решат, что мне лучше для начала пожить в каком-нибудь тихом уголке, на Комо, например. Почему бы и вам не приехать на Комо?

— Ах, Комо… — начала сеньора.

В доме заиграли вступление к «Легкой кавалерии» Зуппе. Николь при первых звуках встала; Дик посмотрел на нее, и оттого, что она была так молода и красива, волнение охватило его и в горле точно свернулся тугой клубок. Она улыбнулась трогательной детской улыбкой, вся заблудившаяся юность мира была в этой улыбке.

— Под такую громкую музыку трудно разговаривать — давайте пройдемся по парку. Buenas noches, сеньора.

— Доброй ночи, доброй ночи.

Они сошли на дорожку, которая через несколько шагов нырнула в тень. Николь взяла Дика под руку.

— У меня есть хорошие пластинки, сестра при-

слала из Америки, — сказала она. — Когда вы следующий раз сюда приедете, я вам поставлю. Я знаю одно укромное местечко, куда можно принести патефон и никто не услышит.

— С удовольствием послушаю.

— Вы знаете «Индостан»? — тревожно спросила она. — Мне нравится, я его раньше не знала. А еще у меня есть «Мы давно уже не дети» и «Я рад, что ты плачешь из-за меня». Вы, наверно, не раз танцевали под все эти пластинки в Париже.

— Я в Париже не был.

Ему все время хотелось смотреть на ее кремовое платье, казавшееся то голубым, то серым на разных поворотах дорожки, на ее удивительно светлые волосы — когда бы он ни взглянул, она чуть-чуть улыбалась, а попадая в круг света от фонаря, ее лицо сияло, как ангельские лики. Она словно благодарила его за приятно проведенный вечер, и Дик все меньше и меньше понимал свое отношение к ней, а она становилась все уверенней — радость, переполнявшая ее, как будто вобрала в себя всю радость, какая только есть на свете.

— Я теперь могу делать все, что хочу, — сказала она. — Есть еще две пластинки, которые вы непременно должны послушать: «Когда стада

вернутся с гор» и «Прощай, Александр!».

В следующий свой приезд, ровно через неделю, он немного запоздал, и Николь уже ждала его на полдороге от домика Франца к главному корпусу. Волосы у нее были откинуты со лба и свободными волнами падали на плечи, от этого казалось, будто ее лицо только сию минуту открылось или будто она вышла из леса на поляну, освещенную луной. Тайна отступила от нее; Дику захотелось, чтобы за ней не стояло прошлое, чтобы она была девушкой ниоткуда, просто вдруг возникшей из тьмы. Она повела его туда, где был припрятан патефон; они обогнули сарай, служивший мастерской, перелезли невысокую ограду и, наконец, взобрались на скалу, от которой на много миль кругом разбегались темные холмы.

Они теперь были в Америке — даже Франц, упорно видевший в Дике неотразимого Лотарио[37], не догадался бы, как они далеко. Они были там, где небо ясно, где огни любви горят так властно; они на свиданье спешили в авто; они ловили любимой улыбку и вспоминали о встречах где-то на Индостане; потом, как видно, поссорились, потому что им стало все равно, все равно, ведь

[37] Notes: 37
То есть повесу и ловеласа.

любовь умерла давно — а в конце концов кто-то из них уехал, оставив другого в тоске и печали думать о днях, что навек миновали.

Ниточки мелодий, связывавших то, что уже ушло, с тем, что еще могло сбыться, закручивались в темноте вечера. Паузы заполнял звон цикад. Потом Николь остановила патефон и принялась напевать сама:

Поставь ребром монетку
На желтенький песок.
Увидишь, как покатится
Серебряный кружок.

Казалось, она совсем не дышит, только ее губы шевелятся, выговаривая слова песни.

Дик вдруг порывисто встал.

— Что с вами? Не нравится песенка?

— Нет, почему — нравится.

— Это меня наша кухарка выучила.

Я любила – не ценила,
Потеряла – поняла.

Вам правда нравится?

Она улыбалась, стараясь как можно больше вложить в эту предназначенную ему улыбку. Она всю себя бескорыстно предлагала за такую

малость, за минутный отклик, за то, чтобы почувствовать биение его сердца в лад своему. Из ветвей ивы, из темноты, сгустившейся вокруг, вливался в нее капля за каплей сладостный покой.

Она тоже встала и, споткнувшись о патефон, на мгновение припала к Дику, уткнулась головой в изгиб его шеи у плеча.

— Еще есть одна пластинка, — сказала она. — Вы знаете «До свидания, Летти»? Наверно, знаете.

— Господи, да поймите же вы — ничего я такого не знаю.

И не знал никогда, мог бы он добавить; не слыхал, не нюхал, не пробовал на вкус; ничего такого не было в его жизни; только горячее женское дыхание в горячей тесноте укромных уголков. В Нью-Хейвене 1914 года девушки целовали мужчин, упираясь им в грудь кулаком, чтобы оттолкнуть сейчас же после поцелуя. И вот теперь эта едва спасшаяся жертва крушения раскрывает перед ним целый неведомый мир…

VI

Когда они встретились опять, уже наступил май. Завтрак в Цюрихе был школой предосто-

рожности; логика его жизни не оставляла в этой жизни места для Николь, однако когда какой-то мужчина за соседним столиком уставился на нее пристальным взглядом, настораживающим, как береговой огонь, не отмеченный в лоции, Дик повернулся к нему с такой явной, хотя и вежливой угрозой, что тот поспешил отвести глаза.

— Какой-то зевака, — небрежно пояснил он Николь. — Это он ваше платье с таким любопытством разглядывал. Зачем у вас столько всяких платьев?

— Сестра говорит, мы очень богаты, — виновато сказала она. — Нам много денег оставила бабушка.

— Так и быть, прощаю вам это.

Между ними была достаточная разница в годах, чтобы его могло забавлять невинное тщеславие Николь, уверенность, с которой она, выходя, посмотрелась в большое зеркало в вестибюле ресторана, не боясь той правды, которую ей могла сказать неподкупная амальгама. Ему нравилось наблюдать, как она захватывает все больше октав на клавиатуре, постепенно привыкая сознавать себя красивой и богатой. Он добросовестно старался отвлечь ее от мысли, что это он починил ее, склеив заново разбитые куски, — ему хоте-

лось, чтобы она утверждалась в радости бытия самостоятельно, не оглядываясь на него; но это было трудно, потому что рано или поздно она приносила к его ногам все, что получала от жизни, как охапки цветов на алтарь, как фимиам для воскурений.

К началу лета Дик уже прочно обосновался в Цюрихе. Он собрал свои ранние статьи, присоединил к ним материалы, накопленные за время военной службы, и на основе всего этого заканчивал теперь свою «Психологию для психиатров». Издатель как будто нашелся; кроме того, он подрядил одного неимущего студента исправить в тексте все погрешности по части немецкого языка. Франц считал это предприятие чересчур поспешным, а потому рискованным, но Дик ссылался на скромность избранной темы.

— Я никогда не буду так владеть материалом, как владею сейчас, — настаивал он. — А я убежден: эти вещи только потому не стали основой основ, что не получили теоретического обобщения. Наша профессия, на беду, почему-то привлекает к себе людей немного ущербных, надломленных. Вот они и восполняют собственные изъяны, делая упор на клинику, на «практическую работу», — это им позволяет побеждать

без борьбы. Вы, Франц, другое дело, вы были предназначены для своей профессии еще до того, как родились на свет. И скажите спасибо — я, например, сделался психиатром только потому, что некая девица в колледже святой Гильды в Оксфорде посещала лекции по психиатрии. А теперь — может быть, это звучит банально, но я не хочу, чтобы те идеи, которые у меня есть, были смыты десятком-другим кружек пива.

— Как знаете, — отвечал Франц. — Вы американец. Вы можете это сделать без вреда для себя, как для врача. Мне лично все эти обобщения не по душе. Сначала книга, а там, глядишь, начнете писать брошюрки под названием «Размышления для непосвященных», где все уже настолько будет упрощено, что, прочитав их, никому наверняка думать не захочется. Будь жив мой отец, он бы вас не похвалил, Дик. Я словно вижу, как он, посмотрев на вас, берет в руки салфетку, складывает ее вот так, долго вертит в руках кольцо, вот это самое. — Франц показал деревянное, темное от времени кольцо для салфетки с вырезанной на нем кабаньей головой, — и начинает сердито: «У меня такое впечатление...», но тут же спохватывается — а что, мол, толку — и, не договорив, только ворчит себе под нос до конца обеда.

— Сегодня я один, — запальчиво сказал Дик. — Но завтра, может быть, найдутся и другие. А потом уже придет моя очередь складывать салфетку, как ваш отец, и ворчать себе под нос.

Франц помолчал немного, потом спросил:

— Как чувствует себя наша пациентка?

— Не знаю.

— Кому ж теперь и знать, как не вам?

— Она мне нравится. Она красивая. Что из этого следует, по-вашему, — что я должен уединиться с ней в горах среди эдельвейсов?

— Нет, но мне казалось, при вашей склонности к научным трактатам, у вас могли бы возникнуть какие-то идеи.

— …посвятить ей свою жизнь?

Франц крикнул жене в открытую дверь на кухню: «Du lieber Gott! Bitte, bringe Dick noch ein Glas Bier»[38].

— Не стоит мне больше пить перед разговором с Домлером.

— Мы считаем, что прежде всего нужно выработать программу. Прошло больше месяца, — судя по всему, девушка влюблена в вас. В обычной обстановке нам бы до этого не было дела, но здесь,

---

[38] Notes: 38

Ах ты господи! Принеси, пожалуйста, Дику еще стакан пива *(нем.)*.

в клинике, это и нас касается.

— Я поступлю так, как скажет доктор Домлер, — пообещал Дик.

Но ему не очень-то верилось, что Домлер сумеет разобраться в создавшейся ситуации, где неучтенной величиной был он сам. Без его сознательной на то воли вышло так, что от него теперь зависело, как все сложится дальше. Ему вспомнился эпизод из детства, когда он спрятал ключ от ящика с серебром под стопкой носовых платков у матери в шифоньере; все в доме сбились с ног, разыскивая этот ключ, а он наблюдал за суетой со спокойной отрешенностью философа. Нечто подобное он испытывал теперь, входя вместе с Францем в кабинет профессора Домлера.

Лицо профессора в рамке прямых бакенбард было прекрасно, как увитая виноградом веранда старинного дома. Ясность этого лица обезоружила Дика. Ему случалось встречать людей более одаренных, чем Домлер, но он не знал никого, кто выглядел бы внушительнее.

…Он снова подумал это полгода спустя, когда увидел Домлера в гробу: веранда опустела, виноградные бакенбарды лежали на жестком крахмальном воротничке, отсветы былых схваток в узких щелочках глаз навсегда угасли под

опущенными тонкими веками…

— Добрый день, сэр. — Он инстинктивно вытянулся по-военному.

Профессор Домлер переплел свои спокойные пальцы. Франц заговорил с обстоятельностью адъютанта или секретаря, докладывающего начальству, но начальство очень скоро прервало его на середине фразы.

— Нам удалось достигнуть некоторых результатов. — Голос звучал мягко. — Но теперь, доктор Дайвер, нам необходима ваша помощь.

Дик, пойманный врасплох, признался:

— Мне самому пока не все ясно.

— Меня не касаются ваши личные выводы, — сказал Домлер. — Но меня весьма близко касается другое: этому «переключению», — он метнул иронический взгляд в сторону Франца, который ответил ему таким же взглядом, — должен быть положен конец. Мисс Николь сейчас в хорошем состоянии, но не настолько, чтобы справиться с тем, что может быть воспринято ею как трагедия.

Франц хотел было заговорить, но Домлер предостерегающе поднял руку.

— Я понимаю, положение у вас трудное.

— Да, нелегкое.

Профессор вдруг откинулся назад и захохотал, а отхохотавшись, спросил, поблескивая серыми глазками:

— Может быть, вы и сами не остались равнодушны?

Дик, понимая, что ему не уйти от ответа, тоже засмеялся.

— Она очень красивая девушка — на это трудно вовсе не реагировать. Но я не собираюсь…

Франц снова сделал попытку заговорить, но Домлер предупредил его, напрямик выложив Дику то, что было у него на уме.

— Не думаете ли вы, что вам лучше уехать?

— Уехать я не могу.

Доктор Домлер повернулся к Францу:

— Тогда нам придется устроить так, чтобы уехала мисс Уоррен.

— Делайте, как найдете нужным, профессор Домлер, — сказал Дик. — Задача, конечно, сложная.

Профессор Домлер встал — с натугой, точно калека, взгромождающийся на костыли.

— Но решать эту задачу должен врач! — негромко выкрикнул он.

Со вздохом он снова опустил себя в кресло, дожидаясь, когда затихнет наполнивший комнату

раскат грома. Дик видел, что Домлер накален до предела, и не знал, удастся ли ему самому сохранить спокойствие. Когда гром отгремел, Франц наконец вставил свое слово.

— Доктор Дайвер человек тонкий и понимающий, — сказал он. — Нужно только, чтобы он правильно оценил создавшееся положение, а тогда уж он найдет выход. Я лично убежден, что Дик сумеет быть нам полезен здесь, на месте, и никому не придется уезжать.

— А вы как считаете? — спросил профессор Домлер Дика.

Дик чувствовал себя все более и более неловко; в напряженной паузе, последовавшей за вспышкой Домлера, ему сделалось ясно, что состояние неопределенности не может тянуться без конца; и он вдруг решился.

— Я, кажется, почти влюблен в нее. Мне уже не раз приходила мысль: может быть, жениться?

— Что? Что? — закричал Франц.

— Подождите, — остановил его Домлер. Но Франц не захотел ждать.

— Жениться! И полжизни отдать на то, чтоб быть при ней врачом, и сиделкой, и не знаю чем еще, — ну, нет! Я достаточно наблюдал таких больных. На двадцать случаев выздоровления —

один без рецидивов. Уж лучше забудьте о ней навсегда.

— Что вы на это скажете? — спросил Домлер Дика.

— Скажу, что Франц прав.

VII

Уже смеркалось, когда они завершили дискуссию относительно дальнейшего поведения Дика, сойдясь на том, что он должен оставаться внимательным и любезным, в то же время мало-помалу устраняясь. Наконец собеседники встали, и Дик невольно глянул в окно, за которым сеялся мелкий дождь, — где-то там, под дождем, нетерпеливо ждала Николь. Он вышел, на ходу застегивая доверху макинтош, поглубже надвигая шляпу, — и сразу же, у парадного входа, натолкнулся на нее.

— Я придумала, где нам посидеть сегодня, — сказала она. — Знаете, пока я была больна, мне не мешало, если приходилось проводить вечер в доме, вместе с другими, — все равно я не слышала, о чем они говорят. А теперь я все время помню, что вокруг меня больные люди, и это… это…

— Скоро вы уедете отсюда.

— Да, теперь уже скоро. Моя сестра Бетт — дома

ее зовут Бэби — приедет за мной недели через две. Мы с ней поживем где-нибудь вдвоем, а потом я вернусь и пробуду здесь еще месяц — последний.

— Сестра старше вас?

— О, намного. Ей двадцать четыре года. Она у нас совсем англичанка, живет в Лондоне у тети, сестры отца. У нее был жених англичанин, но он погиб на войне, я его ни разу не видела.

В ее лице, матово-золотистом на фоне размытого дождем заката, проступило что-то новое для Дика: высокие скулы, прозрачность кожи, но не болезненная, а создающая ощущение прохлады, позволяли угадывать, каким это лицо станет потом, — так, глядя на породистого жеребенка, представляешь его себе взрослым и знаешь, что это будет не просто проекция молодости на серый экран жизни, а подлинный расцвет. Было ясно, что это лицо будет красиво и в зрелые годы, и в старости; об этом говорило его строение, экономное изящество черт.

— Что это вы меня так разглядываете?

— Просто думаю, что вы, наверно, будете очень счастливы.

Николь испугалась:

— А вдруг нет? Впрочем — хуже, чем было, уже быть не может.

Они укрылись под навесом для дров; она сидела, скрестив ноги в туфлях для гольфа, закутавшись в непромокаемый плащ, чуть порозовевшая от сырого, холодного воздуха. Встретив его взгляд, она, в свою очередь, внимательно оглядела всю его фигуру, которая даже в этой позе — он стоял, прислонясь к столбу, — не утратила горделивой осанки, посмотрела в его лицо, где улыбка или лукавая мина словно не смели задержаться надолго и тотчас же уступали место привычному выражению сосредоточенности. Наверно, было в нем что-то такое, что гармонировало с ирландским кирпичным оттенком его кожи, но с этой стороны, со стороны его мужественности, она знала его меньше всего — и боялась узнать, хоть ей и очень хотелось докопаться тут до глубины; другой Дик, выдержанный, учтивый, с ласковым, участливым взглядом, был доступен без труда, и этим Диком она завладела не раздумывая, как и большинство женщин.

— Во всяком случае, у меня здесь была хорошая языковая практика, — сказала Николь. — С двумя из врачей я разговаривала по-французски, с сестрами по-немецки, с одной больной и кой с кем из уборщиц объяснялась по-итальянски, а другая больная помогла мне пополнить мой

запас испанских слов.

— Это очень удачно.

Он пытался найти логически осмысленный тон разговора с ней, но ничего не получалось.

— …И музыка тоже. Вы, надеюсь, не вообразили, что меня интересуют только рэгтаймы. Я регулярно занимаюсь каждый день, а в последние месяцы даже прослушала в Цюрихе курс истории музыки. Вероятно, бывали дни, когда только это меня и держало — музыка и рисование. — Она нагнулась, чтобы оторвать отставший кусочек подошвы, и посмотрела на него снизу вверх. — Мне бы хотелось нарисовать вас вот так, как вы сейчас стоите.

Больно было слушать этот перечень ее совершенств, рассчитанный на его одобрение.

— Завидую вам. Я теперь, кажется, ничем не способен интересоваться, кроме своей работы.

— Так это даже очень хорошо для мужчины, — поспешно отозвалась она. — Женщина — другое дело, она должна развивать всякие свои способности к искусству; потому что это потом пригодится ей в воспитании детей.

— Вероятно, вы правы, — сказал Дик намеренно небрежно.

Николь молчала. Дик предпочел бы, чтобы она

продолжала разговор, тогда он мог бы играть нехитрую роль стенки, от которой все отскакивает, но она молчала.

— Вы теперь вполне здоровы, — сказал он. — Забудьте о прошлом; не нужно только перенапрягать свои силы ближайший год. Возвращайтесь в Америку, начните выезжать в свет, влюбитесь и будьте счастливы.

— Влюбиться я не смогу. — Носком попорченной туфли она сковырнула комок грязи с чурбака, на котором сидела.

— Отлично сможете, — возразил Дик. — Не теперь, так через год или два. — И беспощадно добавил: — Выйдите замуж, и будет у вас нормальная семья с целым выводком прелестных детишек. То, что вам, в вашем возрасте, удалось полностью восстановить свою психику, — факт, достаточно показательный сам по себе. Поверьте, милая девушка, вы бодро будете шагать вперед, когда все ваши друзья уже свалятся от усталости.

...Она покорно испила чашу до дна, выслушала суровый урок, только в глазах у нее появилось жалобное выражение.

— Я знаю, что мне долго еще нельзя будет выйти замуж, — тихо сказала она.

Дик, расстроенный, не сразу нашелся что от-

ветить. Он отвел взгляд в сторону зеленеющего поля, силясь вновь обрести поколебленную твердость.

— Все у вас будет хорошо — здесь все в вас верят. Знаете, доктор Грегори так вами гордится, что…

— Ненавижу доктора Грегори.

— Вот это вы напрасно.

Мир Николь развалился, но это был хрупкий, неустоявшийся мир, и под обломками еще жило все, что ее волновало. Неужели только час назад она дожидалась его у входа в дом и надежда украшала ее, как цветок, приколотый к поясу?

…Платье, шелести для него, пуговицы, сидите крепче, нарциссы, цветите, воздух, будь прозрачным и вкусным…

— Да, приятно будет снова жить в свое удовольствие, — мямлила она.

На миг ей пришла в голову отчаянная мысль: сказать ему, как она богата, в каких великолепных домах всегда жила, объяснить, что она — капитал, и немалый; на миг в нее вселился покойный дед, барышник Сид Уоррен. Но она поборола искушение смешать все ценности в кучу и вновь разложила их по ящикам в строгом викторианском порядке, хотя знала, что ей теперь ничего не осталось — только боль и пустота.

— Дождь уже почти перестал. Мне пора возвращаться.

Дик шагал рядом, чувствуя, как тоскливо у нее на душе, и ему хотелось выпить капли дождя, стекавшие по ее щекам.

— Я получила новые пластинки, — сказала она. — Хочется поскорей проиграть их. Вы когда-нибудь слышали…

Сегодня же вечером кончу все, думал Дик. Он готов был избить Франца, втравившего его в эту подлую историю. Ему пришлось долго дожидаться в холле. Показалась какая-то фигура в берете, похожем на берет Николь, но на нем не блестели дождевые капли, и прикрывал он череп, в котором недавно хозяйничал нож хирурга. Из-под берета глянули живые глаза, увидели Дика и придвинулись ближе.

— Bonjour, Docteur.

— Bonjour, Monsieur.

— Il fait beau temps.

— Oui, merveilleux.

— Vous etes ici, maintenant?

— Non, pour la journee seulement.

— Ah, bon. Alors — au revoir, Monsieur[39].

Радуясь, что сумел успешно справиться с разговором, бедняга в берете поплелся дальше. Дик все ждал. Вдруг он увидел спускавшуюся с лестницы сиделку.

— Мисс Уоррен просит извинить ее, доктор. Она будет ужинать у себя, наверху. Она хочет лечь пораньше.

Девушка вопросительно смотрела на Дика, точно ожидая, что он усмотрит в таком поведении мисс Уоррен тревожный симптом.

— Ах, вот так. Ну что ж… — Он с усилием перевел дыхание, проглотил подступившую слюну. — Пусть отдыхает. Спасибо.

Он был удивлен и немного разочарован. Но, по крайней мере, теперь его ничто не связывало.

Запиской предупредив Франца, что не останется к ужину, он пошел пешком к станции загородного трамвая. Когда впереди заблестели рельсы и предвечернее солнце заиграло в стек-

---

[39] Notes: 39
— Здравствуйте, доктор.
— Здравствуйте, мосье.
— Хорошая погода.
— Да, прекрасная.
— Вы теперь здесь?
— Нет, просто приехал на один день.
— Вот как. Ну — до свиданья, мосье *(фр.)*.

лах билетных автоматов, у него вдруг возникло ощущение, что все это, и клиника и станция, колеблется под действием то центростремительной, то центробежной силы. Ему стало страшно. Он обрадовался, почувствовав наконец под ногами прочный булыжник цюрихской мостовой.

Он ожидал назавтра какой-нибудь весточки от Николь, но так и не дождался. Встревоженный, он позвонил Францу в клинику и спросил, здорова ли она.

— Она выходила и к первому завтраку, и ко второму, — ответил Франц. — Казалась только немного задумчивой и рассеянной. А как все сошло вчера?

Дик сделал попытку обойти пропасть, разверзавшуюся у него под ногами.

— Да, в общем, ничего не было — ничего определенного, во всяком случае. Я держался довольно холодно, но не произошло ничего, что могло бы повлиять на ее отношение ко мне — если оно такое, как вам кажется.

Может быть, его самолюбие было задето тем, что не потребовалось наносить coup de grace.

— Из разговора, который у нее был с сиделкой, я склонен сделать вывод, что она все-таки поняла.

— Тем лучше.

— Да, это, вероятно, самый безболезненный выход. Я не заметил, чтобы она была как-то особенно возбуждена — вот только немного задумчива.

— Что ж, тем лучше.

— Вы ко мне приезжайте, Дик. И не откладывайте надолго.

VIII

Для Дика потянулись дни тягостного недовольства собой и всем на свете. Патологическая завязка и насильственный конец всей этой истории оставили неприятный металлический привкус. С Николь обошлись подло, злоупотребили ее чувствами — а что, если и в нем живут те же чувства? Каждую ночь ему снилось, как она идет по аллее парка, покачивая висящей на руке широкополой соломенной шляпой; нет, надо хоть на время вырваться из размягчающего плена этих снов…

Один раз он увидел ее и наяву: великолепный «роллс-ройс» подкатил к выгнутому полумесяцем подъезду «Палас-отеля» в ту минуту, когда он проходил мимо. Совсем маленькая в гигантской махине автомобиля, взбодренная избыточной силой ста лошадей, сидела Николь рядом с элегантной молодой женщиной, очевидно, ее

сестрой. Николь его заметила, и у нее испуганно дрогнули губы. Дик сдвинул на лоб шляпу и прошел, не останавливаясь, но на мгновение все бесы Гросмюнстера с визгом заплясали вокруг него. Дома он попытался уйти от наваждения, углубясь в пространный анализ течения ее болезни, с оценкой вероятности рецидива, как реакции на неизбежные воздействия жизненных перипетий, — получилась солидная статья, убедительная для каждого, кроме того, кто ее написал.

Ему все эти старания дали только одно: он лишний раз удостоверился, насколько глубоко затронуты его чувства, а удостоверившись, стал энергично искать противоядий. Одно такое противоядие подвернулось в лице телефонистки из Бар-сюр-Об, разъезжавшей теперь от Ниццы до Кобленца в отчаянных попытках вернуть хоть часть поклонников, толпившихся вокруг нее в ту развеселую пору ее жизни. Другим послужили хлопоты о билете на американское транспортное судно, в августе отправлявшееся специальным рейсом в Соединенные Штаты. Третье он нашел в напряженной работе над корректурой книги, которая осенью должна была поступить на суд всего психиатрического мира, читающего по-немецки.

Но для Дика эта книга была пройденным этапом; ему уже хотелось засучив рукава готовить почву для новой работы, и он мечтал об обменной ординатуре в хорошей клинике, где можно собрать достаточно материала.

А пока что он задумал написать еще одну книгу: «Опыт последовательной систематической классификации неврозов и психозов, основанный на изучении тысячи пятисот случаев из психиатрической практики как до, так и после Крепелина, диагностированных в терминологии различных современных школ», — и в придачу не менее звучный подзаголовок: «С хронологическим обзором полемики по данному вопросу».

Здорово это будет выглядеть по-немецки.

Дик не спеша крутил педали велосипеда по дороге в Монтре, урывками поглядывая на Югенхорн и щурясь, когда в просветах зелени, окружавшей прибрежные отели, сверкала гладь озера. Навстречу попадались группы англичан, впервые появившихся здесь после четырехлетнего перерыва: они посматривали по сторонам с настороженностью персонажей детективного романа, точно были уверены, что в этой сомнительной стране можно ежеминутно ожидать нападения бандитов немецкой выучки. По все-

му пути прокатившейся здесь когда-то лавины с возрожденной энергией хлопотали люди — расчищали завалы, ровняли площадки под строительство. В Берне и в Лозанне Дика не раз озабоченно спрашивали, можно ли в нынешнем году ожидать приезда американцев: «Ну, не в июне, так, может быть, в августе?»

На нем были короткие кожаные штаны, армейская рубашка, горные ботинки. В рюкзаке лежала смена белья и костюм из легкой бумажной ткани. На станции глионского фуникулера он сдал велосипед в багаж и пошел выпить кружку пива в станционном буфете, с террасы которого было видно, как по восьмидесятиградусному склону медленно ползет маленький темный жучок. Одно ухо у Дика полно было запекшейся крови — память о Ла-Тур-де-Пельц, где он вдруг помчался во весь опор, вообразив себя непризнанным чемпионом. Он попросил в буфете спирту и промыл ухо снаружи, пока вагончик фуникулера вползал под станционные своды. Убедившись, что велосипед погрузили, он закинул свой рюкзак в нижнее отделение вагона и сам влез следом.

Вагоны горной дороги имеют наклонную форму, угол скоса у них примерно такой, как у полей шляпы, опущенных, чтобы нельзя было

узнать ее обладателя. Слушая, как шумит вода, выливающаяся из камеры под вагоном, Дик не мог не подивиться остроумной простоте всего устройства: в это же самое время камера второго вагона, стоящего наверху, наполняется водой, и как только будут отпущены тормоза, тот вагон под действием силы тяжести заскользит вниз, перетягивая другой, теперь более легкий. Поистине гениальная выдумка. Двое англичан, сидевших напротив Дика, обсуждали качество троса.

— Трос английского производства служит пять-шесть лет. В позапрошлом году заказ у нас перебили немцы, — так знаете, сколько времени выдержал их трос?

— Ну, сколько?

— Год и десять месяцев. А потом швейцарцы продали его итальянцам. Контроль при приемке недостаточно строгий, в этом все дело.

— Да, если бы трос не выдержал, Швейцарии плохо бы пришлось.

Захлопнулась дверь, кондуктор по телефону дал сигнал своему коллеге, и вагон, дернувшись, поехал вверх, к крохотному пятнышку, черневшему на изумрудной вершине. Скоро крыши Монтре остались внизу и перед пассажирами стала развертываться круговая панорама Во,

Валэ, Швейцарской Савойи и Женевы. Здесь, в центре озера, пронизанного студеным течением Роны, находился самый центр западного мира. По озеру, затерянные в бесплотности этой холодной красоты, плыли лодки, похожие на лебедей, и лебеди, похожие на лодки. День был солнечный, ярко зеленела трава на берегу, ярко белели теннисные корты курзала. Фигуры на кортах не отбрасывали тени.

Когда показался Шильон и остров с Саланьонским замком, Дик стал смотреть прямо вниз. Вагон теперь полз по склону выше городских домов; заросли кустарника тянулись с обеих сторон, местами расступаясь, чтоб дать простор веселой мешанине красок на клумбах. Это был сад, принадлежавший управлению фуникулера, и в вагоне висела табличка с надписью: «Defence de cueillir les fleurs»[40].

Но цветы, которые запрещалось рвать, сами лезли внутрь, розы на длинных стеблях кропотливо перебирали одно за другим все отделения вагона и, нехотя выпустив его в конце концов, становились снова в свой разноцветный строй. А на смену им уже просовывались другие.

---

[40] Notes: 40
«Запрещается рвать цветы» *(фр.)*.

В соседнем отделении, расположенном выше, компания англичан, стоя, шумно восхищалась пейзажем; вдруг там поднялась кутерьма — какая-то молодая парочка с извинениями проталкивалась в самое нижнее отделение, то, где сидел Дик. Юноша был итальянец с глазами, как у оленьего чучела; девушка была Николь.

Еще не отдышавшись после усилий, затраченных на то, чтобы добраться до цели, они с веселым смехом уселись напротив Дика, оттеснив в стороны сидевших там англичан, и Николь сказала: «Хелло!» Что-то в ней переменилось, отчего она еще похорошела; Дик не сразу понял, что все дело в прическе, — ее легкие волосы были подстрижены и взбиты локонами. На ней был сизо-голубой свитер и белая теннисная юбка — она была точно первое майское утро, клиника не оставила на ней никакого следа.

— Уфф! — выдохнула она. — Ну, теперь берегитесь. Нас арестуют, как только фуникулер остановится. Доктор Дайвер — граф де Мармора.

Все еще тяжело дыша, она потрогала свою новую прическу.

— Понимаете, сестра взяла билеты первого класса — она не признает иначе. — Она переглянулась с Мармора и воскликнула: — А оказалось,

что первый класс — это сразу за кабиной вожатого, по сторонам занавески, на случай если вдруг пойдет дождь, и ничего не видно. Точно на катафалке едешь. Но сестра очень заботится о престиже… — Снова Николь и Мармора засмеялись разом, точно двое школьников, понимающих друг друга с полуслова.

— Куда вы едете? — спросил Дик.

— В Ко. Вы тоже? — Николь оглядела его костюм. — Это ваш велосипед там, впереди?

— Да. Думаю в понедельник спуститься свободным ходом.

— А меня возьмете на раму — хорошо? Нет, правда — возьмете? Мне просто до смерти хочется.

— Зачем же, лучше я снесу вас вниз на руках, — энергично вмешался Мармора. — Или мы вместе съедем на роликах, или я вас столкну, и вы полетите вниз, легко, как пушинка.

По лицу Николь видно было, до чего ей это нравится, — вновь быть пушинкой, а не свинцовой гирей, парить, а не устало волочить ноги. Она вела себя как на карнавале — гримасничала, дурачилась, а то вдруг прикидывалась скромницей, смиренно поджимала губы и опускала глаза; но порой веселье сгоняла набежавшая тень — вели-

чаво-скорбная тень перенесенных страданий.

И Дик с тревогой думал о том, что это он своим присутствием воскресил перед ней тот мир, из которого ей посчастливилось вырваться. Он тут же решил, что остановится в другом отеле.

Фуникулер неожиданно стал, и пассажирам, впервые совершавшим этот подъем, показалось, будто они повисли на полпути из поднебесья в поднебесье. Но остановка понадобилась только для того, чтобы кондуктор вагона, идущего вверх, и кондуктор вагона, идущего вниз, могли обменяться какими-то таинственными сообщениями. Минута — и снова ввысь, ввысь, ввысь, над лесной тропкой, над узким ущельем, и дальше по склону, сплошь поросшему эдельвейсами. Теннисисты на кортах в Монтре казались теперь точечками на белом фоне. Что-то новое, непривычное затрепетало в воздухе — и это новое стало музыкой, как только вагон вполз на станцию в Глионе, где рядом, в саду отеля, гремел оркестр.

Когда они пересаживались на поезд, идущий в Ко, музыку затопил шум воды, выпускаемой из гидравлической камеры. Ко лежал почти прямо над ними; виден был фасад большого отеля с тысячей окон, пламеневших в лучах закатного солнца.

Но теперь все было иначе: кашляющий паровичок потащил их наверх по крутой спирали, виток за витком забираясь все выше и выше; он с пыхтеньем нырял в низкие облака, сыпля из трубы искры, и лицо Николь минутами пропадало из виду; а отель вырастал с каждым витком спирали, и вдруг они выскочили на яркое солнце прямо перед ним.

Дик вскинул рюкзак на плечо и пошел к багажному отделению за своим велосипедом; Николь не отставала в вокзальной суете.

— Вы разве не в этот отель? — спросила она.

— Я решил быть экономным.

— Тогда приходите к нам обедать. — И после того, как окончилась неразбериха с багажом: — Вот моя сестра — а это доктор Дайвер из Цюриха.

Дик увидел высокую молодую женщину лет двадцати пяти, державшуюся свободно и уверенно. Кланяясь, он подумал: самонадеянная и в то же время легко ранима. Знаем мы этих женщин с похожим на цветок ртом, в любую минуту готовы закусить удила.

— Я приду после обеда, — пообещал Дик. — Дайте мне время акклиматизироваться немножко.

Он ушел со своим велосипедом, чувствуя провожающий его взгляд Николь, чувствуя всю

беспомощность ее первой любви, чувствуя, как от этого внутри у него все переворачивается. Пройдя в гору метров триста, он добрался до другого отеля. Он снял номер и минут через десять уже мылся в ванной. От этих десяти минут в памяти остался только неясный гул, как с похмелья, в который порой врывались чьи-то голоса, чужие, ненужные голоса, ничего не знавшие о том, как он любим.

IX

Его ждали, без него вечер не был бы завершен. Он и здесь представлял собой неизвестную величину; мисс Уоррен и молодому итальянцу явно так же не терпелось с ним встретиться, как Николь. Салон отеля, помещение, славившееся своей удивительной акустикой, был освобожден для танцев; а вдоль стен тянулся амфитеатр англичанок известного возраста, с шарфиками на шее, с крашеными волосами и розовато-серыми от пудры лицами, а также американок известного возраста, в черных платьях, с белоснежными шиньонами и губами вишневого цвета. Мисс Уоррен и Мармора сидели за столиком в углу, Николь — в сорока ярдах от них по диагонали. Войдя, Дик сразу же услыхал ее голос.

— Вы меня слышите? Я говорю как обычно, не кричу.

— Прекрасно слышу.

— Здравствуйте, доктор Дайвер.

— Что это значит?

— Вот вы меня слышите, а те, кто посреди комнаты, не слышат ничего.

— Да, нас еще официант в ресторане предупреждал, — сказала мисс Уоррен.

— В этом зале можно из угла в угол разговаривать будто по радио.

Здесь, в горах, жизнь казалась необычной и увлекательной, как на корабле в открытом море. Немного погодя к их маленькому обществу присоединились родители Мармора. С сестрами Уоррен они держались почтительно — Дик понял из разговора, что их финансовые дела как-то связаны с неким миланским банком, который как-то связан с финансовыми делами Уорренов. Но Бэби Уоррен стремилась поговорить с Диком, влекомая той неясной силой, что заставляла ее стремиться навстречу каждому новому мужчине, туго натягивая невидимую цепь, с которой она давно уже искала случая сорваться. Она сидела, заложив ногу на ногу и часто меняла ноги с непоседливостью, свойственной перезрелым девам

высокого роста.

— …Николь мне рассказывала, что вы тоже занимались ею, и не будь вас, она, может быть, и до сих пор не выздоровела бы. Но понимаете, я как-то не очень представляю себе, что с ней делать теперь, — в санатории толком ничего не сказали, посоветовали только не стеснять ее и побольше развлекать. Я знала, что семейство Мармора сейчас здесь, в Ко, и попросила Тино приехать за нами. И что же — не успели мы тронуться, как она заставила его на ходу лезть вместе с ней через перегородки вагона, точно они оба сумасшедшие…

— Напротив, это вполне нормально, — засмеялся Дик. — Я даже сказал бы, что это хороший признак, им хочется порисоваться друг перед другом.

— Но откуда же мне знать? В Цюрихе она вдруг взяла и остриглась, чуть не на моих глазах — только потому, что увидела картинку в модном журнале.

— Ничего тут страшного нет. У нее шизоидный тип — этому типу свойственна эксцентричность. Она такой будет всегда.

— Какой — такой?

— Я ведь вам сказал — эксцентричной.

— Да, но как разобрать, где кончается эксцентричность и начинается болезнь?

— Болезнь не вернется, не тревожьтесь понапрасну. Николь сейчас беззаботна и счастлива.

Бэби снова беспокойно переменила позу: в ней словно воплотились, столетие спустя, все неудовлетворенные женщины, любившие Байрона; и все же, несмотря на трагический роман с офицером, было в ней что-то деревянное, бесполое.

— Ответственность меня не пугает, — объявила она. — Но я не знаю, как я должна поступать. В нашей семье никогда ничего подобного не было. Николь, видимо, перенесла сильное потрясение, я лично думаю, тут был замешан мужчина — но ведь это только догадка. Отец говорил, если б он узнал — кто, он бы убил его.

Оркестр играл «Бедную бабочку»; молодой Мармора танцевал со своей матерью. Фокстрот был новый, еще не успевший надоесть. Слушая, Дик не спускал глаз с Николь; она болтала со старшим Мармора, элегантным господином, у которого в шевелюре темные пряди чередовались с седыми, как черные и белые клавиши на рояле. Глядя на покатые плечи Николь, Дик подумал, что она похожа на скрипку, — и снова ему вспомнилась ее тайна, позорная тайна, которую он знал. Ах,

бабочка — летят мгновенья, летят, слагаются в часы…

— Собственно говоря, у меня есть план, — продолжала Бэби вкрадчиво, но решительно. — Вы, может быть, сочтете его неосуществимым, но все дело в том, что, как я поняла, Николь ближайшие годы должна находиться под постоянным наблюдением. Не знаю, бывали вы в Чикаго или нет…

— Не бывал.

— Там есть Северная сторона и есть Южная — два совершенно обособленных и очень разных района. Северная сторона — район фешенебельный, шикарный, мы всегда — или почти всегда — жили именно в этом районе. Но есть много старых чикагцев, — коренных чикагцев из хороших, старых семей, вы меня понимаете? — которые до сих пор предпочитают жить на Южной стороне. Там университет, и весь тон жизни там — как бы вам это сказать? — более чопорный, что ли. Не знаю, понятно вам это или нет.

Дик утвердительно кивнул головой. Он все же заставил себя ее слушать.

— Конечно, у нас там много связей — отец финансирует некоторые начинания университета, учредил несколько стипендий и тому подобное.

Вот я и думаю: когда мы приедем домой, нужно сделать так, чтобы Николь побольше общалась со всей этой публикой с Южной стороны — она ведь знает музыку, говорит на нескольких языках, — подумайте, как было бы хорошо для нее, если бы она встретила и полюбила какого-нибудь хорошего молодого врача.

Дик чуть не расхохотался вслух — вот как, Уоррены, значит, решили купить врача для Николь... Нет ли у вас, доктор Дайвер, подходящего экземпляра на примете? В самом деле, к чему тревожиться о Николь, если средства позволяют купить ей новенького, с иголочки, симпатичного молодого врача?

— А если такого не найдется? — машинально подал он реплику.

— Что вы, охотников, я уверена, будет хоть отбавляй.

Танцующие возвращались на свои места. Но Бэби успела добавить торопливым шепотом:

— По-моему это превосходная мысль. Но где же Николь, я ее не вижу. Пошла к себе наверх, что ли? Вот вам пример — ну что мне делать? Я же никогда не знаю, пустяки это или что-нибудь серьезное и нужно бежать ее разыскивать.

— Возможно, ей просто захотелось побыть

одной — после долгого перерыва иногда утомительно все время быть на людях. — Мисс Уоррен явно не слушала, и он прервал свои объяснения. — Я пойду поищу ее.

Туман огородил со всех сторон пространство перед отелем, и это было точно весной в комнате с опущенными шторами. Казалось, там, дальше, уже никакой жизни нет. Проходя мимо соседнего погребка, Дик увидел в окно компанию шоферов, игравших в карты за литром испанского вина. Когда он дошел до аллеи терренкура, над белыми гребнями Высоких Альп прорезались первые звезды. На изогнутой в виде подковы аллее, шедшей по краю обрыва над озером, темнела между двумя фонарями неподвижная фигура; это была Николь. Дик подошел, бесшумно ступая по траве. Она оглянулась: «А, это вы!» — и Дик на мгновение пожалел, что пришел.

— Ваша сестра беспокоится.

— А-а! — Для нее не новостью было, что за ней следят. С усилием она попыталась объяснить: — Иногда я… иногда мне становится трудно. Я так тихо жила последнее время. Сейчас мне стало трудно от музыки. Захотелось вдруг плакать…

— Понимаю.

— Сегодня был очень суматошный день.

— Знаю.

— Я бы не хотела показаться невежливой — и так уж довольно у всех хлопот из-за меня. Но я просто почувствовала, что не могу больше.

Дику вдруг пришла в голову мысль (так умирающему приходит вдруг в голову, что он забыл сказать, где лежит завещание): ведь Домлер и все предшествующие поколения Домлеров «пересоздали» Николь; ведь теперь ее многому придется учить заново. Но этот общий вывод он оставил при себе; вслух же сказал то, чего требовало положение вещей в данную минуту:

— Вы милая, славная девушка, и нечего вам заботиться о том, что про вас подумают другие.

— Я вам нравлюсь?

— Конечно.

— А вы бы… — Они теперь медленно шли к другому концу подковы, до которого оставалось ярдов двести. — Если бы я не болела, вы бы могли, — то есть я хочу сказать, такая девушка, как я, могла бы, — ах, господи, вы сами знаете, что я хочу сказать.

Он почувствовал, что податься некуда, всесокрушающее безрассудство одолевало его. Он слышал свое дыхание, участившееся от ее близости; но и на этот раз выручила дисциплина,

подсказала банальную реплику, отрезвляющий смешок:

— Что за фантазии, милая барышня? Давайте-ка я расскажу вам, как один больной влюбился в ухаживающую за ним сестру… — И посыпались в такт шагам обкатанные фразы анекдота. Вдруг Николь перебила с неожиданной резкостью:

— Чушь собачья!

— Вам не к лицу такие грубые выражения.

— Ну и пусть! — вспыхнула она. — Вы меня считаете безмозглой дурочкой — я и была дурочкой до болезни, но теперь другое дело. Если бы я смотрела на вас и не видела, какой вы красивый, обаятельный, не такой, как все, вы вправе были бы думать, что я все еще не в своем уме. Так что не притворяйтесь, будто, по-вашему, я не знаю, — я все знаю и про себя и про вас, хоть мне от этого только хуже.

Почва уходила у Дика из-под ног. Но он припомнил рассуждения старшей мисс Уоррен о молодых врачах, которых можно приобрести на Южной стороне, в интеллектуальном филиале чикагских скотобоен, и это на миг придало ему силы.

— Вы прелестное существо, но я вообще не умею влюбляться.

— Просто вы не хотите пойти мне навстречу.

— Что-о?

Он был ошеломлен такой бесцеремонностью, такой уверенностью в своем праве на победу. Пойти навстречу Николь Уоррен могло означать только одно: потерять себя, а это было бы слишком.

— Ну почему вы не хотите, почему?

Голос ее совсем упал, ушел внутрь, распирая грудь под натянувшимся лифом платья. Она была теперь так близко, что он невольно напряг руку, чтобы поддержать ее, и сейчас же ее губы, все ее тело откликнулось на это движение. Все расчеты, соображения были теперь ни к чему — как если бы Дик изготовил в лаборатории нерастворимый состав, где атомы спаяны накрепко и навсегда; можно вылить все вон, но разложить на ингредиенты уже нельзя. Он держал ее, вдыхал ее, а она клонилась и клонилась к нему, не узнавая сама себя, вся поглощенная и наполненная своей любовью, умиротворенная и в то же время торжествующая; и Дику казалось, что он уже и не существует вовсе, разве только как отражение в ее влажных глазах.

— Черт возьми, — выдохнул он. — А вас приятно целовать.

Это была попытка заслониться словами, но Николь уже почувствовала свою власть и тешилась ею; с неожиданным кокетством она отпрянула в сторону, и он словно повис в пустоте, как днем, когда фуникулер остановился на полдороге. «Пусть, пусть, — кружилось у нее в голове, — это ему за то, что был бессердечен, мучил меня; но сейчас уже все прекрасно, ах, как прекрасно! Я победила, он мой». Теперь по правилам игры полагалось убежать прочь, но для нее все это было так ново, так чудесно, что она медлила, желая насладиться до конца.

Вдруг дрожь пробрала ее. Далеко-далеко внизу сверкало ожерелье и браслет из огней — Монтре и Веве; а за ними опаловым подвеском переливалась Лозанна. Откуда-то ветер донес обрывок танцевальной мелодии. Николь остыла, сумятица в ее мыслях улеглась, и теперь она ворошила неизжитые сантиметры детских лет с целеустремленностью солдата, торопящегося захмелеть после боя. А Дик стоял почти рядом, уверенно опершись на чугунную ограду, тянувшуюся по краю подковы; и, все еще робея перед ним, она пробормотала:

— Помните, как я вас ждала тогда в парке — всю себя держала в руках, как охапку цветов, готовая

поднести эту охапку вам. По крайней мере, для меня самой это было так.

Он шагнул ближе и с силой повернул ее к себе; она положила руки ему на плечи и поцеловала его, потом еще и еще; ее лицо становилось огромным каждый раз, когда приближалось к его лицу.

— Дождь пошел!

В виноградниках по ту сторону озера вдруг бухнула пушка — пальбой пытались разогнать тучи, которые могли принести град. Фонари на аллее погасли, потом зажглись снова. И тотчас же разразилась гроза: потоки ливня низверглись с небес, побежали по крутым склонам, забурлили вдоль дорог и каменных водостоков; а сверху нависло потемневшее, жуткое небо, молния чертила фантастические зигзаги, раскаты грома сотрясали мир, и над отелем неслись лохматые клочья облаков. Ни гор, ни озера не было больше — отель одиноко горбился среди грохота, хаоса и тьмы.

Но Дик и Николь уже вбежали в вестибюль, где Бэби Уоррен и все семейство Мармора с тревогой дожидались их возвращения. Так увлекательно было вынырнуть вдруг из мокрой мглы, хлопнув дверью с размаху, и громко смеяться от неулег-

шегося волнения, еще слыша свист ветра в ушах и чувствуя, как намокшая одежда липнет к телу. Даже штраусовский вальс из бальной залы звучал по-особенному, пронзительно и зовуще.

…Чтобы доктор Дайвер женился на пациентке психиатрической клиники? Да как это случилось? С чего началось?

— Вы еще вернетесь сюда после того, как переоденетесь? — спросила Бэби Уоррен, испытующе оглядев Дика.

— А мне и переодеваться не во что, разве что в шорты.

Накинув одолженный кем-то дождевик, он взбирался в гору и насмешливо похохатывал себе под нос:

— Завидный случай — ну как же! Решили, значит, приобрести врача в дом. Нет уж, придется вам искать подходящий товар в Чикаго. — Но, устыдившись собственной резкости, он мысленно оправдывался перед Николь, вспоминал неповторимую свежесть ее юных губ, вспоминал, как капли дождя матово светились на ее фарфоровой коже, точно слезы, пролитые из-за него и для него…

Затишье после отбушевавшей грозы разбудило его около трех часов утра, и он подошел к раство-

ренному окну. Красота Николь клубилась вверх по склону горы, вливалась в комнату, таинственно шелестя оконными занавесками…

…На следующее утро он одолел двухкилометровый подъем к Роше-де-Нэй; его позабавила встреча с вчерашним кондуктором фуникулера, который тоже совершал этот подъем, используя свой выходной день.

Из Роше-де-Нэй Дик спустился до самого Монтре, выкупался в озере и успел вернуться в отель к обеду. Две записки ожидали его.

> *Я ни о чем не жалею и ничего не стыжусь, мне еще ни разу в жизни не было так хорошо, как вчера вечером. Даже если я никогда больше не увижу вас, Mon capitaine, все равно, я рада, что так случилось.*

Обезоруживающие строчки — но Дик вскрыл второй конверт, и мрачная тень Домлера сместилась.

Милый доктор Дайвер, я звонила вам по телефону, но не застала. Хочу просить вас о большом, огромном одолжении. Непредвиденные дела срочно требуют моего присутствия в Париже, и я сэкономлю много времени, если поеду через Лозанну. Вы ведь собирались в понедельник вернуться в Цюрих, так нельзя ли, чтобы Николь поехала с вами? А там уж вы бы довезли ее до санатория? Надеюсь, это вас не слишком затруднит.

Уважающая вас Бетт Эван Уоррен

Дик пришел в ярость — ей ведь прекрасно известно, что у него велосипед, но записка составлена в таких выражениях, что отказать невозможно. Нарочно сводит нас вместе! Родственная забота, помноженная на уорреновский капитал!

Но он ошибался: Бэби Уоррен ни о чем таком не помышляла. Она уже подвергла Дика взыскательной оценке, измерила его со всех сторон своей кривой англофильской линейкой и забраковала — несмотря на то что, в общем, он ей пришелся по вкусу. Но он был явно чересчур «интеллигент», и она отправила его на одну полочку с компанией

полунищих снобов, с которой одно время зналась в Лондоне. Слишком высовывается вперед, чтобы можно было счесть его подходящим. Аристократического — как она понимала это слово — в нем, при всем желании, ничего нельзя было найти.

Притом еще и неподатлив — она успела заметить несколько раз, как во время разговора у него вдруг делались пустые глаза; есть такие люди — говорят с вами, а сами витают где-то далеко. Николь еще в детстве раздражала ее своей чрезмерной непринужденностью, а за последнее время она по вполне понятным причинам привыкла считать ее «отпетой»; и, во всяком случае, доктор Дайвер не тот тип врача, которого она мыслила себе в качестве члена семьи. Она просто-напросто хотела использовать его как удобную оказию.

Но вышло именно так, как если бы догадка Дика была верной.

Поездка по железной дороге может быть мучительной, скучной или забавной; иногда это испытательный полет, иногда — эскиз другого, будущего путешествия. Как и всякий день, проведенный вдвоем, она может показаться очень долгой. Утро проходит в спешке, пока оба не спохватываются, что голодны, и не принимаются

закусывать вместе; после полудня время замедляется, ползет почти нестерпимо, но под конец снова набирает скорость. Дику больно было видеть жалкую радость Николь; для нее это все же было возвращение домой, потому что другого дома она не знала. Ничего между ними в тот день не произошло, но когда он простился с ней у ворот скорбного заведения на Цюрихском озере и она, прежде чем войти, еще раз оглянулась на него, он понял, что ее судьба теперь стала их общей судьбой, и это навсегда.

X

В начале сентября доктор Дайвер сидел с Бэби Уоррен за чашкой чаю на террасе цюрихского отеля.

— Едва ли это благоразумно, — сказала она. — Мне как-то не вполне ясны ваши побуждения.

— Не стоит вести разговор в таком тоне.

— В конце концов Николь — моя сестра.

— Это еще не дает вам права разговаривать со мной в таком тоне. — Дика злило, что он должен молчать обо всем, что знает. — Николь богата, но из этого не следует, что я авантюрист.

— То-то и есть, что Николь богата, — не уступая, пожаловалась Бэби. — В этом все дело.

— А сколько у нее денег? — спросил Дик.

Бэби так и подскочила; а он продолжал, мысленно смеясь:

— Видите, как глупо все получается. Я бы предпочел иметь дело с кем-нибудь из ее родственников-мужчин…

— За все, что касается Николь, отвечаю я, — решительно объявила Бэби. — И мы вовсе не утверждаем, что вы авантюрист. Мы просто не знаем, кто вы.

— Я доктор медицины, — сказал он. — Отец мой — священник, теперь уже на отдыхе. Жили мы в Буффало, и в моем прошлом нет тайн. Учился в Нью-Хейвене; потом получил стипендию Родса. Мой прадед был губернатором Северной Каролины, и я — прямой потомок Безумного Энтони Уэйна[41].

— А кто такой был Безумный Энтони Уэйн? — подозрительно спросила Бэби.

— Безумный Энтони Уэйн?

— Во всей этой истории безумства и так достаточно.

Он безнадежно покачал головой и в эту минуту увидел Николь — она вышла на террасу и глаза-

---

[41] Notes: 41

Энтони Уэйн (1745–1796) — американский генерал, получивший за свою отвагу прозвище *Безумный*.

ми искала их.

— Не будь он безумен, он бы, верно, оставил не меньшее наследство, чем Маршалл Филд[42].

— Все это очень хорошо, но…

Бэби была права и не сомневалась в этом. Немного нашлось бы священников, способных выдержать сравнение с ее отцом. Уоррены были по меньшей мере герцогами — только американскими, без титула. Фамилия Уоррен, занесенная в книгу для приезжающих, поставленная под рекомендательным письмом, упомянутая в затруднительных обстоятельствах, в одно мгновенье преображала людей — психологический феномен, который, в свою очередь, воздействовал на Бэби, приучая ее сознавать свое высокое положение. Факты она знала от англичан, у которых на этот счет имелся более чем двухсотлетний опыт. Но она не знала, что в течение разговора за чайным столом Дик дважды едва не швырнул ей в лицо отказ от своего предложения. Спасла дело Николь, которая наконец увидала их и поспешила к их столику, вся сияющая свежестью и белизной, словно только что народившаяся на свет в мягких сентябрьских сумерках.

---

[42] Notes: 42
Маршалл Филд (1834–1906) — американский предприниматель.

Здравствуйте, адвокат. Мы завтра уезжаем на Комо на неделю, а оттуда вернемся в Цюрих. Поэтому я и просила, чтобы вы с моей сестрой поскорей все уладили, а сколько я получу, это нам безразлично. Мы целых два года будем жить в Цюрихе, тихо и скромно, и у Дика денег хватит. Нет, Бэби, совсем я не так непрактична, как ты думаешь, — просто мне если что понадобится, так только на магазины и портних… Что-о, да куда мне столько, я этого и не истрачу никогда. А ты тоже столько получаешь? Почему больше — потому что меня считают неспособной управляться с деньгами? Ну и ладно, пусть моя доля лежит и копится… Нет, Дик не желает иметь к этому никакого касательства. Придется уж мне пыжиться за двоих…

Ничего ты о нем не знаешь, Бэби, просто совершенно не представляешь себе, что он за человек… Где я должна подписаться? Ой, простите…

…Смешно, что мы теперь всегда вместе и одни, правда, Дик? Смешно и немножко странно. Ты ведь никуда не уйдешь, разве что придвинешься еще ближе. Будем любить друг друга, больше ничего и не нужно. Только я люблю сильнее, и я сразу чувствую, когда ты отдаляешься от меня, хотя бы только чуть-чуть. Мне так нравится быть

как все, протянешь руку в постели и чувствуешь, что ты рядом, такой теплый-теплый.

…Будьте добры, позвоните моему мужу в больницу. Да, эта книжка широко разошлась, а теперь будет издана на шести языках. Я сама хотела переводить ее на французский, но я теперь очень быстро устаю — и все время боюсь упасть, такая я стала тяжелая и неуклюжая, точно игрушечный пузанчик на сломанной подставке. Холод стетоскопа с той стороны, где сердце, и такое чувство, что je m'en fiche de tout…[43] Ах, это та бедная женщина, у которой ребенок родился совсем синий, уж лучше бы неживой. Как чудесно, что нас теперь трое, правда?

…Но это же неразумно, Дик, нам ведь и в самом деле нужна квартира побольше. Зачем тесниться и мучить себя только из-за того, что уорреновских денег больше, чем дайверовских? Ах, благодарю вас, моя милая, но мы передумали. Тот английский священник говорил, что тут у вас в Орвието великолепное вино. Вот как, его нельзя перевозить? Тогда понятно, отчего мы о нем никогда не слыхали, а мы любим вино.

Озера точно провалы, берега рыжие, глинистые

---

[43] Notes: 43
Мне на все наплевать… *(фр.)*

и изрезаны складками, как обвисшее брюхо. Фотограф снял меня по дороге на Капри и дал нам карточку: я сижу на скамье, волосы у меня распущены и свешиваются за борт. «Прощай, Голубой грот, — пел лодочник, который нас вез, — нет, не прощай, а до свида-а-анья!» А когда мы пересекали в длину страшное раскаленное голенище итальянского сапога, в зарослях вокруг старинных замков зловеще шелестел ветер и казалось, будто на вершинах холмов притаились и смотрят вниз мертвецы.

Мне нравится этот пароход, особенно когда наши каблуки дружно постукивают по палубному настилу. На повороте ветер прямо сбивает с ног, и всякий раз, когда мы доходим до этого места, я стараюсь повернуться боком и поплотней запахиваюсь в свой плащ, но от Дика не отстаю. Мы поем какую-то ерунду в такт шагам:

А-а-а-а,
Другие фламинго, не я,
А-а-а-а,
Другие фламинго, не я…

С Диком не соскучишься — пассажиры в шезлонгах оглядываются на нас, какая-то дама старается разобрать, что это мы такое поем. Но

Дику вдруг надоедает петь, ну что ж, Дик, шагай дальше один. Только один ты будешь шагать по-другому, милый, воздух вокруг тебя сгустится, придется пробираться через тени шезлонгов, через клубы мокрого дыма из трубы. Увидишь, как твое отражение скользит в глазах тех, кто на тебя смотрит. Кончится твоя обособленность, но это и лучше; нужно войти в жизнь, от нее оттолкнуться.

А я сижу на подпоре спасательной шлюпки и смотрю на море, не подбирая рассыпавшихся волос, пусть треплются и блестят на ветру. Я сижу, неподвижная на фоне неба, а корабль несет меня вперед, в синюю мглу будущего, для того он и существует. Я — Афина Паллада, благоговейно вырезанная на носу галеры. В пароходной уборной журчит вода, а за кормой, бормоча что-то, стелется переливчатая агатово-зеленая ряска пены.

...Мы в тот год много путешествовали — от бухты Вуллумулу до Бискры. У самой Сахары нас накрыла туча саранчи, а наш шофер добродушно уговаривал нас, что это обыкновенные шмели. Небо по ночам было совсем низкое, и чувствовалось присутствие непонятного всевидящего бога.

Мне запомнился бедный голенький Улед Наил[44] и та ночь, полная звуков, — флейты и сенегальские барабаны, и пофыркивание верблюдов, и шаркающие шаги туземцев в сандалиях из старых автомобильных покрышек.

Но я была опять не в себе — поезда, песчаные полосы пляжей, все сливалось в одно. Оттого-то он и повез меня путешествовать, но после рождения второго ребенка, моей маленькой Топси, кругом была только тьма и тьма без просвета.

…Где мой муж, как он мог бросить меня здесь, оставить в руках неучей и тупиц. Вы говорите, у меня родился черный ребенок — что за нелепая, пошлая выдумка! Мы приехали в Африку для того, чтобы увидеть Тимгад, меня больше всего на свете интересует археология. Надоело мне, что я ничего не знаю и что все то и дело напоминают мне об этом.

Когда я выздоровею, хочу сделаться образованным человеком, таким, как ты, Дик, — я бы стала изучать медицину, но боюсь, уже поздно. Давай купим на мои деньги дом — надоели мне эти квартиры, и ожидать тебя надоело. Тебе ведь скучно в Цюрихе, и у тебя здесь не остается вре-

---

[44] Notes: 44

Вероятно, Николь говорит о представителе одноименного кочевого племени в Алжире.

мени, чтобы писать, а ты сам говорил, ученый, который не пишет, не настоящий ученый. А я тоже подберу себе какое-нибудь занятие, что-нибудь такое, что я могла бы изучить как следует, и это мне будет опорой, если со мной опять начнется. Ты мне поможешь, Дик, — я тогда не буду чувствовать себя такой виноватой. И поселимся где-нибудь у моря, где тепло, и мы будем загорать вместе и опять станем молодыми.

...Здесь будет рабочий уголок Дика. Представьте себе, мы это надумали оба, не сговариваясь. Десятки раз мы проезжали мимо Тарма, а тут как-то решили заехать, посмотреть, и оказывается, почти все пустует, кроме двух конюшен. Покупку мы оформили через одного француза, но как только до морского ведомства дошло, что американцы купили часть деревни в горах над морем, сюда сейчас же понаехали шпионы. Все вынюхивали, не припрятаны ли пушки среди строительных материалов, — в конце концов пришлось Бэти пустить в ход свои связи в Affaires Etrangeres[45] в Париже.

Летом на Ривьеру никто не ездит, так что знакомых будет немного и можно будет работать.

---

[45] Notes: 45
Министерство иностранных дел *(фр.)*.

Бывает кое-кто из французов, на прошлой неделе приезжала Мистангет[46], очень удивилась, что отель открыт; потом Пикассо и еще тот, кто написал Pas sur la bouche[47].

...Дик, почему ты записался в отеле «Мистер и миссис Дайвер», а не «Доктор и миссис Дайвер»? Да нет, я просто так — просто мне пришло в голову, — ты сам всегда меня учил, что работа самое главное для человека, я и привыкла так думать. Помнишь, ты говорил, человек должен быть мастером своего дела, а если он перестал быть мастером, значит, он уже ничем не лучше других, и главное, это утвердиться в жизни, пока ты еще не перестал быть мастером своего дела. Если ты теперь хочешь, чтобы все было наоборот, пусть, но скажи, милый, должна ли твоя Николь стать кверху ногами, чтобы не отстать от тебя?

...Томми находит, что я очень молчалива. После того, как я поправилась первый раз, мы с Диком без конца разговаривали по ночам, сидим в постели и курим сигарету за сигаретой, а когда уже начнет синеть за окном, ныряем головой в

---

[46] Notes: 46

Мистангет (настоящее имя — Жанна-Флорентина Буржуа, 1875–1956) — французская певица и актриса.

[47] Notes: 47

«Только не в губы» *(фр.)*.

подушки, чтобы спрятаться от света. Иногда я люблю петь, играть с животными люблю, есть у меня и друзья — Мэри, например. Когда мы с Мэри разговариваем, ни одна не слушает другую. Разговор — дело мужское. Когда я пускаюсь в разговоры, я себе говорю: наверно, теперь я — Дик. А иногда я — мой сын, он такой неторопливый, рассудительный. Я даже доктором Домлером бывала иногда, а когда-нибудь, может, придется стать с какой-то стороны и вами, Томми Барбан. Мне кажется, Томми в меня влюблен, но потихоньку, без назойливости. Достаточно, впрочем, чтобы они с Диком начали раздражать друг друга. А в общем, все у меня сейчас как нельзя лучше. Живу в этом уютном местечке у моря, со мной мой муж, мои дети. Кругом друзья, которые меня любят. Все, все прекрасно — только бы мне еще перевести на французский язык этот окаянный рецепт цыплят по-мэрилендски. До чего приятно зарывать ноги в прогревшийся песок.

Да, да, вижу. Еще новые люди — какая девушка, ах, эта? На кого, вы говорите, она похожа?.. Нет, не смотрела, сюда не часто попадают новые американские фильмы. Розмэри, а дальше? Мы явно превращаемся в модный курорт — вот уж не ожидала, в июле. Да, она хорошенькая, но очень

жаль, если сюда наедет много народу.

XI

Доктор Ричард Дайвер и миссис Элси Спирс сидели в Cafe des Allies под тенью прохладных и пыльных деревьев. С берега, просочившись через Эстерель, налетал временами порыв мистраля, и тогда рыбацкие лодки покачивались у причалов, тыча мачтами в августовское безразличное небо.

— Я только сегодня получила от Розмэри письмо, — сказала миссис Спирс. — Какой ужас эта история с неграми! Воображаю, чего вы все натерпелись. Она пишет, что вы были необыкновенно внимательны к ней и заботливы.

— Розмэри заслуживает медали за храбрость. Да, история была неприятная. Единственный, кого она совершенно не коснулась, это Эйб Норт — он уехал в Гавр. Наверно, даже и не знает ничего.

— Жаль, что это так взволновало миссис Дайвер, — осторожно заметила миссис Спирс. Розмэри ей писала: «Николь стала словно помешанная. Я решила не ехать с ними на юг, потому что Дику и без меня хлопот довольно».

— Она уже оправилась. — В голосе Дика послышалось раздражение. — Значит, завтра вы

уезжаете отсюда. А когда в Штаты?

— Сразу же.

— Очень, очень жаль расставаться с вами.

— Мы рады, что побывали на Ривьере. Нам здесь было очень приятно — благодаря вам. Знаете, ведь вы первый человек, в которого Розмэри влюбилась по-настоящему.

Опять задул ветер с порфировых гор Ла-Напуль. Что-то в воздухе уже предвещало скорую перемену погоды; пышный разгул лета, когда земля словно стоит на месте, пришел к концу.

— У Розмэри были увлечения, но рано или поздно она всегда отдавала героя в мои руки… — миссис Спирс рассмеялась, — …для вивисекции.

— А меня, значит, пощадили.

— С вами бы все равно ничего не помогло. Она влюбилась в вас еще до того, как познакомила вас со мною. И я ее не отговаривала.

Было ясно, что ни он сам, ни Николь не играли в планах миссис Спирс никакой самостоятельной роли — и еще было ясно, что ее аморальность непосредственно связана с ее самоотречением. Это была ее душевная пенсия, компенсация за отказ от собственной личной жизни. В борьбе за существование женщина поневоле должна быть способна на все, но ее редко можно обвинить

в прямой жестокости, это мужской грех. Пока смена радостей и печалей любви совершалась в положенных пределах, миссис Спирс была готова следить за ней с незлобивой отрешенностью евнуха. Она не задумывалась даже о том, что все это может кончиться плохо для Розмэри — или была уверена в невозможности такого исхода.

— Если то, что вы говорите, верно, мне кажется, это не причинило ей особых страданий. — Он все еще притворялся перед собой, что может думать о Розмэри с объективностью постороннего. — И во всяком случае, если что и было, так прошло. Но, между прочим, часто бывает, что с какого-то пустякового эпизода начинается важная полоса в жизни человека.

— Это не пустяковый эпизод, — упорствовала миссис Спирс. — Вы ее первая любовь — она видит в вас свой идеал. В каждом ее письме говорится об этом.

— Она очень любезна.

— Вы и Розмэри — самые любезные люди на свете, но тут она ничего не преувеличивает.

— Моя любезность — парадокс моего душевного склада.

Это было отчасти верно. От отца Дик перенял несколько нарочитую предупредительность тех

молодых южан, что после Гражданской войны переселились на Север. Нередко он пускал ее в ход, но так же нередко презирал себя за это, видя тут не стремление не быть эгоистом, а стремление эгоистом не казаться.

— Я влюблен в Розмэри, — сказал он вдруг. — С моей стороны слабость говорить вам об этом, но мне захотелось позволить себе небольшую слабость.

Слова вышли какие-то чужие и официальные, словно рассчитанные на то, чтобы стулья и столики в Cafe des Allies запомнили их навсегда. Уже он всюду, во всем чувствовал отсутствие Розмэри; лежа на пляже, видел ее плечо, облупившееся от солнца; гуляя по саду в Тарме, затаптывал следы ее ног; а сейчас вот оркестр заиграл «Карнавальную песенку», отзвук канувшей в прошлое моды сезона, и все вокруг словно заплясало, как всегда бывало при ней. За короткий срок ей даны были в дар все снадобья, которые знает черная магия: белладонна, туманящая зрение, кофеин, превращающий физическую энергию в нервную, мандрагора, вселяющая покой.

С усилием он еще раз попытался поверить, будто может говорить о Розмэри с такой же отрешенностью, как ее мать.

— В сущности, вы с Розмэри совсем непохожи, — сказал он. — Весь ум, который она от вас унаследовала, уходит на создание той личины, которую она носит перед миром. Рассуждать она не привыкла; у нее душа ирландки, романтическая и чуждая логики.

Миссис Спирс сама знала, что Розмэри, при всей внешней хрупкости, — молодой мустанг, истинная дочь доктора Хойта, капитана медицинской службы США. Если б можно было вскрыть ее заживо, под прелестным покровом обнаружилось бы огромное сердце, печень и душа, все вперемешку.

Дик вполне сознавал силу личного обаяния Элси Спирс, сознавал, что она для него не просто последняя частица Розмэри — исчезнет, и не останется совсем ничего. Он, быть может, отчасти придумал Розмэри; мать ее он придумать не мог. Если мантия и корона, в которых Розмэри ушла со сцены, были чем-то, чем он наделил ее сам, — тем приятнее было любоваться всей статью миссис Спирс, зная, что уж тут-то он ни при чем. Она была из тех женщин, что готовы ненавязчиво ждать, пока мужчина занят своим делом, куда более важным, чем общение с ними, — командует боем или оперирует больного, когда нельзя ни

торопить его, ни мешать. А кончит — и найдет ее где-нибудь неподалеку, без суеты и нетерпения дожидающуюся его за газетой или чашкой кофе.

— Всего хорошего, и, пожалуйста, не забывайте, что мы вас очень полюбили, и я, и Николь.

Вернувшись на виллу «Диана», он сразу прошел к себе и распахнул ставни, затворенные, чтобы дневной зной не проникал в кабинет. На двух длинных столах в кажущемся беспорядке громоздились материалы его книги. Том первый, посвященный классификации болезней, уже выходил однажды небольшим тиражом на средства автора. Сейчас велись переговоры о новом издании. В том второй должна была войти его первая книжка — «Психология для психиатров», значительно переработанная и расширенная. Как многим другим, ему пришлось убедиться, что у него есть всего две-три идеи и что небольшой сборник статей, только что в пятидесятый раз изданный в Германии, содержит, в сущности, квинтэссенцию всего, что он знает и думает.

Сейчас у него было нехорошо на душе. Томила обида за напрасно потерянные годы в Нью-Хейвене, и остро чувствовалось несоответствие между все растущей роскошью дайверовского обихода и той реальной отдачей, которая бы ее

оправдала. Он вспоминал рассказ своего румынского товарища об ученом, много лет изучавшем строение мозга армадилла, и ему чудилось, что в библиотеках Берлина и Вены уже корпят над его темой методичные, неторопливые немцы. У него почти сложилось решение закруглить работу в ее теперешнем состоянии и выпустить в свет небольшой томик без разработанного аппарата, в качестве введения к будущим, более солидным научным трудам.

Он окончательно утвердился в этом решении, расхаживая по своему кабинету в лучах предзакатного солнца. В таком виде работа может быть к весне сдана в печать. Вероятно, думал он, если человека с его энергией целый год терзают сомнения, мешающие ему работать, это значит, что в самом плане работы допущен просчет.

Он разложил на листках с заметками брусочки позолоченного металла, служившие ему пресс-папье. Потом прибрал комнату (никто из прислуги сюда не допускался), слегка почистил пастой раковину в соседней туалетной, закрепил отошедшую створку ширмы и написал заказ цюрихскому книгоиздательству. Покончив с этими делами, он выпил чуточку джину, разбавив его двойным количеством воды.

В саду за окном показалась Николь. От мысли, что сейчас ему придется встретиться с нею, Дик ощутил свинцовую тяжесть внутри. При ней он обязан был держаться как ни в чем не бывало, и сегодня, и завтра, и через неделю, и через год. Тогда в Париже она всю ночь продремала в его объятиях под действием люминала. Под утро появились было симптомы нового приступа, но он вовремя сумел успокоить ее словами ласки и заботы, и она опять заснула, касаясь его лица душистыми, теплыми волосами. Тогда, осторожно высвободившись, он вышел в другую комнату к телефону и еще до ее пробуждения все устроил и обо всем договорился. Розмэри переедет в другой отель. Переедет, даже не попрощавшись с ними, — «Папина дочка» должна остаться «Папиной дочкой». Мистер Макбет, управляющий, уподобится трем обезьянкам Древнего Китая — ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. Кое-как уложив в чемоданы бесчисленные коробки и свертки с парижскими покупками, Дик и Николь ровно в полдень сели в поезд, уходивший на юг.

Тогда только наступила реакция. Устраиваясь в купе спального вагона, Дик видел, что Николь этого ждет, и это пришло еще до того, как они миновали кольцо парижских предместий — от-

чаянное, щемящее желание соскочить, пока поезд еще не набрал ход, и броситься обратно в Париж, найти Розмэри, узнать, как она, что с ней. Он раскрыл книгу и сквозь пенсне уставился в печатные строки, чувствуя на себе неотступный взгляд Николь, лежавшей напротив. Но читать оказалось невозможно; тогда он закрыл глаза, словно бы от усталости, а она все смотрела на него, откинувшись на подушки, еще чуть одурманенная снотворным, но успокоенная и почти счастливая тем, что он снова принадлежит ей.

С закрытыми глазами было еще хуже; отчетливей слышалось в ритме колес: нашел — потерял, нашел — потерял; но, чтобы не выдать себя, Дик пролежал так до самого ленча. За ленчем он немного рассеялся — он всегда любил эту трапезу посредине дня, если сосчитать все их с Николь ленчи в отелях и придорожных гостиницах, в вагон-ресторанах, буфетах и самолетах, число бы, наверно, перевалило за тысячу. Знакомая беготня поездных официантов, порционные бутылочки вина и минеральной воды, превосходная кухня, как всегда на линии Париж — Лион — Средиземноморье, — все это создавало иллюзию, что ничего не изменилось в их жизни, но, пожалуй, впервые он ехал с Николь, и это был для него

путь откуда-то, а не куда-то. Он выпил почти все вино один, Николь только пригубила стаканчик; они разговаривали о доме, о детях. Но как только они вернулись в купе, разговор иссяк, наступило молчание, как тогда, в ресторане против Люксембургского сада. Когда хочешь уйти от того, что причиняет боль, кажется, будет легче, если повторишь вспять уже раз пройденную дорогу. Странное нетерпение овладело Диком; вдруг Николь сказала:

— Нехорошо все-таки, что мы оставили Розмэри одну. Как ты думаешь, с ней ничего не случится?

— Конечно, нет. Она вполне способна сама о себе позаботиться. — Чтобы это не прозвучало косвенным укором Николь, он поспешил добавить: — В конце концов, она ведь актриса и должна уметь за себя постоять даже при такой бдительной матери, как миссис Спирс.

— Она очень хорошенькая.

— Она еще ребенок.

— Все равно, она хорошенькая.

Они перебрасывались репликами только для поддержания разговора.

— Она не так умна, как мне показалось вначале, — заметил Дик.

— Она не дурочка.

— Да, но — как тебе сказать — все это сильно попахивает детской.

— Она очень-очень привлекательна, — сказала Николь с подчеркнутой независимостью, — и мне очень понравилось, как она играет.

— У нее был хороший режиссер. А игра ее, если вдуматься, лишена индивидуальности.

— Не нахожу. Вообще, она должна очень нравиться мужчинам.

У него оборвалось сердце. Каким мужчинам? Скольким мужчинам?

«…Не возражаете, если я опущу штору?»

«Пожалуйста. Здесь правда слишком светло».

Где она теперь? И с кем?

— Через несколько лет она будет выглядеть старше тебя.

— Напротив. Как-то в театре я попробовала нарисовать ее на обороте программы. Такие лица долго не стареют.

Обоим плохо спалось ночью. Дик знал: день-два спустя он сам постарается изгнать тень Розмэри из своего дома, чтобы она не осталась навсегда замурованной в одной из его стен, но сейчас у него не хватало сил на это. Иногда трудней лишить себя муки, чем удовольствия, а память еще была так ярка, что оставалось одно: притворяться. К тому

же его сердила Николь — за столько лет пора бы научиться самой распознавать признаки напряженности, всегда предшествующей приступу, и не распускать себя. А она за последние две недели сорвалась дважды. Первый раз это было во время званого вечера в Тарме, он тогда проходил мимо спальни и вдруг услышал, как она, бессмысленно хохоча, уверяет миссис Маккиско, что в уборную войти нельзя, так как ключ заброшен в колодец. Миссис Маккиско, ошеломленная, растерялась, смутилась, испугалась даже, но, кажется, что-то поняла. Дик не придал этому случаю большого значения, потому что Николь очень скоро пришла в себя. Она даже звонила потом в отель Госса, но Маккиско уже уехали.

Иное дело парижский приступ, рядом с ним и первый показался серьезнее. Возможно, тут следовало видеть предвестие нового цикла, новой вспышки болезни. То, что он пережил не как врач, а как человек, во время долгого рецидива, случившегося после рождения Топси, закалило его, научило проводить резкую грань между Николь больной и Николь здоровой. Тем труднее было теперь отличить самозащитную отчужденность врача от какого-то нового холодка в сердце. Когда возникшее равнодушие длят или просто не заме-

чают, оно постепенно превращается в пустоту; в этом смысле Дик теперь умел становиться пустым, освобождать себя от Николь, лишь нехотя исполняя свой долг, без участия воли и чувства. Говорят, душевные раны рубцуются — бездумная аналогия с повреждениями телесными, в жизни так не бывает. Такая рана может уменьшиться, затянуться частично, но это всегда открытая рана, пусть не больше булавочного укола. След испытанного страдания скорей можно сравнить с потерей пальца или зрения в одном глазу. С увечьем сживаешься, о нем вспоминаешь, быть может, только раз в году, — но когда вдруг вспомнишь, помочь все равно нельзя.

XII

Николь сидела на садовой скамейке, обхватив себя руками за плечи. Она подняла на Дика серые, ясные глаза, в которых светилось детское, нетерпеливое любопытство.

— Я был в Канне, — сказал Дик. — Встретил там миссис Спирс. Она завтра уезжает. Хотела приехать попрощаться с тобой, но я ее отговорил.

— Напрасно. Я была бы ей очень рада. Она мне нравится.

— И знаешь, кого я там еще видел? Бартоломью

Тэйлора.

— Быть не может!

— Я его издали заприметил, эту физиономию старого хорька не спутаешь ни с кем. Приехал, видно, произвести разведку — в будущем году весь зверинец сюда явится. Так что миссис Абрамс — это только цветочки.

— А Бэби еще ворчала, когда мы жили здесь первое лето.

— Главное, им же совершенно все равно, где быть. Сидели бы себе и мерзли в Довиле.

— Не распустить ли нам слух о какой-нибудь эпидемии — холеры, например?

— Я и то сказал Бартоломью, что некоторые люди в здешнем климате мрут как мухи. Кое-кто, сказал я ему, рискует здесь не меньше, чем пулеметчик в бою.

— Сочиняешь.

— Сочиняю, — признался он. — Мы с ним очень мило побеседовали. Умилительная была картинка, когда мы обменивались дружескими рукопожатиями посреди бульвара. Встреча Уорда Макалистера[48] и Зигмунда Фрейда.

---

[48] Notes: 48

Уорд Макалистер (1827–1895) — американский общественный деятель и публицист, составивший список из четырехсот нью-йоркских семей, принадлежащих, по его мнению, к «хорошему обществу».

Дику не хотелось продолжать разговор. Ему хотелось побыть одному, чтобы мыслями о работе и о завтрашнем дне заслониться от мысли о любви и о сегодняшнем. Николь это чувствовала инстинктом — враждебным инстинктом зверька, который ласкается, но не прочь укусить.

— Радость моя, — сказал Дик чуть небрежно.

Он вошел в дом, успев позабыть, что ему там нужно было, но на пороге сразу вспомнил — рояль. Он сел и, насвистывая, стал подбирать по слуху:

Там на Таити вдали от событий
Мы будем с тобой вдвоем.
В тиши ночной – мы под луной,
Лишь я с тобой
И ты со мной…

В убаюканное сознание вдруг заползла догадка, что Николь расслышит в этой мелодии его тоску о двух минувших неделях. Он оборвал диссонансным аккордом и встал.

Он огляделся, не зная, куда пойти. Это был дом, созданный Николь, оплаченный деньгами ее деда. Ему тут принадлежал только флигель, где помещался его кабинет, да клочок земли под ним. На свои три тысячи в год и то, что перепадало за

случайные публикации, он одевался, пополнял винный погреб и покрывал свои карманные расходы и расходы по воспитанию Ланье, пока что сводившиеся к жалованью бонне. В любом предприятии Николь Дик всегда оговаривал свою долю участия. Он сам жил довольно скромно, без Николь ездил всегда третьим классом, пил самое дешевое вино, берег свою одежду, наказывал себя за каждую лишнюю трату и таким образом ухитрялся сохранять некоторую финансовую самостоятельность. Но это было все трудней и трудней; то и дело приходилось раздумывать вместе о том, что можно бы сделать на деньги Николь. И конечно, Николь, желая закрепить свою власть над ним, желая, чтобы он всегда оставался при ней, цеплялась за всякое проявление слабости с его стороны; нелегко было сопротивляться заливавшему его потоку вещей и денег. Силой обстоятельств их все дальше отводило от нехитрых, в общем, условий, на которых заключен был когда-то в Цюрихе их союз. Типичным примером могла служить история виллы на скалах, которая родилась как фантазия, а потом незаметно сделалась фактом. «Как чудесно было бы, если бы…» — говорили они вначале; «как чудесно будет, когда…» — стали говорить потом.

Но вышло все не так уж чудесно. Затеи Николь вторгались в его работу и мешали ей; кроме того, стремительный рост ее доходов в последнее время словно бы обесценивал эту работу. И еще: ради забот о ее здоровье он много лет притворялся убежденным домоседом, лишь изредка позволяя себе отдаляться от семейного очага; это притворство стало тягостным в замкнутом, неподвижном мирке, где он все время чувствовал себя точно под микроскопом. Если уж он не решается играть то, что ему хочется играть в данную минуту, значит, жизнь доведена до точки. Дик долго еще сидел в большой комнате с роялем посередине и слушал жужжание электрических часов — слушал, как движется время.

В ноябре море почернело, волны все чаще перехлестывали через дамбу, докатываясь до прибрежной дороги. Исчезли последние следы летней жизни, и пустынные пляжи сиротливо скучали под мистралем и дождем. Отель Госса закрылся для ремонта и перестройки, а летнее казино в Жуан-ле-Пен все еще стояло в лесах, хоть и разрослось до внушительных размеров. В Канне и Ницце завелись у Дайверов новые знакомые — рестораторы, оркестранты, садоводы, судостроители (Дик купил себе видавший виды

моторный бот), члены Sindicat d'initiative[49], Дик и Николь изучали повадки своей прислуги, размышляли над воспитанием детей. К декабрю Николь совершенно окрепла; за целый месяц Дик не подметил ни разу напряженного взгляда, сжатых губ или беспричинной улыбки, не услышал ни одной бессмысленной фразы, и на Рождество они уехали в Швейцарские Альпы.

XIII

Перед тем как войти, Дик шапочкой стряхнул снег с синего лыжного костюма. В просторном холле уже раздвинули после чаепития мебель, и на полу, за двадцать лет, точно оспой, изрытом гвоздями лыжных ботинок, резвилось до сотни юных американцев, воспитанников окрестных школ, прыгая под веселый напев «Не приводи Лулу» или дергаясь в судорожных ужимках чарльстона. Здесь была колония молодежи, простодушной и нерасчетливой, — штурмовые отряды богачей сосредоточивались в Сент-Морице. Бэби Уоррен чувствовала, что совершила акт самоотречения, согласившись поехать с Дайве-

[49] Notes: 49

Синдикат инициативы *(фр.)* — организация для выявления местных ресурсов.

рами в Гстаад.

Дику было нетрудно заметить сестер в пестром, мерно колышущемся многолюдье, благодаря их эффектным, броским, как плакаты, лыжным костюмам — небесно-голубой у Николь, кирпично-красный у Бэби. Рослый молодой англичанин что-то говорил им, но они не слушали; завороженные ритмом танца, они не отрывали глаз от танцующих.

Разрумянившееся от снега лицо Николь еще больше порозовело, когда она увидела Дика.

— Ну, где же он?

— Опоздал на поезд, приедет следующим. — Дик сел, заложив ногу на ногу и покачивая тяжелым ботинком. — До чего же вы обе эффектны рядом. Право, я порой забываю, что мы здесь вместе, и только что не ахаю при виде вас.

Бэби была высокая красивая брюнетка, стойко державшаяся на подступах к тридцати. Она привезла с собой из Лондона двоих спутников — вчерашнего кембриджского студента и пожилого распутника викторианского образца. В Бэби уже проявлялись кой-какие стародевьи особенности — она была сверхчувствительна к посторонним прикосновениям, вздрагивала, если до нее дотрагивались неожиданно, а такие

длительные контакты, как поцелуи или объятия, непосредственно впечатывались в ее сознание, минуя плоть. Она была скупа на жесты, требовавшие участия всего корпуса, предпочитая топать ногами и немного по-старомодному встряхивать головой. Она наслаждалась предощущением смерти в случае несчастья с кем-либо из знакомых и со вкусом размышляла о трагической участи Николь.

Младший из ее англичан опекал сестер во время лыжных прогулок или катался с гор на санях. Дик в первый же день растянул связку, делая чересчур рискованный телемарк, и потому мог лишь потихоньку кататься на «детской горке» вместе с ребятишками или же вовсе оставался в отеле и попивал квас в обществе одного русского врача.

— Тебе же скучно, Дик, — приставала к нему Николь. — Познакомился бы с какими-нибудь молоденькими девочками, ходил бы с ними танцевать после чаю.

— А что я им стану говорить?

— Ну что говорят в таких случаях? — Она искусственно повысила свой низкий, чуть глуховатый голос и кокетливо засюсюкала: — «Ах, что может быть лучше молодости!»

— Терпеть не могу молоденьких девочек. От них пахнет мылом и мятными леденцами. Когда с ними танцуешь, кажется, будто катишь детскую коляску.

Это была опасная тема, и Дик ни на минуту не забывал об осторожности — старался даже не смотреть на молодых девушек, а куда-то поверх их голов.

— Есть кое-какие неотложные дела, — сказала Бэби. — Во-первых, я получила письмо из дому — насчет того участка, который у нас всегда назывался привокзальным. Середина его давно была куплена железнодорожной компанией. А теперь та же компания купила все остальное. Эта земля — часть нашего наследства после мамы. Встает вопрос о помещении полученных денег.

Желая показать, что столь низменные материи его не интересуют, англичанин пошел приглашать кого-то на танец. Бэби проводила его томным взглядом американки, с колыбели обожающей все английское, а потом вернулась к прежнему разговору:

— Деньги немалые. На долю каждой из нас приходится по триста тысяч. Я умею следить за своими капиталовложениями, но Николь в этом

ничего не смыслит, и не думаю, чтобы вы смыслили много больше.

— Мне пора, а то не поспею к приходу поезда, — уклончиво сказал Дик.

Шел снег, и с дыханием попадали в нос мокрые снежинки, неразличимые в наступившей темноте. Трое мальчишек на санках пронеслись мимо, выкрикнув предостережение на непонятном языке; через минуту их крик долетел уже снизу, из-за поворота. Где-то сбоку звенели бубенцы поднимающихся в гору конных саней. Станция вся сверкала праздничным оживлением, юноши и девушки весело ожидали прибытия новых юношей и девушек; ритм веселья передался и Дику, и он встретил сошедшего с поезда Франца Грегоровиуса с таким видом, будто еле-еле урвал полчаса в непрерывной смене развлечений. Но Франц был поглощен одной целью, и никакие настроения Дика не могли его от этой цели отвлечь. «Я попробую на денек выбраться в Цюрих, — говорилось в письме, полученном им от Дика, — а может быть, вы не поленитесь приехать в Лозанну?» Франц не поленился приехать даже в Гстаад.

Францу было теперь сорок. Его зрелость здорового человека хорошо сочеталась с профессиональной приятностью манер, но надежней

всего была для него броня легкого педантизма, позволявшая презирать тех богатых пациентов, которых он должен был заново учить жизни. Наследие предков раскрывало перед ним широкие горизонты науки, но, как видно, он сам предпочел более скромную жизненную позицию и подтвердил это выбором жены. В отеле Бэби Уоррен подвергла его мимолетному осмотру и, не обнаружив заслуживающего уважения пробирного клейма, не узрев ни одной из тех изощренных особенностей натуры или поведения, по которым узнают друг друга представители привилегированных классов, в дальнейшем уделяла ему внимание лишь по второму разряду. Николь его побаивалась. Дик же относился к нему, как всегда относился к друзьям, — с симпатией без оговорок.

Вечером они спустились в селение на небольших санях, игравших здесь ту же роль, что гондолы в Венеции. В селении была харчевня, старая швейцарская харчевня с бревенчатыми стенами, гулко отражавшими звук, с часами, бачками, кружками и оленьими рогами. Длинные столы стояли впритык, так что казалось, тут пирует одна большая компания: все ели fondue — нечто вроде гренок с сыром по-валлийски, только

еще более неудобоваримое — и запивали глинтвейном.

Веселье шло шумное — «дым столбом», изрек молодой англичанин, и Дик согласился, что лучше не скажешь. Горячее, сдобренное пряностями вино ударило в голову, и он почувствовал себя лучше, словно все в мире стало опять на свои места благодаря седовласым ветеранам золотых девяностых годов, что горланили у пианино старые песни, и вторившим им молодым голосам, и ярким пятнам костюмов, расплывавшимся в сизом от курева воздухе. На миг ему примерещилось, будто он на корабле и земля уже близко; девичьи лица вокруг полны были ожидания чего-то, что сулило им это веселье и эта ночь. Дик украдкой глянул по сторонам — здесь ли маленькая американочка, которую он заприметил раньше; почему-то ему казалось, что она сидит за соседним столом. Но он тут же забыл про нее и стал плести какие-то небылицы на забаву своим спутникам.

— Мне нужно поговорить с вами, — негромко сказал Франц по-английски. — К сожалению, я не могу здесь долго оставаться.

— Я так и понял, что у вас что-то есть на уме.

— У меня есть план — замечательный план. —

Он уронил на колено Дика тяжелую руку. — План, который содержит небывалые перспективы для нас обоих.

— Я слушаю.

— Дик, есть возможность нам с вами приобрести собственную клинику. Помните заведение Брауна на Цугском озере? Клиника старая, но оборудование там современное, во всяком случае, большая его часть. Браун болен и хочет уехать в Австрию, — умирать, как я понимаю. Такой случай выпадает раз в жизни. Вы да я — лучше пару и подобрать трудно. Только не говорите ничего, дайте мне кончить.

По желтым огонькам в глазах Бэби Дик понял, что она прислушивается.

— Это будет наше общее дело. Вы получите базу, лабораторию, собственный экспериментальный центр. И это вас не так уж свяжет — достаточно, если вы будете проводить на месте полгода, самые лучшие месяцы. А на зиму сможете уезжать в Америку или во Францию и писать свои книги на основе новейшего клинического материала. — Он несколько понизил голос. — И для вашей семьи тоже может оказаться полезной близость клиники с ее атмосферой, ее налаженным режимом. — Эта тема явно не встретила

сочувственного отклика, и Франц поторопился как бы поставить точку, высунув и тотчас же спрятав кончик языка. — Мы с вами разделим функции. Я буду главным администратором, а вы — теоретиком, высококвалифицированным консультантом и все такое прочее. Я знаю себе цену. У меня нет того, что называется талантом, а у вас есть. Но меня считают хорошим клиницистом, и я основательно знаком с современными методами лечения. Мне ведь подолгу приходилось фактически руководить клиникой. Профессор в восторге от этого плана, он меня, как говорится, благословил обеими руками. Тем более что сам он, по его словам, собирается жить вечно и работать до последней минуты.

Дик мысленно рисовал себе все это в образах, прежде чем подойти к вопросу по-деловому.

— Ну, а финансовая сторона? — спросил он наконец.

Все в Франце пришло в движение — подбородок, брови, неглубокие морщинки на лбу, пальцы, локти, плечи; мышцы ног так напряглись, что обозначились под плотной материей, сердце подкатилось к самому горлу, голос возникал где-то прямо во рту.

— Вот в этом-то и загвоздка! Деньги! — горест-

но воскликнул он. — Денег у меня мало. Браун оценил клинику в двести тысяч долларов на американские деньги. Необходимая модернизация, — последнее слово он отчеканил, пробуя на вкус каждый слог, — обойдется в двадцать тысяч долларов. Но эта клиника — золотое дно. Я в этом убежден, хотя даже еще не знакомился с делами. Вложив в нее двести двадцать тысяч долларов, мы можем рассчитывать на твердый доход не меньше, чем…

Бэби уже просто сгорала от любопытства, Дик решил сжалиться над ней.

— Скажите, Бэби, — обратился он к ней, — ведь верно, если европейцу срочно понадобился американец, можно ручаться, что речь пойдет о деньгах?

— А в чем дело? — невинно спросила она.

— Вот этот молодой приват-доцент желает, чтобы мы с ним пустились в большую коммерцию — открыли лечебницу с расчетом на американских пациентов.

Франц с тревогой воззрился на Бэби, а Дик между тем продолжал:

— Но кто мы такие, Франц? Вы носите имя, прославленное отцом и дедом, а я написал два учебника психиатрии. Довольно ли этого, чтобы

привлечь больных? И потом, у меня тоже нет таких денег — даже и десятой доли нет. — Он поймал недоверчивую усмешку Франца. — Честное слово, нет. Николь и Бэби богаты как Крезы, но мне пока не удалось прибрать к рукам их богатство.

Теперь вся компания слушала их разговор, — может быть, и та девушка за соседним столом тоже, подумал Дик. Эта мысль показалась ему забавной. Он решил — пусть Бэби поговорит за него; мы часто позволяем женщинам вести спор, исход которого от них не зависит. Бэби вдруг стала копией своего деда, такая же трезвая и предприимчивая.

— По-моему, вам стоит подумать над этим предложением, Дик. Я, правда, не слышала, что говорил доктор Грегори, но мне лично кажется…

Девушка за соседним столом нагнулась в облаке дыма и зачем-то шарила по полу. Лицо Николь приходилось как раз напротив лица Дика — ее красота, сейчас намеренно трогательная, ищущая, притягивала его любовь, всегда готовую служить ей оплотом.

— Подумайте, Дик, прошу вас, — взволнованно настаивал Франц. — Нельзя писать книги по психиатрии без клинической базы. Юнг, Блей-

лер, Фрейд, Форель, Адлер — все они постоянно наблюдают случаи умственного расстройства клинически.

— А я на что? — засмеялась Николь. — Одного этого случая Дику, пожалуй, предостаточно.

— Тут совсем другое дело, — осторожно возразил Франц.

А Бэби уже думала о том, что если Николь будет жить при клинике, можно будет вовсе не беспокоиться за нее.

— Мы постараемся обдумать это самым тщательным образом, — сказала она.

Ее нахальство рассмешило Дика, но все же он решил ее немного одернуть.

— Вопрос касается меня, Бэби, — заметил он мягко. — Я, конечно, очень тронут тем, что вы готовы преподнести мне в подарок клинику.

Чувствуя, что допустила бестактность, Бэби поспешила отстраниться.

— Разумеется, это ваше личное дело.

— Вопрос настолько серьезный, что сразу его не решишь. Помимо всего прочего, я не очень себе представляю, каково нам с Николь будет вдруг очутиться на привязи в Цюрихе… — Он повернулся к Францу, предвосхищая его ответ. — Да, да, я знаю. В Цюрихе есть и водопровод, и газ, и

электричество — я там прожил три года.

— Я не буду торопить вас с ответом, — сказал Франц. — Но я уверен, что…

Сто пар пятифунтовых башмаков затопали к выходу, и Дик с компанией последовал за всеми. Снаружи, в холодноватом свете луны, он снова увидел ту девушку, она привязывала свои санки к последним из стоявших в ряд конных саней. Они нашли свои сани, забрались в них, и лошади тронулись под звонкое щелканье кнутов, вламываясь грудью в ядреный воздух. Кто-то цеплялся на ходу, кто-то бежал вдогонку, самые молодые сталкивали друг друга в мягкий неслежавшийся снег, снова догоняли бегом и, запыхавшись, валились на санки или вопили, что их хотят бросить. Кругом тянулись полные благостного покоя просторы; дорога шла вверх, неуклонно и бесконечно. Возня и шум вскоре утихли, казалось, древний инстинкт заставляет людей прислушиваться, не раздастся ли в снежных далях волчий протяжный вой.

В Саанене они вдруг надумали побывать на балу в ратуше и вмешались в толпу пастухов, горничных, лавочников, лыжных инструкторов, гидов, туристов, крестьян. После пантеистического ощущения беспредельности, испытанного

на дороге, вновь попасть в тесноту и духоту замкнутого пространства было все равно что зачем-то вернуть себе пышный нелепый титул, гремучий, как сапоги со шпорами, как топот футбольных бутсов по бетонному полу раздевалки. В зале пели тирольские песни, и знакомые звуки йодля разрушили романтический флер, под которым Дику предстала в первый момент вся картина. Настроение у него испортилось: он подумал было — оттого что пришлось выбросить из головы ту девушку, но потом в памяти всплыла фраза Бэби: «Мы постараемся обдумать это самым тщательным образом...», и то, что за нею слышалось: «Вы наша собственность и рано или поздно должны будете признать это. Просто глупо прикидываться независимым».

Уже давно Дику не случалось таить злобу против кого-то — с тех пор, как студентом-первокурсником он набрел на популярную статью об «умственной гигиене». Но Бэби возмутила его своим хладнокровным нахальством богачки, и ему нелегко было это возмущение сдерживать. Сотни и сотни лет пройдут, должно быть, прежде чем подобные амазонки научатся — не на словах только — понимать, что лишь в своей гордости человек уязвим по-настоящему; но уж если это

затронуть в нем, он становится похож на Шалтая-Болтая. Профессия Дика Дайвера научила его бережно обращаться с людьми. И тем не менее.

— Слишком все стали обходительны в наши дни, — сказал он, когда сани, плавно скользя, уже несли их к Гстааду.

— Что ж, это очень хорошо, — отозвалась Бэби.

— Нет, не очень хорошо, — возразил он, обращаясь к безликой связке мехов. — Ведь что подразумевается под чрезмерной обходительностью — все люди, мол, до того чувствительные создания, что без перчаток к ним и притрагиваться нельзя. А как же тогда с уважением к человеку? Непростое дело обозвать кого-то лгуном или трусом, но если всю жизнь щадить людские чувства и потворствовать людскому тщеславию, то в конце концов можно потерять всякое понятие о том, что в человеке действительно заслуживает уважения.

— Мне кажется, американцы очень большое значение придают манерам, — заметил пожилой англичанин.

— Очень, — подтвердил Дик. — У моего отца, например, манеры были наследственные — от тех времен, когда люди сначала стреляли, а потом приносили извинения. Человек при ору-

жии — впрочем, вы, европейцы, еще в начале восемнадцатого столетия перестали носить оружие в мирное время…

— В буквальном смысле, пожалуй…

— В буквальном смысле. И во всех прочих.

— У вас всегда были прекрасные манеры, Дик, — примирительно сказала Бэби.

Женщины, похожие на зверушек в своих меховых одеяниях, с тревогой поглядывали на Дика. Младший англичанин ничего не понял — он был из тех молодых людей, что обожают лазить по карнизам и подоконникам, чувствуя себя при этом моряками на парусном судне, — и стал длинно и нудно рассказывать о поединке, который у него был с его лучшим другом, — как они целый час любовно колошматили друг друга по всем правилам кулачного боя. Дик развеселился.

— Значит, с каждым ударом, который он вам наносил, вы все больше ценили в нем друга?

— Я все больше уважал его.

— Мне непонятно самое начало этого дела. Вы с вашим другом ссоритесь из-за пустяка…

— Если вам непонятно, объяснять не берусь, — холодно возразил молодой англичанин.

«Вот так оно всегда и кончается, если пробуешь говорить то, что думаешь», — сказал себе Дик.

Ему сделалось стыдно — ну зачем было дразнить этого малого с его дурацким рассказом, вдвойне дурацким оттого, что неясная самому рассказчику суть сочеталась с претенциозностью изложения.

Дух карнавального веселья еще брал свое, спать не хотелось, и все гурьбой повалили в ресторан. Бармен-тунисец искусно маневрировал освещением в зале, создавая сложный световой контрапункт, где ведущей мелодией было сиянье луны за окном, отраженное от ледяной поверхности. Та девушка тоже была там, но в причудливом свете она точно слиняла, и Дик потерял к ней интерес. Куда приятней было смотреть, как меняет оттенки полутьма ресторана, как то серебром, то зеленью вспыхивают в ней огоньки сигарет, а порой, если кто-то вдруг откроет наружную дверь, сквозь толпу танцующих протягивается белая полоса.

— Скажите, Франц, — спросил Дик, — неужели вы думаете, что, просидев всю ночь напролет за кружкой пива, можно потом явиться к пациентам и внушить им доверие? Да они сразу же увидят, что вы забулдыга, а не врач.

— Я иду спать, — объявила Николь. Дик пошел проводить ее к лифту.

— Я бы и сам не прочь, но мне еще нужно доказать Францу, что я в клиницисты не гожусь.

Николь вошла в кабину.

— У Бэби много здравого смысла, — задумчиво сказала она.

— Бэби из тех, кто…

Дверь лифта захлопнулась, и Дик мысленно договорил под гуденье вибрирующих тросов: «Бэби — ограниченная, расчетливая эгоистка».

Но через два дня, провожая Франца на станцию, Дик сказал, что подумал и склонен согласиться.

— Мы, видно, попали в заколдованный круг, — сказал он. — Жизнь, которую мы ведем, требует все большего и большего напряжения, и Николь это не по силам. А нашей летней идиллии на Ривьере пришел конец — в будущем году там уже можно ждать всех прелестей модного курорта.

Они ехали мимо горных катков, над которыми гремели венские вальсы и полоскались в воздухе флажки разных школ, расцвечивая пастельно-голубое небо.

— …Что ж, попробуем, Франц, авось дело пойдет. Ни с кем другим я бы на это не решился.

Прощай, Гстаад! Прощайте, разрумяненные морозом лица, холодные, свежие цветы, снежинки в темноте. Прощай, Гстаад, прощай!

XIV

Дику снилась война; в пять часов он проснулся и подошел к окну, выходившему на Цугское озеро. Начало сна было мрачно-торжественным: синие мундиры маршировали по темной площади под музыку из «Любви к трем апельсинам»[50] Прокофьева. Потом были пожарные машины — символы бедствия, и под конец жуткий бунт раненых на перевязочном пункте. Дик зажег лампу у изголовья и сделал подробную запись, полуиронически пометив ее: «Тыловая контузия».

Он сидел на краю кровати, и ему казалось, что вокруг него пустота — пустая комната, пустой дом, пустая ночь. В соседней спальне Николь горестно застонала со сна; видно, ей снилось что-то неприятное, и Дик ее пожалел. Для него время то вовсе не двигалось, то вдруг мелькало, как перематываемый фильм, но для Николь годы уходили в прошлое по часам, по календарю, по дням рождения, щемяще напоминавшим о непрочности ее красоты.

Вот и эти полтора года на Цугском озере прошли

---

[50] Notes: 50

Опера (1919) по мотивам одноименной сказки итальянского писателя К. Гоцци, впервые поставленная в Чикаго.

для нее впустую, даже о смене времен года можно было судить только по лицам дорожных рабочих — в мае они краснели, в июне становились коричневыми, в сентябре были почти черными, а к весне снова успевали побелеть. Вернувшись в жизнь после первого приступа болезни, она так полна была надежд, так многого ждала, но жить оказалось нечем, кроме Дика, кроме детей, которых она растила без настоящей любви к ним, точно взятых на воспитание сирот. Ей нравились люди особого склада, бунтари, но общение с ними ей было вредно, нарушало ее покой; она искала секрет той силы, что питала их независимость, или способность к творчеству, или уменье идти напролом, но искала напрасно — секрет таился в борениях детства, давно и накрепко позабытых. А в Николь их интересовали только внешние черты — красота, обманчивая гармония, под которой пряталась ее болезнь. И она была одинока рядом с принадлежавшим ей Диком, который никому не хотел принадлежать.

Дик много раз пытался ослабить свою власть над ней, но из этого ничего не выходило. Им часто бывало хорошо вместе, немало чудесных ночей они провели, чередуя разговоры с любовью, но он, уходя от нее, уходил в себя, а она оставалась

ни с чем — держалась за это Ничто, смотрела на него, называла его разными именами, но знала: это всего лишь надежда, что скоро вернется к ней он.

Дик скомкал свою подушку, лег и подсунул ее под затылок, как делают японцы, чтобы замедлить кровообращение. Ему удалось еще немного поспать. Николь встала, когда он уже брился, ему слышно было, как она ходит по комнатам, коротко отдавая распоряжения прислуге и детям. Ланье пришел посмотреть, как отец бреется. За то время, что они жили при клинике, он стал с особым доверием и восхищением относиться к отцу и с преувеличенным безразличием к большинству других взрослых. Больные в его глазах были либо какие-то чудаки, либо скучные, чересчур благовоспитанные люди, лишенные индивидуальности. Он был красивый, занятный мальчуган, и Дик уделял ему много времени; их отношения напоминали отношения доброго, но взыскательного офицера с почтительным рядовым.

— Папа, — сказал Ланье, — почему, когда ты бреешься, у тебя всегда остается немножко пены на макушке?

Дик осторожно разлепил мыльные губы.

— Вот не знаю. Меня это самого удивляет. Наверно, вымазываю палец пеной, подравнивая бачки, а уж как она потом попадает на макушку, понятия не имею.

— Я завтра посмотрю с самого начала.

— Больше вопросов у тебя до завтрака не будет?

— Ну, это разве вопрос?

— Конечно, я тебе его засчитал.

Полчаса спустя Дик вышел из дому и направился в административный корпус. Ему недавно исполнилось тридцать восемь; он все еще не носил бороды, но что-то профессиональное, докторское появилось в его облике, чего совсем не было на Ривьере. Уже полтора года он жил и работал в клинике, по оборудованию, несомненно, одной из лучших в Европе. Как и клиника Домлера, это была лечебница нового типа — не одно темное, угрюмое здание, а отдельные домики, живописно разбросанные, но образующие незаметную для глаза систему. Вкус Дика и Николь сказался в организации дела — все здесь действительно радовало глаз, и недаром каждый психиатр, хоть проездом оказавшийся в Цюрихе, считал своим долгом заглянуть на Цугское озеро. Еще бы склад принадлежностей для гольфа и тен-

ниса, и клиника легко могла сойти за загородный клуб. «Шиповник» и «Буки», домики, отведенные тем, для кого свет мира померк безвозвратно, зелеными рощицами отгорожены были от главного корпуса — укрепления, скрытые под искусным камуфляжем. Дальше протянулись обширные огороды, часть их обрабатывалась пациентами клиники. Были также три мастерские для лечения трудом, расположенные под одной крышей, и с них доктор Дайвер начал свой утренний обход. В плотничьей мастерской, насквозь просвеченной солнцем, стоял вкусный запах опилок, запах давно минувшего деревянного века; человек пять-шесть уже принялись за работу, строгали, пилили, сколачивали — все это молча; когда Дик вошел, они только оглянулись на него тоскливыми глазами. Дик, сам мастер на всякие поделки из дерева, завел разговор о качестве плотничьих инструментов, говорил он спокойно, неторопливо, с искренним интересом. Рядом была переплетная; здесь трудились больные, более подвижные по натуре, что, впрочем, не означало больших шансов на излечение. В третьей мастерской ткали, низали бисер, занимались чеканкой по металлу. Работающие здесь порой облегченно вздыхали — с таким видом, будто только что отказались

от решения непосильной задачи, но их вздохи знаменовали лишь начало нового круга размышлений, не шедших по прямой, как у нормальных людей, а все время вращавшихся в одной плоскости. Кругом, кругом, кругом. И так без конца. Но от яркой пестроты материалов, употреблявшихся в этой мастерской, у случайного посетителя в первый миг создавалась иллюзия, будто здесь просто идет веселая игра в труд, как в детском саду. При виде доктора Дайвера многие заулыбались. Большинство пациентов клиники предпочитало его доктору Грегоровиусу — главным образом те, кто успел повидать иную жизнь, иной мир. Но были и такие, которые обвиняли его в недостатке внимания, в хитрости или в позерстве. Все это не так уж отличалось от того отношения, которое Дик встречал в среде здоровых людей, только здесь все чувства были преувеличены и искривлены.

Одна англичанка заговорила с ним на тему, которую считала своей монополией.

— У нас сегодня будет музыка?

— Не знаю, — ответил Дик. — Я еще не видел доктора Ладислау. А как вам понравился прошлый концерт, когда играли миссис Закс и мистер Лонгстрит?

— Так себе.

— По-моему, исполнение было прекрасное — особенно Шопен.

— А по-моему, так себе.

— Когда же наконец вы нам поиграете?

Она пожала плечами, как всегда польщенная этим вопросом.

— Как-нибудь. Но я ведь играю неважно.

Все знали, что она вовсе не умеет играть — две ее сестры стали выдающимися музыкантшами, а ей в детстве не удалось даже выучить ноты.

Из мастерских Дик пошел к «Шиповнику» и «Букам». Снаружи эти домики выглядели так же уютно, как все остальные. Николь придумала отделку помещений, скрывавшую от глаз решетки, запоры, тяжесть мебели, которую нельзя было сдвинуть с места. Воображение, подстегнутое сутью задачи, заменило изобретательность, которой она была лишена, и помогло добиться успеха — никому из непосвященных в голову не пришло бы, что изящные филигранные сетки на окнах надежно заменяют оковы, что модные стулья из гнутых металлических трубок тяжелее массивных изделий прошлых веков; даже вазы для цветов были намертво закреплены в гнездах, и любые украшения, любые завитушки были так же необходимы на своем месте, как опорные

балки в перекрытиях небоскребов. В каждой комнате Николь сумела использовать все, что можно. А в ответ на все похвалы называла себя слесарных дел мастером.

Для тех, у кого стрелка в компасе не была размагничена, в этих домиках многое показалось бы непонятным. В «Шиповнике», мужском отделении, содержался больной эксгибиционист, беседы с которым порой забавляли Дика. Этот странный тщедушный человечек настаивал, что, если бы ему без помехи дали пройти нагишом от Триумфальной арки до площади Согласия, многие проблемы были бы решены, — может быть, он и прав, думал Дик.

Самая интересная его больная помещалась в главном корпусе. Это была тридцатилетняя американка, поступившая в клинику полгода назад; она была художницей и долгое время жила в Париже. В ее истории оставалось много неясного. Какой-то родственник, приехав в Париж, увидел, что она, как говорится, не в себе, и после бесплодных попыток лечения в одной из маленьких загородных больничек, где в основном лечили туристов от запоя и страсти к наркотикам, ему удалось привезти ее в Швейцарию. Тогда это была на редкость хорошенькая

женщина, но за шесть месяцев она превратилась в сплошную болячку. Все анализы крови давали отрицательный результат, и в конце концов был установлен довольно неопределенный диагноз: нервная экзема. Последние два месяца она уже не поднималась с постели, вся покрытая струпьями, точно закованная в железо. Но мысль ее работала четко, даже с блеском, в круге, очерченном привычными галлюцинациями.

Она считалась личной пациенткой Дика. В период острого возбуждения никто другой из врачей не мог с нею сладить. Как-то раз, после того как ее много ночей изводила бессонница, Францу удалось гипнозом усыпить ее на несколько часов, но это было только один-единственный раз. Дик не очень верил в гипноз и редко им пользовался, зная, что далеко не всегда может привести себя в нужное состояние, — однажды он пробовал гипнотизировать Николь, но она только презрительно высмеяла его.

Когда он вошел в комнату номер двадцать, лежавшая на кровати женщина его не увидела — глаза ее так запухли, что уже не открывались. Она заговорила глубоким, звучным, волнующим голосом:

— Когда же это кончится? Может быть, нико-

гда?

— Потерпите еще немного. Доктор Ладислау сказал мне, что уже довольно большие участки кожи очистились.

— Если бы я хоть знала, за что мне такая кара, я бы тогда смирилась.

— Не стоит вдаваться в мистику — мы считаем, что это просто нервное заболевание особого вида. Оно связано с тем же механизмом, который заставляет человека краснеть. Вы легко краснели в юности?

Ее лицо было обращено к потолку.

— Мне не за что было краснеть с тех пор, как у меня прорезались зубы мудрости.

— Неужели вы не совершали никаких ошибок, никаких мелких прегрешений?

— Мне себя не в чем упрекнуть.

— Завидую вам.

Она с минуту подумала, прежде чем продолжать; повязка на лице придавала ее голосу странную гулкость, точно он шел откуда-то из-под земли.

— Я разделяю общую участь женщин моего времени, которые вздумали вступить в битву с мужчинами.

— И к вашему изумлению, это оказалась битва

как битва, — ответил он, принимая ее терминологию.

— Битва как битва. — Она силилась вникнуть в эту мысль. — Или ты побеждаешь пирровой победой, или выходишь побитый и искалеченный — призрачный отзвук в разрушенных стенах.

— Вы не побиты и не искалечены, — сказал он. — Уж не думаете ли вы, что на самом деле побывали в битве?

— Взгляните на меня! — крикнула она с яростью.

— Да, вы страдаете, но мало ли женщин страдало, вовсе не пытаясь вообразить себя мужчиной! — Дик почувствовал, что спорит, а этого делать не следовало, и он поспешил переменить тон: — Во всяком случае, не нужно отдельную неудачу воспринимать как полное поражение.

— Красивая фраза, — горько усмехнулась она, и от этих слов, прорвавшихся сквозь коросту боли, Дику сделалось совестно.

— Нам бы очень хотелось доискаться до истинных причин, которые привели вас сюда, — начал он, но она перебила:

— Мое пребывание здесь символично, а что оно символизирует, я думала, вы поймете.

— Вы больны, — машинально ответил он.

— Тогда что же это такое, на грани чего я была?

— Еще более тяжкая болезнь.

— И только?

— И только. — Ему противно было лгать, но здесь, в эту минуту, только ложь могла уплотнить и сжать до ощутимых пределов необъятность вопроса, бередившего ей мозг. — За гранью, о которой вы говорите, лишь хаос и сумятица. Не буду читать вам лекций — мы слишком хорошо знаем, как вы измучены физическими страданиями. Но только через решение повседневных задач, какими бы мелкими и неинтересными они ни казались, можно добиться того, что все станет для вас на свое место. А тогда вы опять сможете размышлять о…

Он осекся, не дав себе договорить напрашивавшееся «…о границах сознания». Эти границы, исследователем которых неизбежно становится художник, для нее теперь всегда будут запретной зоной. Слишком она тонка, хрупка душевно — продукт вырождения. Быть может, со временем ей удастся найти покой в какой-нибудь мистической вере. А в исследователи границ пусть идут другие, с примесью здоровой крестьянской крови,

с широкими бедрами и толстыми щиколотками, кто любые испытания тела и духа примет и переварит так просто, как хлеб с солью.

«…Не для вас, — чуть не произнес он вслух. — Эта пища не для вас».

И все же, видя ее великие муки, он чувствовал непреодолимое, почти сексуальное влечение к ней. Ему хотелось согреть ее в своих объятьях, как он не раз согревал Николь, он с нежностью думал даже об ее заблуждениях, потому что они были неотъемлемой частью ее существа. Оранжевый свет, пробивающийся сквозь спущенные шторы, фигура на кровати, точно надгробное изваяние, белое пятно лица, голос, взывающий из болезненной пустоты, не встречая живого отклика.

Когда он встал, слезы, точно поток лавы, хлынули в ее повязку.

— Это неспроста, — прошептала она. — Это, наверно, приведет к чему-то.

Он наклонился и поцеловал ее в лоб.

— Все мы должны стараться быть разумными, — сказал он.

Выйдя от нее, он послал к ней сиделку. Ему нужно было навестить еще нескольких больных, и прежде всего пятнадцатилетнюю американку, воспитанную по принципу: на то и детство, что-

бы развлекаться как хочется; его срочно вызвали к ней, так как она только что откромсала себе волосы маникюрными ножницами. Случай был почти безнадежный — наследственный невроз, усугубленный неправильным воспитанием. Ее отец, человек вполне нормальный и с повышенным чувством долга, старался всячески оградить свое нездоровое потомство от житейских тревог, и в результате дети выросли совершенно неспособными приноровляться к неожиданностям, которыми так богата жизнь. Единственное, что мог сделать Дик, это взять с девочки обещание, что другой раз она ничего не будет затевать, не посоветовавшись хотя бы с дежурной сестрой. А многого ли стоит обещание, когда в голове не все ладно?

Еще Дик зашел к щуплому эмигранту-кавказцу, который лежал в чем-то вроде гамака, плотно застегнутом со всех сторон и периодически погружаемом в теплую ванну. В соседней палате помещались три дочери португальского генерала, страдавшие парезом, который медленно, но верно распространялся по всему телу. Следующий больной был сам по профессии психиатр; у него Дик посидел подольше, уверяя, что ему лучше, гораздо лучше, а тот слушал с жадным

вниманием; надежда, которую ему удавалось — или не удавалось — почерпнуть в интонациях доктора Дайвера, была последней ниточкой, связывавшей его с реальным миром. Закончив обход, Дик вызвал и уволил санитара, который не справлялся со своими обязанностями, — а там подошло время ленча.

XV

Совместные трапезы с больными всегда были Дику в тягость. Разумеется, обитатели «Шиповника» и «Буков» в них не участвовали, и на первый взгляд могло показаться, будто за столом собралось самое обыкновенное общество, если бы не гнетущая атмосфера, неизменно царившая в комнате. Врачи, которые были тут же, старались поддерживать разговор, но большинство больных ели молча, не поднимая глаз от тарелки, — то ли успели за утро утомиться, то ли хуже себя чувствовали на людях.

После ленча Дик пошел домой. Николь сидела в гостиной и как-то странно посмотрела на него.

— Вот, прочти. — Она протягивала ему какое-то письмо.

Он развернул сложенный листок бумаги. Письмо было от пациентки, которая недавно

выписалась из клиники вопреки мнению врачебного синклита. Оно недвусмысленно обвиняло Дика в том, что он соблазнил дочь больной, неотлучно находившуюся при ней в острый период болезни. Миссис Дайвер, говорилось в заключение, безусловно полезно будет узнать об этом и понять, «что собой представляет ее супруг».

Дик еще раз перечитал письмо. Оно было написано вполне связным, даже изысканным языком, но он без труда распознал в нем приметы маниакального бреда. Ему сразу вспомнилась девушка, о которой шла речь, — бойкая, кокетливая брюнетка. Как-то по ее просьбе он захватил ее с собой на машине в Цюрих и вечером привез обратно. Дорогой он от нечего делать, почти из любезности один раз ее поцеловал. Она потом делала попытки продолжить флирт, но он не выказал никакого интереса. После этого — а может быть, и вследствие этого — девица стала всячески придираться к нему и вскоре ее забрала мать из клиники.

— Чистейшая бессмыслица, — сказал Дик. — У меня вообще не было с этой девушкой никаких отношений. Она мне даже не нравилась.

— Да, я старалась себя в этом убедить, — сказала Николь.

— Ты, надеюсь, не вздумала поверить?

— Я всегда сижу дома…

Дик опустился на диван рядом с ней; его голос зазвучал укором:

— Не глупи, Николь. Это письмо написала душевнобольная.

— Я сама была душевнобольная.

Он встал и заговорил другим, властным тоном:

— Ну ладно, довольно глупостей. Собирайся и зови детей, мы сейчас едем.

Дик вел машину вдоль берега озера, по шоссе, огибавшему каждый мысок, и она то ныряла в зеленый древесный туннель, то опять выезжала на открытое место, подставляя ветровое стекло водяным брызгам и солнцу. Это была собственная машина Дика, «рено», такой крошечный, что все казались в нем великанами, кроме детей, которые сидели сзади, а над ними, как мачта, торчала mademoiselle. Они знали наизусть каждый километр этой дороги — где запахнет нагретой хвоей, а где будет валить из трубы черный дым. Высоко стоявшее солнце с рожицей, как на картинке, нещадно пекло соломенные детские шляпы.

Николь молчала; Дику было не по себе под ее жестким, немигающим взглядом. Он часто чувствовал себя с ней неуютно, порой она утомляла

его неожиданными всплесками саморазоблачений, которые приберегала для него одного: «Я такая, — нет, верней, я такая». Но сегодня он был бы рад, если бы она тараторила без умолку и хоть на миг дала бы ему заглянуть в ее беспокойные мысли. Опаснее всего было, когда она вот так уходила в себя и замыкалась на все запоры.

В Цуге mademoiselle вышла, а Дайверы поехали дальше. Чтобы попасть на Агирскую ярмарку, им пришлось пробираться через целое стадо дорожных катков. Наконец Дик поставил машину, и так как Николь смотрела на него и не двигалась с места, он ласково сказал: «Выходи, дорогая». Ее губы вдруг раздвинулись в зловещей улыбке, и у него екнуло сердце, но он повторил, словно ничего не заметив: «Выходи, а то дети не могут вылезть».

— О, я выйду, — сказала она, вырвав эти слова из какого-то сюжета, так стремительно закручивавшегося у нее в голове, что он не мог ухватить его суть. — Можешь не беспокоиться. Я выйду.

— Вот и выходи.

Она шла, отвернувшись, но на ее лице все еще блуждала улыбка, рассеянная и в то же время насмешливая. Только когда Ланье окликнул ее несколько раз, ей удалось поймать в поле зрения

один предмет — ширму бродячего кукольника — и за нее зацепиться.

Дик не знал, что предпринять. Двойственность его отношений к ней — как мужа и как психиатра — парализовала его энергию. За эти шесть лет было несколько случаев, когда она сбивала его с правильного пути, то вызывая обезоруживающее чувство жалости, то увлекая полетом фантазии, бессвязной, но яркой; и только потом, придя в себя, точно после припадка, он осознавал, что она оказалась сильнее его.

Дети заспорили между собой — тот ли это Пульчинелла, которого они прошлый год видели в Канне, или другой; но спор был улажен, и все семейство двинулось дальше между раскинутых под открытым небом ярмарочных строений. Белые чепцы женщин из разных кантонов, их бархатные безрукавки и яркие сборчатые юбки стушевывались среди пестро размалеванных палаток и ларьков. Где-то звенели бубенцы и подвывала шарманка.

Вдруг Николь бросилась бежать. Это произошло так неожиданно, что Дик спохватился, когда ее желтое платье уже мелькало в толпе впереди — охряный стежок на стыке яви и сна. Он побежал за ней; тайком она убегала, и тайком он

преследовал ее. В пронзительном ужасе, вдруг наполнившем этот жаркий день, он позабыл о детях; потом круто повернул назад, нашел их, схватил за руки и, таща за собой, заметался от палатки к палатке.

— Madame! — крикнул он молодой женщине, сидевшей за белым лотерейным барабаном. — Est-ce que je рейх laisser ces petits avec vouc deux minutes? C'est tres urgent — je vous donnerai dix francs.

— Mais oui[51].

Он втолкнул детей в палатку.

— Alors — restez avee cette gentille dame.

— Oui, Dick[52].

Он опять побежал, но Николь уже нигде не было видно. Он хотел обогнуть карусель и только тогда понял, что кружит вместе с ней, когда заметил, что рядом все одна и та же лошадь. Он протолкался сквозь толпу у буфетной стойки, потом увидел шатер прорицательницы и, вспомнив пристрастие Николь ко всяким гаданьям,

---

[51] Notes: 51

— Не могу ли я на две минуты оставить у вас этих малышей? У меня важное дело, я вам заплачу десять франков.

— Ну конечно *(фр.)*.

[52] Notes: 52

— Вот, побудьте с этой милой дамой.

— Хорошо, Дик *(фр.)*.

рванул полу шатра и заглянул внутрь. Низкий голос загудел:

— La septieme fille d'une septieme fille nee sur les rives du Nil... Entrez, Monsieur[53].

Он отбросил полу и побежал дальше, к озеру, где на фоне синего неба совершало свои обороты небольшое «чертово колесо». Здесь он ее нашел.

Она сидела одна в вагонетке, которая сейчас шла сверху вниз; подойдя ближе, он увидел, что она истерически хохочет. При следующем обороте он вмешался в толпу, уже заметившую неестественность этого хохота.

— Regardez-moi ca!

— Regardez done cette Anglaise![54]

Вагонетка опять шла вниз, но вращение колеса замедлялось, и музыка тоже играла все медленнее. С десяток людей окружило вагонетку, когда колесо остановилось; на бессмысленный смех Николь они непроизвольно отвечали такими же бессмысленными улыбками. Увидев Дика, Николь сразу перестала смеяться; она попыталась

---

[53] Notes: 53

Седьмая дочь седьмой дочери, рожденной на берегах Нила... Входите, мосье *(фр.)*.

[54] Notes: 54

— Посмотрите-ка на нее!
— Посмотрите-ка на эту англичанку! *(фр.)*

было ускользнуть, но он крепко схватил ее под руку и потащил прочь.

— Почему ты дала себе так распуститься?

— Ты отлично знаешь — почему.

— Нет, не знаю.

— Нечего притворяться — пусти мою руку, — ты, видно, считаешь меня глупей, чем я есть. Думаешь, я не видела, как та девчонка строила тебе глазки, — та, маленькая, черненькая. Просто срам — она же совсем ребенок, от силы пятнадцать лет. Думаешь, я не видела?

— Присядем здесь на минутку, тебе нужно успокоиться.

Они сели за столик; ее взгляд был до краев переполнен подозрением, и она все время делала рукой такой жест, будто отгоняла что-то, мешавшее ей смотреть.

— Я хочу выпить, закажи мне коньяку.

— Коньяку тебе нельзя, — если хочешь, можешь взять кружку пива.

— А почему нельзя коньяку?

— Нельзя, и все. Теперь слушай: никакой черненькой девушки не было, это галлюцинация, понятно тебе?

— Ты всегда говоришь «галлюцинация», если я вижу то, что ты хотел бы от меня скрыть.

Он смутно чувствовал себя виноватым; так бывает, когда привидится дурной сон, будто тебя обвинили в преступлении и ты уже готов в нем сознаться, а потом просыпаешься и понимаешь, что никакого преступления ты не совершал, но чувство вины остается. Он отвел глаза.

— Я оставил детей в палатке у цыганки. Нужно сходить за ними.

— Ты кем же себя вообразил? — спросила она. — Гипнотизером из «Трильби»[55]?

Четверть часа назад это была семья. Сейчас, непроизвольно оттесняя Николь плечом в сторону, он думал о том, что все они, взрослые и дети, — жертва несчастного случая.

— Сейчас поедем домой.

— Домой! — крикнула она так отчаянно, что ее голос дрогнул и сорвался на высокой ноте. — И опять сидеть, и гнить взаперти, и находить сгнивший прах детей в каждом открывающемся ящике. Какая гадость!

Почти с облегчением он увидел, что в этом вопле она выложилась вся до конца, и Николь обостренным до предела чутьем угадала спад его напряжения. Взгляд ее смягчился, и она стала

---

[55] Notes: 55

Роман (1894) английского писателя Дж. Дюморье, к 1930-м годам получивший пять экранизаций.

просить:

— Помоги мне, Дик, помоги мне!

У него защемило сердце. Ужасно, что такая прекрасная башня не может стоять без подпоры, а подпорой должен быть он. В какой-то мере это даже было правильно — такова роль мужчины: фундамент и идея, контрфорс и логарифм. Но Дик и Николь стали, по существу, равны и едины; никто из них не дополнял и не продолжал другого; она была Диком тоже, вошла в его плоть и кровь. Он не мог наблюдать со стороны распад ее личности — это был процесс, затрагивавший и его собственную личность. Его интуиция врача выливалась в нежность и сострадание, но сделать он мог только то, что предписывала современная методика, — постараться затормозить процесс. Сегодня же он вызовет специальную медицинскую сестру из Цюриха, чтобы поручить Николь ее заботам.

— Ты ведь можешь помочь.

Ее детская настойчивость заставила Дика встать с места.

— Ты мне помогал раньше, — значит, и теперь можешь.

— Я могу только то, что делал тогда.

— Неужели нет никого, кто бы мне помог по-

настоящему?

— Есть, наверно. Прежде всего ты сама. Ну пойдем, отыщем детей.

Лотерейных палаток с белыми барабанами оказалось много. Дик подходил то к одной, то к другой, но везде на его вопрос только пожимали плечами, и в конце концов он даже забеспокоился. Николь исподлобья взирала на все это издали; ей сейчас не нужны были дети, она отвергала их, как частицу того ясного мира, который она стремилась замутить. Наконец Дик нашел их в толпе женщин, восторгавшихся ими, точно красивыми вещами в витрине, и крестьянских ребятишек, глазевших на них, разинув рты.

— Merci, Monsieur, ah Moncieur est trop genereux. C'etait un plaisir, M'sieur, Madame. Au revoir, mes petits[56].

В обратный путь тронулись, точно обваренные бедой; тяжесть взаимного недоверия и боязни перегрузила машину. Дети обиженно примолкли. Все приняло непривычный, отвратительный, темный цвет — цвет печали. Когда подъезжали к Цугу, Николь с судорожным усилием пролепетала уже сказанное однажды — что желтый

[56] Notes: 56

Спасибо, мосье, ах, мосье, слишком щедро. Это было одно удовольствие, мосье, мадам. До свидания, деточки *(фр.)*.

домик близ дороги выглядит будто картинка, на которой еще не высохли краски; но это была лишь попытка ухватиться за чересчур быстро разматывающийся канат.

Дик старался отдыхать за рулем — самое трудное было впереди, он знал, что, может быть, ночь напролет просидит с Николь, восстанавливая для нее треснувший мир. Недаром слово «шизофрения» обозначает расщепление сознания — Николь то была человеком, которому ничего объяснять не нужно, то таким, которому ничего нельзя объяснить. С ней нужно было быть активно и утверждающе настойчивым, держать широко распахнутыми ворота в реальную жизнь и закрывать все лазейки, ведущие в сторону. Но больной ум хитер и изобретателен; он как река перед плотиной — не прорвет, так зальет, не зальет, так проложит обходное русло. Одному тут не справиться. Но на этот раз, казалось ему, Николь должна сама победить свой недуг; он не будет спешить, пусть она вспомнит методы, которыми ее лечили прежде, и взбунтуется против них. А пока, устало думал он, придется вернуться к режиму, отмененному уже с год тому назад.

Он решил сократить путь и свернул на другую, горную дорогу, но тут машина вдруг резко виль-

нула влево, потом вправо, накренилась, став на два колеса, снова выровнялась — это Дик, оглушенный истошным воплем Николь, придавил безумную руку, вцепившуюся в баранку, — потом вильнула еще раз и сорвалась с дороги; ломая кусты, на сотню футов съехала вниз по склону и, наконец, накренившись еще сильней, уткнулась в дерево почти под прямым углом.

Дети кричали, Николь тоже кричала, ругаясь и норовя расцарапать Дику лицо. Он с силой завел ей руку назад, а сам думал только об одном — устойчиво ли положение машины, но об этом трудно было судить изнутри. Тогда он осторожно перелез через борт и вытащил обоих детей; убедившись, что машина уже не скатится дальше, он выпрямился и с минуту постоял, дрожа и задыхаясь.

— Ах, ты!.. — выкрикнул он наконец.

Она весело захохотала в ответ, без страха, без стыда, без заботы. Подойди кто-нибудь в эту минуту, ему бы и в голову не пришло, что это она — виновница происшествия; она смеялась, как ребенок, которому сошла с рук невинная шалость.

— А, испугался, испугался! — дразнила она Дика. — Не хочешь умирать!

Ее слова звучали с такой убедительной силой, что Дик на мгновение усомнился: может быть, он и в самом деле испытал страх за себя? Но тут он увидел бледные, растерянные лица детей, и ему захотелось размозжить скалившуюся перед ним маску.

Выше на лесистом склоне белела гостиница; по автомобильной дороге до нее было с полкилометра пути, но прямиком в гору не больше ста ярдов.

— Возьми Топси за руку, — сказал сыну Дик, — только держи покрепче — и взбирайся вверх, вон там есть тропка, видишь? Когда придете в гостиницу, скажешь: «La voiture Diver est cassee»[57]. И пусть кто-нибудь сейчас же спустится сюда.

Ланье, не понимая, что произошло, но угадывая что-то необычное и страшное, спросил:

— А ты что будешь делать, Дик?

— Мы останемся здесь, около машины.

Уходя, никто из детей не оглянулся на мать.

— Осторожнее переходите дорогу! — крикнул вдогонку Дик. — Гляньте налево, потом направо!

Оставшись одни, он и Николь посмотрели друг на друга в упор, точно яркий свет вспыхнул в

---

[57] Notes: 57

У Дайверов сломалась машина *(фр.)*.

окнах двух противоположных домов. Потом Николь, не торопясь, вынула из сумочки зеркальце и поправила растрепавшиеся волосы на висках. Дик перевел глаза на склон, по которому карабкались дети; когда они скрылись в сосновой чаще, он обошел свой «рено», соображая, значительны ли повреждения и как вытащить машину наверх, на дорогу. По примятой траве можно было проследить зигзагообразную трассу их спуска. Дик не чувствовал гнева, ему только было невыносимо противно.

Через несколько минут прибежал хозяин гостиницы.

— Боже мой! Как это случилось — вы что, ехали на очень большой скорости? Повезло вам! Если бы не это дерево, машина просто свалилась бы вниз.

Присутствие Эмиля, такого реального в своем черном фартуке, с каплями пота на пухлом лице, вернуло Дику душевное равновесие. Он жестом показал Николь, что хочет помочь ей выбраться из машины; но она, не дожидаясь помощи, перепрыгнула через борт, упала было, поскользнувшись на склоне, но тотчас же встала на ноги. Видя, как Дик с хозяином силятся поднять машину, она вызывающе вздернула подбородок.

Но Дик усмотрел в этом благоприятный знак и сказал ей:

— Ступай к детям, Николь, и дожидайся вместе с ними.

Только после ее ухода он спохватился — ведь в гостинице она легко достанет коньяк, которого так добивалась. Не стоит надрываться, сказал он Эмилю, приедет из клиники шофер с другой машиной и вытянет эту на буксире. И они оба поспешили в гостиницу.

XVI

— Я хочу уехать, — сказал он Францу. — На месяц, на полтора, сколько будет возможно.

— Конечно, уезжайте, Дик. Ведь мы так и уговаривались с самого начала — вы сами ни разу не захотели оставить клинику. Если вы с Николь…

— Я не поеду с Николь. Я хочу уехать один. Последняя история меня доконала. Если мне удается поспать хоть два часа в сутки, это одно из чудес Цвингли.

— Вы хотите отдохнуть от нее?

— Я хочу отдохнуть от самого себя. Как вам кажется, управитесь вы без меня, если я поеду на берлинский съезд психиатров? Вот уже три месяца Николь вполне спокойна, и она привязалась к

сестре, которая за ней ухаживает. Господи, Франц, вы единственный человек на свете, к кому я могу обратиться с такой просьбой.

Франц неопределенно хмыкнул — кто знает, может быть, и ему надоест когда-нибудь думать только об интересах своего компаньона.

Через неделю Дик приехал на Цюрихский аэродром и сел в самолет, отправлявшийся в Мюнхен. Только когда большая машина взмыла в синюю высь, он почувствовал, как велика его усталость. Он откинулся в кресле, весь отдавшись блаженному ощущению покоя, не желая ни о чем думать, — пусть больные болеют, моторы ревут, а летчик ведет самолет, как положено. На съезде он не собирался бывать; ему все было известно заранее — Блейлер и старший Форель сделают доклады, которые можно потом прочесть дома, затем некий американец расскажет о том, как он успешно лечит dementia praecox[58] удаленьем зубов или прижиганием миндалин, и все будут слушать с насмешливо-почтительным интересом — еще бы, ведь Америка так могущественна и так богата. Кроме этого американца, будут и другие — рыжий Шварц с ликом святого

---

[58] Notes: 58
Раннее слабоумие *(лат.)*.

и с неистощимым терпением, позволяющим ему раздваиваться между Старым и Новым Светом, и десятка два похожих на висельников врачей-коммерсантов, приехавших частью для повышения престижа, что поможет ухватывать лакомые кусочки в судебно-психиатрической практике, частью чтобы набраться новейших софизмов и потом пускать их в дело, тем способствуя смешению реальных и мнимых ценностей. Будут также циничные латиняне и какой-нибудь ученик Фрейда из Вены. Единственным, кого стоило бы послушать, будет великий Юнг, выдержанный, неутомимый, легко переходящий от дебрей антропологии к неврозам у детей школьного возраста. Тон на съезде сперва станут задавать американцы, и все пойдет как в каком-нибудь Ротари-клубе[59], потом скажется более крутой европейский замес, а под конец американцы выложат свой главный козырь — объявят о колоссальных пожертвованиях и стипендиях, об открытии новых больниц и институтов, и перед лицом всемогущих цифр европейцам останется только смиренно стушеваться. Но он всего этого не увидит.

---

[59] Notes: 59

Ротари-клуб — собрания местных бизнесменов и интеллигенции, на которых обсуждаются благотворительные проекты.

Самолет огибал Форарльбергские Альпы, и Дик идиллически наслаждался видом швейцарских деревень. Их неизменно было пять или шесть в поле зрения, каждая с церковью посередине. С высоты все на земле казалось просто, как просто все при игре в куклы или солдатики, даже если это игра в войну. Так, должно быть, смотрят на мир отставные полководцы и государственные деятели, да и рядовые люди, удалившиеся от дел. Во всяком случае, это была хорошая форма отдыха.

Англичанин, сидевший через проход, попробовал завязать с Диком разговор, но Дик в последнее время испытывал неприязнь к англичанам. Англия напоминала ему богатого барина, который вернулся домой после бурного кутежа, и так как у него нечиста совесть перед домашними, он спешит непринужденно поболтать с каждым из них, но всем понятно, что ему просто нужно вернуть себе самоуважение, чтобы вновь почувствовать себя хозяином в доме.

У Дика было с собой несколько журналов, — что нашлось в аэродромном киоске: «Сенчюри», «Моушн Пикчер», L'illustration, Fliegende Blatter, но читать ему не хотелось. Приятнее было мысленно спускаться в проплывавшие внизу деревушки

и здороваться с местными жителями. Он отсиживал там церковные службы, как когда-то отсиживал их в приходской церкви отца в Буффало, пахнувшей накрахмаленной плесенью воскресных нарядов. Он внимательно слушал евангельские премудрости, умирал на кресте и был предан погребению в уютной церквушке и, как когда-то, мучительно колебался под взглядом соседки по скамье, положить ли пять центов или десять на тарелку для сбора пожертвований.

Англичанин вдруг опять обратился к нему с какой-то расхожей фразой, после чего попросил журнал почитать. Дик с радостью отдал ему все четыре, а сам стал думать о предстоящем ему путешествии. Застегнув свою куртку из ворсистой австралийской шерсти — волк в овечьей шкуре! — он со вкусом рисовал себе непорочную синь Средиземного моря, землю под оливами, спекшуюся на солнце, крестьяночку из-под Савоны с румянцем, ярким, как раскраска буквиц в старинном католическом требнике. Он возьмет ее на руки и утащит через границу…

…но тут же он ее бросил — скорей дальше, к островам Греческого архипелага, к мутным волнам незнакомых гаваней, к девушке, затерявшейся на чужом берегу, к луне из народных песен. Память

Дика хранила много всякого хлама из мальчишеских лет. Но за всей этой пестрой, сумбурной дребеденью никогда не угасал факел мучительно бьющейся мысли.

XVII

Томми Барбан был героем, Томми был властителем дум — Дик набрел на него на Мариенплац в Мюнхене, в одном из тех кафе, где играют в кости «по маленькой» на плетеных узорчатых скатертях и в воздухе звон звенит от политических споров и шлепанья по столу игральных карт.

Томми, сидя за столиком, оглушал собутыльников раскатами боевого хохота: «Умбу — ха-ха! Умбу — ха-ха»! Как правило, он пил немного; его главная сила была в бесстрашии, и приятели всегда немного побаивались его. Недавно польский хирург удалил ему восьмую часть черепной коробки; кость еще не срослась под волосистым покровом, и самый хилый из посетителей кафе легко мог убить его одним щелчком свернутой в жгут салфетки.

— …знакомьтесь: князь Челищев… — Это был седой, потрепанный русский лет пятидесяти. — …мистер Маккиббен… мистер Хэннан…

Хэннан, вертлявый, кругленький, с черными

глазками, поблескивавшими из-под черной курчавой шевелюры — добровольный шут компании, — сразу же сказал Дику, который протянул было руку, чтобы поздороваться:

— Э, нет, нет — вы мне раньше скажите, что у вас за шашни с моей тетушкой?

— Простите, я…

— То-то, что вы. И вообще, какая нелегкая принесла вас в Мюнхен?

— Умбу — ха-ха! — засмеялся Томми.

— Ведь, наверно, у вас есть свои тетки? Вот и не зарьтесь на чужих.

Дик улыбнулся, а Хэннан уже переменил фронт:

— Не желаю я больше слушать про теток. Может, вы это просто для отвода глаз. В самом деле, приходит человек, никто его знать не знает, а он с ходу начинает плести небылицы о тетках. А вдруг вы какой-нибудь злоумышленник!

Томми еще посмеялся, потом сказал добродушно, однако решительно:

— Ладно, хватит, Карли. Садитесь, Дик, и рассказывайте. Как вы, как Николь?

Никто из этих людей не был ему нужен, никто не внушал особой симпатии — он просто отдыхал здесь, готовясь к новым сражениям;

так опытный спортсмен экономит силы перед решающей схваткой, лишь по необходимости отражая удары, тогда как другие, помельче, даже в момент передышки не умеют освободиться от изматывающего нервного напряжения.

Хэннан, все еще не угомонившийся, пересел за стоявшее рядом пианино и стал брать рассеянные аккорды, время от времени свирепо оглядываясь на Дика и гудя: «Ваши тетки!», потом спел по нисходящей гамме: «А я и не говорил „тетки“ — я сказал — „щетки“».

— Ну рассказывайте же, — повторил Томми. — Что-то вы… — он не сразу подыскал слово, — …посолиднели, что ли; не такой денди, как были.

Дику в этом замечании почудился злопыхательный намек, будто его жизненная энергия идет на убыль; и в ответ он уже собрался съязвить по поводу костюмов Томми и князя Челищева; костюмы были столь причудливого покроя и расцветки, что делали их похожими на парочку хлыщей из тех, что прогуливаются на Бийл-стрит воскресным утром. Но князь опередил его.

— Я вижу, вы разглядываете наши костюмы, — сказал он. — Мы, знаете ли, только что из России.

— А костюмы нам шил в Польше придворный

портной, — подхватил Томми. — Да, да, я не шучу — личный портной Пилсудского[60].

— Вы что, были в туристской поездке? — спросил Дик.

Оба расхохотались, и князь довольно бесцеремонно хлопнул Томми но плечу.

— Вот именно — в туристской поездке. В продолжительной туристской поездке. Проехали по всем Россиям. И не как-нибудь, а с помпой.

Дик ждал объяснения. Оно было дано мистером Маккиббеном — в двух словах:

— Они бежали.

— Так вы сидели там в тюрьме?

— Я сидел, — сказал князь Челищев, уставясь на Дика пустыми желтыми глазами. — Верней, не сидел, а скрывался.

— Наверно, нелегко вам было выбраться за границу?

— Да, трудности были. Пришлось застрелить трех красноармейцев-пограничников. Двух застрелил Томми... — Он показал два пальца — манера французов. — Одного я.

— Вот это для меня как-то непонятно, — сказал

---

[60] Notes: 60

Юзеф *Пилсудский* (1867–1935) — польский военный и политический деятель, первый глава Польской республики, существовавшей с 1918 по 1939 год.

мистер Маккиббен. — Почему, собственно, они не хотели вас выпустить?

Хэннан повернулся на табуретке спиной к пианино и сказал, подмигивая остальным:

— Мак думает, марксисты — это те, кто учился в школе святого Марка.

Последовал рассказ, выдержанный в лучших традициях жанра: старый аристократ девять лет живет под чужим именем у своего бывшего лакея и работает в государственной пекарне; восемнадцатилетняя дочка в Париже знакомится с Томми Барбаном… Дик слушал и думал про себя, что три молодые жизни — непомерно большая цена за этот мумифицированный пережиток прошлого.

Зашел разговор о том, страшно ли было Челищеву и Томми.

— В холодные дни — да, — сказал Томми. — Холод всегда нагоняет на меня страх. Мне и на войне было страшно в холодные дни.

Маккиббен встал.

— Мне пора. Я завтра с утра на машине уезжаю в Инсбрук с женой, детьми и — и гувернанткой.

— Я тоже еду в Инсбрук завтра, — сказал Дик.

— Да ну? — воскликнул Маккиббен. — Знаете что, едемте с нами. У меня большой «паккард», а нас совсем немного — жена, дети, я сам и — и

гувернантка.

— К сожалению, я никак…

— Собственно, она не совсем гувернантка, — продолжал Маккиббен и почти умоляюще посмотрел на Дика. — Между прочим, жена знакома с вашей свояченицей, Бэби Уоррен.

Но Дик проявил твердокаменную стойкость.

— Я сговорился ехать вместе с двумя знакомыми.

— А-а. — Маккиббен явно был опечален. — Что ж, в таком случае до свидания. — Он отвязал двух чистокровных жесткошерстых терьеров от ножки соседнего стола и собрался уходить. Дик мысленно нарисовал себе картину: битком набитый «паккард», громыхая, катит по дороге в Инсбрук с супругами Маккиббен, их детьми, их чемоданами, тявкающими псами и — и гувернанткой.

— В газете сказано, что им известно имя фактического убийцы, — услышал он голос Томми. — Но поскольку это случилось в подпольном кабачке, родственники просили не называть никаких имен.

— Заботятся о семейной чести.

Хэннан взял на пианино громкий аккорд, чтобы привлечь к себе внимание.

— На мой взгляд, и ранние его опусы — не бог весть что, — сказал он. — Даже если не говорить об европейцах, в Америке тоже найдется десятка два музыкантов, которые пишут так же, как писал Норт.

Только сейчас Дик понял, что разговор идет об Эйбе Норте.

— Да, но разница в том, что Эйб был первым, — сказал Томми.

— Чепуха, — упорствовал Хэннан. — Это друзья раструбили, что он великий музыкант, чтобы как-нибудь оправдать его беспробудное пьянство.

— О чем вы говорите? — спросил Дик. — Что с Эйбом? Какая-нибудь неприятность?

— Вы разве не читали сегодня «Геральд»?

— Нет.

— Эйб умер. Его избили в пьяной драке, в каком-то нью-йоркском притоне. Он кое-как дополз к себе в Рэкет-клуб и там умер.

— *Эйб Норт?*

— Да. В газете сказано…

– *Эйб Норт?* — Дик привстал. — Он умер? Это правда?

Хэннан повернулся к Маккиббену.

— Вовсе он не в Рэкет-клуб приполз умирать, а в Гарвардский клуб. Он никогда не состоял в

Рэкет-клубе.

— Но так сказано в газете, — настаивал Маккиббен.

— Значит, газета ошиблась. Я вам точно говорю.

…Избили в пьяной драке, и он умер…

— Да я всех членов Рэкет-клуба знаю наперечет, — говорил Хэннан. — Наверняка это был Гарвардский клуб.

Дик вышел из-за стола. Томми тоже. Князь Челищев очнулся от каких-то смутных раздумий ни о чем, — быть может, о том, удастся ли ему выбраться из России, — вопрос, занимавший его так долго, что он все еще не мог его позабыть. Увидев, что Дик и Томми уходят, он побрел вслед за ними.

…Эйб Норт умер, избитый в пьяной драке…

В отель Дик шел как во сне. Томми шагал рядом и говорил без умолку.

— Мы уедем в Париж, как только будут готовы костюмы, которые мы тут заказали. Я собираюсь заняться маклерским делом, не могу же я в таком виде явиться на биржу. У вас в Америке теперь все наживают миллионы. Вы в самом деле уезжаете завтра? Нам даже не удастся провести с вами вечер. У князя тут в Мюнхене когда-то была дама

сердца. Он к ней позвонил, но оказалось, что она пять лет назад умерла, и сегодня мы обедаем у ее дочерей.

Князь кивнул головой.

— Может быть, я устрою, чтобы доктор Дайвер тоже получил приглашение.

— Нет, нет, — поспешил отказаться Дик.

Он спал крепким сном без сновидений; разбудили его звуки траурного марша под окном. По улице тянулась длинная процессия: военные в полной форме, в знакомых касках образца 1914 года, тучные старики, во фраках и цилиндрах, бюргеры, аристократы, простой народ. Это местное общество ветеранов войны шло возлагать венки на могилы павших. Шествовали неторопливо и чинно — дань почета былому величию, утраченной силе, забывшемуся горю. Лица были официально скорбны, но у Дика, глядевшего из окна, вдруг сдавило горло тоской об умершем Эйбе и о собственной молодости, которая уже десять лет как прошла.

XVIII

Он приехал в Инсбрук уже на исходе дня, отправил чемоданы в отель, а сам пошел слоняться по городу. Коленопреклоненный император

Максимилиан молился в лучах закатного солнца над оплакивавшими его бронзовыми подданными; четверо начинающих иезуитов с книгами в руках расхаживали по аллее Университетского парка. Потом солнце село, и мраморные свидетельства былых осад, юбилеев, бракосочетаний быстро затянул сизый сумрак… Дик съел Erbsen-Suppe[61] с кусочками Wurstchen[62], выпил четыре порции пильзенского пива и отказался от устрашающего десерта, известного под названием Kaiser-Schmarren[63].

Горы нависли над самым городом, и все-таки Швейцария была далеко. И Николь была далеко. Вечером, гуляя по саду отеля, он думал о ней отрешенно и нежно, с любовью к ее лучшему «я». Ему вспомнилось, как однажды она прибежала к нему по росистой траве в легких туфельках, промокших насквозь. Стала на его ноги, примостилась поудобнее и подняла к нему лицо, точно книгу, раскрытую посередине.

— Ты меня сейчас очень любишь, да? — про-

---

[61] Notes: 61
Гороховый суп *(нем.)*.

[62] Notes: 62
Сосисок *(нем.)*.

[63] Notes: 63
Забава кайзера *(нем.)*.

шептала она. — Я не требую, чтобы ты всегда любил меня так, но я прошу тебя не забывать этот вечер. Где-то в глубине самой себя я всегда буду такая, как я сейчас.

А он убежал от нее, спасая себя, — вот о чем он думал, гуляя по темному саду. Он себя потерял, кто знает когда, в какой именно час, день, неделю, месяц или год. Когда-то он умел проникать в суть вещей, решать самые сложные уравнения жизни, как простейшие случаи простейших болезней. Но за годы, прошедшие с того дня, когда он впервые увидел Николь на Цюрихском озере, и до встречи с Розмэри, эта способность притупилась в нем.

Пример отцовской борьбы за существование в нищенских церковных приходах научил его, по природе чуждого стяжательству, ценить деньги. Если б еще тут играло роль естественное стремление к твердой почве под ногами, но никогда он не был так уверен в себе, так внутренне независим, как в пору своей женитьбы на Николь. И тем не менее его купили, как gigolo[64], и каким-то образом он допустил, что весь его арсенал оказался упрятанным в уорреновских сейфах.

«Нужно было составить брачный договор по

---

[64] Notes: 64
Платный танцор в дансинге *(фр.)*.

европейскому образцу, но не все еще потеряно. Восемь лет я потратил зря, пытаясь научить богачей азбуке человеческой порядочности, но отчаиваться рано. У меня еще много неразыгранных козырей на руках».

Он бесцельно бродил между побуревшими розовыми кустами, окаймленными влажным папоротником, смутно клубящимся в темноте. Вечер был теплый для октября, но Дику не было жарко в плотной твидовой куртке, застегнутой у ворота на резиновую петельку. От черного дерева отделилась женская фигура, и он догадался, что это та девушка, которую он, выходя, обогнал в вестибюле отеля. Он был влюблен сейчас во всех красивых женщин, которых встречал, в их силуэты, темнеющие вдали, в их тени на стенах.

Девушка стояла спиной к нему, любуясь панорамой городских огней. Он чиркнул спичкой, в расчете, что она оглянется на звук, но она не шевельнулась.

…Что это, призыв? Или, напротив, знак небрежения? Он долго прожил вдали от мира простых желаний и чувств, и это делало его неуверенным и нерешительным. Может быть, у завсегдатаев тихих курортов есть особый код, по которому они находят друг друга?

…Что, если от него ждут следующего хода? Ребенок, встретив другого, незнакомого ребенка, улыбается ему и говорит: «Давай играть вместе».

Он шагнул ближе, тень качнулась в сторону. Вот сейчас его осадят, как блудливого юнца-барабанщика из слышанного когда-то рассказа. Сердце громко билось от близости не изученного, не подвергнутого анализу, не препарированного, не получившего научного объяснения. Вдруг он отвернулся, и тотчас же девушка зашевелилась тоже, нарушив узор черной листвы, частью которого была, обогнула скамейку и неторопливым, но решительным шагом пошла к отелю.

Наутро Дик с двумя альпинистами и с проводником начали восхождение на Бирккаршпитце. Приятно было, когда высокогорные пастбища остались позади и звон колокольцев доносился откуда-то снизу. Дик заранее предвкушал ночлег в горной хижине, ему нравилось уставать, нравилось подчиняться проводнику, он наслаждался тем, что никто здесь его не знает. Но к середине дня погода переменилась, повалил мокрый снег, потом пошел град, в горах грохотал гром. Дик и один из альпинистов хотели идти дальше, но проводник воспротивился. Пришлось, скользя и оступаясь, спускаться назад в Инсбрук, с тем,

чтобы наутро снова отправиться в путь.

После обеда с бутылкой терпкого вина в пустом ресторане Дика вдруг охватило непонятное волнение — непонятное, пока он не вспомнил вчерашний эпизод в саду. Перед ужином он опять повстречал ту девушку в вестибюле, и на этот раз она окинула его явно одобрительным взглядом, но ему тоскливо подумалось: «А зачем? В свое время я мог бы иметь столько хорошеньких женщин, только выбирай, — но зачем затевать все это сейчас? Когда от прежних желаний остался лишь огарок, лишь бледная тень. Зачем?»

Воображение несло его дальше, но былой аскетизм, заставивший отвыкнуть от многого, одержал верх. «Черт, вернись я на Ривьеру, я хоть завтра могу сойтись с Джейнис Карикаменто или с маленькой Уилбурхэйзи. Только стоит ли осквернять память этих лет подобной дешевкой?»

Но волнение его не улеглось, и с веранды он ушел к себе наверх, поразмыслить без помех. Одиночество, физическое и душевное, порождает тоску, а тоска еще усиливает одиночество.

В раздумье он ходил по комнате взад и вперед, попутно раскладывая еще сырую одежду на чуть теплых радиаторах отопления. На глаза вдруг

попалась телеграмма Николь — она каждый день телеграфировала ему, где бы он ни находился. Телеграмма пришла еще перед ужином, но Дику не захотелось ее распечатывать, может быть, тоже из-за вчерашнего. Вскрыв теперь конверт, он нашел в нем телеграмму из Буффало, пересланную через Цюрих:

ВАШ ОТЕЦ ТИХО СКОНЧАЛСЯ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ

ХОЛМС

Острая боль пронизала его, заставила напрячь все силы сопротивления; какой-то ком образовался в животе и, нарастая, подкатил к самому горлу.

Он перечитал известие еще раз. Потом сел на кровать, тяжело дыша, с остановившимся взглядом, еще не отделавшись от эгоистической мысли, сразу приходящей в голову детям, когда они узнают о смерти родителей: а как отзовется на мне потеря самой ранней и самой надежной защиты в жизни?

Когда миновала эта атавистическая вспышка, он опять зашагал по комнате, порой останавливаясь, чтобы заглянуть в телеграмму. Холмс числился помощником отца, но на деле уже лет

десять был фактическим настоятелем приходской церкви.

Отчего он умер? От старости — ему было семьдесят пять. Он прожил долгую жизнь. Грустно, что он умер совсем одиноким, пережив и жену, и всех своих братьев и сестер. Оставались какие-то родственники в Виргинии, но они были бедны и не смогли приехать на Север, вот Холмсу и пришлось подписать телеграмму своим именем. Дик любил отца — он и поныне в затруднительных случаях старался представить себе, как бы отец рассудил и поступил на его месте. Родился Дик вскоре после того, как одна за другой умерли две его сестры, и отец, опасаясь, как бы мать не избаловала единственного оставшегося ей ребенка, с самого начала взял на себя заботу о его нравственном воспитании. Сил у него и тогда уже было немного, но он сумел оказаться на высоте задачи.

В летние дни отец с сыном ходили иногда вместе в город чистить ботинки — Дик в накрахмаленном полотняном матросском костюмчике, отец в ладно скроенном пасторском сюртуке. Дик был красивый мальчуган, и отец гордился им. Он внушал Дику то, что сам знал о жизни, — большей частью простые и незыблемые истины, житей-

ские правила, почерпнутые из священнического обихода. «Как-то раз, я тогда только что принял духовное звание, случилось мне попасть в один дом в чужом городе. Вхожу в переполненную народом гостиную и не знаю, кто же тут хозяйка дома. Среди гостей нашлись кое-какие знакомые, но я не стал никого спрашивать, а прямо подошел к седой даме, сидевшей в глубине комнаты у окна, и представился ей. После этого у меня там завелось много друзей».

Рассказывалось подобное от чистоты сердца — отец всегда знал себе настоящую цену и на всю жизнь сохранил гордость, унаследованную от двух вдов, воспитавших его в убеждении, что нет больших достоинств, чем мужество, честность, учтивость и природное влечение к добру.

Небольшое наследство после жены отец твердо считал достоянием сына и все годы его учения в школе и в медицинском колледже аккуратно присылал ему раз в три месяца чек на причитающуюся сумму. Он был из тех, о ком в позолоченный век говорили не допускающим возражений тоном: «Человек он порядочный, но без изюминки».

…Дик послал за газетой и, продолжая свое хождение из угла в угол, выбрал подходящий по

времени трансатлантический рейс. Потом заказал телефонный разговор с Николь через Цюрих. В ожидании разговора он многое передумал и вспомнил, искренне жалея о том, что не всегда жил так безупречно, как собирался жить.

XIX

Целый час выраставший перед глазами ньюйоркский порт, блистательный фасад родины, на этот раз показался Дику торжественно-печальным, оттого что неотделим был от горя, причиненного ему смертью отца. Но когда он сошел на берег, это чувство исчезло и больше не возвращалось — ни на улицах, ни в отелях, ни в поездах, мчавших его сперва в Буффало, а оттуда на юг, в Виргинию, вместе с отцовским гробом. Только когда потрепанный местный поезд потащился по суглинку Уэстморлендского мелколесья, Дик вновь ощутил свою причастность ко всему, что его окружало; знакомой была звезда, которая первой зажглась в небе, холодный свет луны над Чизапикским заливом; ему слышался скрип шарабанных колес, безобидная праздная болтовня, ласковый плеск воды в первобытных медлительных речках с ласковыми индейскими именами.

На следующий день тело отца опустили в могилу среди сотен Дайверов, Хантеров и Дорси. Было утешительно, что он останется тут не один, а в кругу своей многочисленной родни. Насыпали невысокий холмик и по бурой рыхлой земле разбросали цветы. Ничто больше не связывало Дика с этими местами, и он не думал, что когда-нибудь вернется сюда. Он опустился на колени. Он знал людей, которые лежали здесь, крепких, жилистых, с горящими голубыми глазами, людей, чьи души вылеплены были из новой земли во тьме лесных чащ семнадцатого столетия.

— Прощай, отец, — прощайте, все мои предки.

Когда вступаешь на пирс океанского порта, ты уже не здесь и еще не там. Все ходит ходуном под длинным желтым навесом, гулко отражающим звуки. Шумит-гремит погрузка и посадка, дребезжат краны, а в воздухе уже тянет соленым запахом моря. Все бегут и торопятся, хотя времени довольно. Прошлое, твердь земная, уже позади; будущее в разинутой пасти над трапом судна; суматошная толкотня в проходе — беспокойное настоящее.

Но наконец ты на борту, и картина мира проясняется, вжимаясь в тесные рамки. Теперь ты — гражданин государства поменьше Андорры,

где все может случиться. У помощников судового экономa лица вытянутые или кривые — как и каюты; путешественники и провожающие смотрят презрительно. Но вот слышны громкие, надрывные свистки, все вокруг сотрясает могучая дрожь, и судно, плод человеческой мысли, уже в движении. Скользит мимо пирс вместе с людьми на нем; на миг судно кажется случайно откoловшимся куском пирса — но берег все дальше, уже не разглядеть лиц и не расслышать голосов, только какие-то пятна маячат вдали. Шире раздвигаются края гавани, и пароход выплывает в открытое море.

Самым ценным грузом на борту этого парохода был, по утверждению газет, Элберт Маккиско. Маккиско вошел в моду. Его романы были подделкой под творения лучших современных писателей — обстоятельство, которое не должно остаться недооцененным; к тому же все, позаимствованное у других, он умел основательно разводнить и опошлить на радость многим читателям, восторгавшимся тем, как легко понимать его. Успех пошел ему на пользу, сбив излишнюю спесь. Он хорошо знал себе цену — понимал, что по части энергии может оставить позади многих, куда более одаренных, и твердо решил извлечь

из своего успеха все, что возможно. «Я еще ничего не сделал, — рассуждал он. — Я знаю, что настоящего таланта у меня нет. Но если я буду писать книгу за книгой, может быть, однажды и напишу что-нибудь стоящее». Что ж, рекордные прыжки удавалось совершать и с менее прочных трамплинов. Прошлые унижения были позабыты. В сущности, психологической основой его успеха послужила дуэль с Томми Барбаном; после нее, особенно когда некоторые подробности стерлись из памяти, он значительно вырос в собственных глазах.

Дика он заметил среди других пассажиров на второй день плаванья, сперва недоверчиво оглядел его издали, потом подошел, дружелюбно представился и сел рядом. Дик отложил книгу, которую читал; не понадобилось и нескольких минут, чтобы разглядеть происшедшую в Маккиско перемену, и этот новый Маккиско, свободный от раздражающего чувства неполноценности, даже показался ему занятным собеседником. Круг «познаний» Маккиско был шире, чем у Гете, — забавно было слушать бесчисленные нехитрые комбинации слов, которые он выдавал за собственные мысли. Знакомство завязалось; они часто завтракали и обедали вместе. В качестве

почетного гостя Маккиско с супругой приглашен был сидеть за столом капитана, но, как он с нарождающимся снобизмом объяснил Дику, ему «действовала на нервы вся эта компания».

Вайолет стала шикарной дамой, щеголяла в туалетах от знаменитых couturieres[65] и без конца наслаждалась маленькими открытиями, которые благовоспитанные девицы успевают сделать до двадцати лет. Могла бы и она своевременно кое-чему научиться у матери, но формирование ее личности происходило главным образом в дешевых кинотеатриках Айдахо, и для матери не оставалось времени. Теперь она принадлежала к «избранному обществу» — включавшему еще несколько миллионов человек — и была вполне счастлива, хоть муж до сих пор без стеснения на нее цыкал, когда ее наивность чересчур уж била в глаза.

Маккиско сошли в Гибралтаре. На следующий вечер в Неаполе, по дороге из отеля на вокзал, Дик в автобусе разговорился с пожилой американкой, путешествовавшей с двумя дочерьми — они приехали на том же пароходе. У всех трех был такой жалкий, растерянный вид, что он возгорелся же-

---

[65] Notes: 65
Портних *(фр.)*.

ланием им помочь — а может быть, сыграть роль благодетеля. В поезде он их всячески старался развеселить, рискнул предложить вина за ужином и радовался от всего сердца, замечая в них первые признаки возрождающегося самодовольства. Он так щедро сыпал расхожими комплиментами, что сам готов был поверить в то, что говорил, тем более что для большего успеха своей выдумки пил бокал за бокалом — а дамы так и таяли, восхищенные привалившим им счастьем. Он расстался с ними, когда уже брезжил рассвет, а поезд в тряске и грохоте мчался от Кассино к Фрозиноне. Утром поезд пришел в Рим, и после эксцентричного по-американски прощанья на вокзале Дик, несколько утомленный, поехал в отель «Квиринал».

У конторки портье он вдруг оглянулся и застыл точно вкопанный. Как будто он выпил и вино, горячей волной разлившись по телу, ударило в голову — он увидел ту, кого надеялся увидеть здесь, ради кого проехал через все Средиземное море.

В эту самую минуту Розмэри тоже увидела его и обрадовалась, не успев удивиться; растерянно глянула на свою спутницу и, тут же позабыв о ней, бросилась вперед. Дик ждал, вытянувшись в струну, почти не дыша. Лишь когда она была

уже совсем близко, красивая новой, ухоженной красотой, точно холеная молодая лошадка с лоснящимися боками и начищенной сбруей, — он очнулся от оцепенения; и все-таки это произошло слишком быстро, он только и смог, что попробовать скрыть свою усталость. В ответ на ее открытый, сияющий взгляд он разыграл неуклюжую пантомиму, которая должна была означать: «Как, это вы? Вот уж кого не ожидал встретить».

Ее затянутые в перчатки руки накрыли его руку, лежавшую на конторке.

— Дик! Мы здесь снимаем «Былое величие Рима» — вернее, считается, что снимаем; в любой день мы можем уехать.

Он пристально смотрел на нее, надеясь, что, смущенная этим взглядом, она не заметит его небритых щек, его несвежей, измявшейся за ночь сорочки. По счастью, она торопилась.

— Мы рано начинаем, потому что к одиннадцати уже наползает туман. Позвоните мне после двух, хорошо?

Наверху, в своем номере, Дик понемногу пришел в себя. Он позвонил портье, чтобы его разбудили ровно в двенадцать, быстро разделся и буквально опрокинулся в сон.

Звонка портье он не услышал, но в два часа

проснулся сам, выспавшийся и отдохнувший. Распаковав чемоданы, отправил костюмы в утюжку и белье в стирку. Потом побрился, полежал с полчаса в теплой ванне и позавтракал. Via Nazionale уже была затоплена солнцем, и, чтобы впустить его в комнату, он слегка раздвинул портьеры на окнах, звякнувшие старинными бронзовыми кольцами. Дожидаясь, когда принесут костюм из утюжки, он развернул «Коррьере делла сера» и с удивлением узнал о выходе «una novella di Sainclair Lewis „Wall-Street“ nella quale autore analizza la vita sociale di una piccolla citta Americana»[66]. Потом стал думать о Розмэри.

Думалось поначалу туго. Она была молода и очаровательна, но то же самое можно было сказать о Топси. Вероятно, за эти четыре года у нее были любовники, и, вероятно, она любила их. Никогда ведь не можешь сказать с уверенностью, какое место занимаешь в чужой жизни. Но понемногу из всей этой невнятицы выкристаллизовалось одно — его собственное чувство. Ничто так не подстегивает в отношениях, как желание сохранить их вопреки известным уже преградам. Прошлое медленно оживало перед Диком,

[66] Notes: 66

«Романа Сэнклэра Льюиса „Уолл-стрит“, в котором автор анализирует общественную жизнь маленького американского городка» *(ит.).*

и ему захотелось, чтобы бесценная готовность Розмэри отдавать себя существовала только для него и только замкнутая в его воспоминаниях. Он старался отобрать в себе то, чем мог оказаться для нее привлекательным, — теперь такого было меньше, чем четыре года назад. Восемнадцать смотрят на тридцать четыре сквозь туманную дымку юности; но двадцать два с беспощадной четкостью видят все, что относится к тридцати восьми. К тому же в пору их встречи на Ривьере Дик находился в зените своей внутренней жизни; за это время его душевный накал успел ослабеть.

Когда пришел коридорный с костюмом, Дик облачился в белую сорочку, повязал черный галстук и заколол его булавкой с крупной жемчужиной; через другую такую жемчужину был пропущен шнурок от пенсне. После сна лицо его снова приняло кирпично-смуглый оттенок, приобретенный за годы жизни на Ривьере. Чтобы размяться, он сделал стойку на руках — при этом из кармана выпала авторучка и посыпалась мелочь. В три часа он позвонил Розмэри и был приглашен подняться к ней в номер. Чувствуя легкую дурноту после своих акробатических упражнений, он зашел по дороге в бар, выпить джину с тоником.

— Привет, доктор Дайвер!

Только потому, что в отеле жила Розмэри, Дик сразу узнал Коллиса Клэя. У него был тот же благополучно-самоуверенный вид, те же толстые щеки.

— Вы знаете, что Розмэри здесь? — спросил он.

— Да, мы случайно встретились утром.

— Я во Флоренции, услыхал, что она сюда приезжает, вот и прикатил сам на прошлой неделе. Ее теперь не узнать — за мамину юбку больше не держится. — Он тут же поправился: — Ну, то есть, в общем, была пай-девочка, а стала женщина как женщина, — ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Ох, и вьет же она веревки из здешних итальяшек! Сами увидите.

— Вы что, учитесь во Флоренции?

— Я? Ну да. Я там изучаю архитектуру. В воскресенье еду обратно — задержался, чтобы побывать на скачках.

Он непременно хотел приписать выпитое Диком к личному счету, который был открыт ему в баре, и Дику немалых усилий стоило помешать этому.

XX

Выйдя из лифта, Дик долго шел по разветвленному коридору и наконец свернул на знакомый голос, доносившийся из полуотворенной двери. Розмэри встретила его в черной пижаме; посреди комнаты стоял столик на колесах — она пила кофе.

— Вы все такая же красивая, — сказал Дик. — Даже еще немножко похорошели.

— Кофе хотите, юноша? — спросила она.

— Мне стыдно, что вы меня поутру видели таким страшилищем.

— У вас был усталый вид, но вы уже отдохнули? Хотите кофе?

— Нет, спасибо.

— Сейчас вы совсем прежний, а утром я даже напугалась. Мама собирается сюда в будущем месяце, если мы до тех пор не сорвемся с места. Она меня все спрашивает, не встречала ли я вас, — можно подумать, что вы живете на соседней улице. Вы всегда нравились моей маме — она считала, что знакомство с вами мне на пользу.

— Рад слышать, что она меня еще помнит.

— Конечно, помнит, — заверила его Розмэри. — Очень даже помнит.

— Я вас несколько раз видел на экране, — сказал Дик. — Один раз сумел даже устроить себе индивидуальный просмотр «Папиной дочки».

— В этой новой картине у меня хорошая роль — если только ее не порежут при монтаже.

Она пошла к телефону, по дороге коснувшись плеча Дика. Позвонила, чтобы убрали столик, потом удобно устроилась в глубоком кресле.

— Я была совсем девчонкой, когда мы познакомились, Дик. Теперь я уже взрослая.

— Вы должны мне все рассказать о себе.

— Как поживает Николь — и Ланье, и Топси?

— Спасибо, хорошо. Все вас часто вспоминают…

Зазвонил телефон. Пока она разговаривала, Дик полистал лежавшие на тумбочке книги — два романа, один Эдны Фербер[67], другой Элберта Маккиско. Явился официант и увез столик; без него Розмэри в своей черной пижаме выглядела как-то сиротливо.

— У меня гость… Нет, не очень. А потом должна ехать на примерку костюма, и это надолго… Боюсь, что не выйдет…

Она улыбнулась Дику так, будто теперь, когда

[67] Notes: 67

Эдна Фербер (1885–1968) — американская писательница, лауреат Пулитцеровской премии (1924).

столика в комнате не было, почувствовала себя свободнее, — будто им удалось наконец вырваться из земных передряг и уединиться в раю…

— Ну, вот… — сказала она. — Знаете, чем я была занята последний час? Готовилась к встрече с вами.

Но тут ее опять отвлек телефон. Дик встал, чтобы переложить свою шляпу с постели на подставку для чемоданов. Заметив его движение, Розмэри испуганно прикрыла рукой трубку.

— Вы хотите уйти?

— Нет.

Когда она повесила трубку на рычаг, он сказал, чтобы как-то скрепить расползающееся время:

— Я теперь плохо выношу разговоры, которые мне ничего не дают.

— Я тоже, — отозвалась Розмэри. — Вот сейчас звонил господин, который был когда-то знаком с моей двоюродной сестрой. Вы подумайте — звонить по такому поводу!

Зов любви — как еще можно было это истолковать? Не случайно же она заслонялась от него какими-то пустяками. Он заговорил, посылая ей свои слова, точно письма, чтобы у него оставалось время, пока они дойдут до нее:

— Быть здесь, так близко от вас, и не поцело-

вать вас — это очень трудно.

Они поцеловались, стоя посреди комнаты. Поцелуй был долгий, страстный; потом она еще на миг прижалась к нему и вернулась в свое кресло.

Было хорошо и уютно, но так не могло продолжаться без конца. Либо вперед, либо назад. Когда снова раздался телефонный звонок, Дик пошел в альков, где стояла кровать, лег и раскрыл роман Элберта Маккиско. Минуту спустя Розмэри отошла от телефона и присела на край кровати.

— У вас удивительно длинные ресницы, — сказала она.

— Наш микрофон установлен в зале, где сейчас происходит студенческий бал. Среди гостей — мисс Розмэри Хойт, известная любительница длинных ресниц…

Она зажала ему рот поцелуем. Он притянул ее и заставил лечь рядом, и они целовались до тех пор, пока у обоих не захватило дух. Ее дыхание было легким и свежим, как у ребенка, а губы чуть потрескались, но в углах оставались мягкими.

Когда ничто уже не существовало, только путаница тел и одежд, и сила его рук в борьбе, и нежность ее груди, она шепнула: «Нет, сейчас нельзя. Я не могу сегодня».

Он послушно загнал свою страсть в уголок сознания; потом, приподняв ее хрупкое тело так, что она словно бы парила над ним в воздухе, он сказал почти беспечным голосом:

— Ну, не так уж это важно, детка.

Оттого что он смотрел на нее снизу вверх, у нее сделалось совсем другое лицо, будто раз навсегда озаренное луной.

— Было бы романтически оправдано, если б это случилось именно с вами, — сказала она. Вывернувшись из его рук, она подошла к зеркалу и стала взбивать растрепавшиеся волосы. Потом придвинула себе стул к кровати и погладила Дика по щеке.

— Скажите мне правду о себе, — попросил он.

— Я вам никогда не говорила неправды.

— Допустим — но есть логика вещей.

Оба рассмеялись; но он продолжал свое:

— Вы в самом деле еще невинны?

— Что-о-о вы! — пропела она. — У меня было шестьсот сорок любовников — такой ответ вам нужен?

— Вы не обязаны передо мной отчитываться.

— Вам нужен материал для психологического исследования?

— Просто когда видишь нормальную, здоровую

девушку двадцати двух лет, живущую в году тысяча девятьсот двадцать восьмом, естественно предположить, что она уже пробовала заводить романы.

— Пробовала — только все не всерьез.

Дик никак не мог поверить. Ему только было неясно, создает ли она между ними искусственную преграду или просто хочет повысить себе цену на тот случай, если решит уступить.

— Хотите, погуляем на Пинчио, — предложил он.

Он отряхнул костюм, пригладил волосы. Была минута, и минута прошла. Три года Дик служил для Розмэри эталоном, по которому она мерила всех мужчин, и немудрено, что он приобрел в ее глазах черты идеального героя, возвышающегося над толпой обыкновенных смертных. Она не хотела, чтобы он был как все, а встретила тот же требовательный напор, словно он норовил отнять у нее часть ее самой, положить в карман и унести.

Когда они шли по зеленому дерну среди ангелов и философов, фавнов и водяных струй, она взяла его под руку и долго прилаживалась и примащивалась поудобнее, будто устраивалась навсегда. Сорвала на ходу веточку и разломила, но пружин-

ки в ней не нашла. И вдруг, оглянувшись на Дика, увидела на его лице то, что так хотела увидеть. Она схватила его руку в перчатке и поцеловала, а потом стала по-ребячьи тормошить его до тех пор, пока он не улыбнулся, и тогда она сама засмеялась, и все стало хорошо.

— Я не могу провести с вами вечер, милый, — давно обещала одним знакомым. Но если вы способны встать пораньше, я вас завтра возьму с собой на съемку.

Дик пообедал в одиночестве, рано лег спать, и в половине седьмого уже ждал Розмэри в вестибюле отеля. В машине она сидела рядом с ним, свежая, сияющая, вся точно пронизанная утренним солнцем. Они выехали через ворота святого Себастиана на Аппиеву дорогу и долго ехали по ней, пока не увидели в стороне гигантскую декорацию Колизея, больше, чем настоящий Колизей. Розмэри поручила Дика высокому человеку, который повел его смотреть бутафорские арки, и скамьи амфитеатра, и посыпанную песком арену. Сегодня Розмэри должна была сниматься в сцене, действие которой происходит в темнице для узников-христиан. Они пошли к месту съемки и увидели, как Никотера, один из многочисленных кандидатов в новые Рудольфы Валентино,

картинно расхаживает перед дюжиной «христианок», меланхолически глядящих из-под чудовищных наклеенных ресниц.

Прибежала Розмэри в тунике до колен.

— Смотрите повнимательней, — шепнула она Дику. — Я хочу, чтобы вы мне потом сказали ваше мнение. На черновом просмотре все говорили…

— Что такое черновой просмотр?

— Это когда смотрят материал, снятый накануне. Так вот, все говорили, что впервые у меня появилось что-то сексуальное…

— Я этого не замечаю.

— Где уж вам! А я верю, что появилось.

Никотера в своей леопардовой шкуре озабоченно заговорил с Розмэри, а в двух шагах от них осветитель что-то доказывал режиссеру, опершись на его плечо. Потом режиссер сердито стряхнул с плеча руку осветителя и стал вытирать мокрый от пота лоб, а проводник Дика сказал: «Опять он под мухой — и как еще!»

— Кто? — спросил Дик, но, прежде чем тот успел ответить, режиссер подскочил к ним.

— Кто это под мухой — сами вы под мухой, наверно! — Он стремительно повернулся к Дику, как бы призывая его в судьи. — Вот, видали? Как только напьется, так у него все другие под мухой,

и как еще! — Он метнул на проводника еще один свирепый взгляд, потом захлопал в ладоши: — Все на площадку — начинаем работать!

Дик чувствовал себя словно в гостях у большого и суматошного семейства. Какая-то актриса подошла к нему и проговорила с ним минут пять, принимая его за актера, недавно приехавшего из Лондона. Обнаружив свою ошибку, она обратилась в бегство. Почти все, имевшие отношение к съемке, смотрели на остальное человечество либо сверху вниз, либо снизу вверх, причем сверху вниз чаще. Но все это были смелые, трудолюбивые люди, неожиданно выдвинувшиеся на видное место в стране, которая целое десятилетие хотела только, чтобы ее развлекали.

Снимали до тех пор, пока солнце не заволокло дымкой — прекрасное освещение для художников, но не для кинокамеры; то ли дело прозрачный калифорнийский воздух. Никотера проводил Розмэри к машине и что-то ей сказал на ухо, прощаясь, — но она даже не улыбнулась в ответ.

Дик и Розмэри позавтракали в Castelli del Caesari — великолепном ресторане на холме, с видом на развалины форума неизвестно какого периода упадка. Розмэри выпила коктейль и

немного вина, а Дик выпил достаточно, чтобы его чувство смутного недовольства собой улетучилось. Потом они вернулись в отель, оживленные и счастливые, полные какого-то радостного спокойствия. Она захотела, чтобы он взял ее, и он ее взял, и то, что началось детской влюбленностью на морском берегу, получило наконец завершение.

XXI

Вечером Розмэри опять была занята — праздновали чей-то день рождения. В вестибюле Дик повстречал Коллиса Клэя, но ему хотелось пообедать без собеседников, и он тут же выдумал, будто его ждут в отеле «Эксцельсиор». Но он не отказался зайти с Коллисом в бар, и после выпитого коктейля его смутное недовольство собой отлилось в четкую и определенную форму: пора возвращаться в клинику, прекратить прогул, который больше ничем нельзя извинить. То, что повлекло его сюда, было не столько влюбленностью, сколько романтическим воспоминанием. Одна у него любовь — Николь; пусть нередко ему и тяжело с ней, а все-таки она его единственная настоящая. Проводить время с Розмэри значило потворствовать своим слабостям; проводить его

с Коллисом значило умножать ничто на ничто.

У входа в «Эксцельсиор» он столкнулся с Бэби Уоррен. Она широко раскрыла свои большие красивые глаза — точь-в-точь те камушки, которыми любят играть дети.

— Я думала, вы в Америке, Дик! А Николь тоже приехала?

— Я вернулся в Европу через Неаполь.

Траурная повязка на его рукаве заставила ее спохватиться:

— Глубоко сочувствую вашему горю.

Деваться было некуда, обедать они пошли вместе.

— Рассказывайте, что у вас слышно, — потребовала она.

Дик по-своему изложил ей события последних месяцев. Бэби нахмурилась; ей нужно было взвалить на кого-то ответственность за надломленную жизнь сестры.

— Вы не думаете, что доктор Домлер с самого начала неправильно ее лечил?

— Методы лечения тут довольно трафаретные — хотя индивидуальный подход к пациенту, разумеется, имеет значение.

— Дик, я, конечно, не специалист и не берусь давать вам советы, но, может быть, ей полезно

было бы переменить обстановку — вырваться из больничной атмосферы, жить так, как живут все люди?

— Вы же сами настаивали на этой клинике. Говорили, что тогда только перестанете беспокоиться о Николь…

— Ну, потому что мне не нравилась та отшельничья жизнь, которую вы вели на Ривьере, — забились куда-то в горы, далеко от людей. Я вовсе не предлагаю вам вернуться туда. Почему бы вам, например, не поехать в Лондон? Англичане — самые уравновешенные люди на свете.

— Напрасно вы так думаете, — возразил он.

— Не думаю, а знаю. Я достаточно хорошо изучила их. Сняли бы себе на весну в Лондоне дом — у меня даже есть на примете прелестный домик на Талбот-сквер, который сдается со всей обстановкой. Вот поселились бы в нем и жили среди здоровых, уравновешенных англичан.

Она бы еще долго пересказывала ему обветшалый пропагандистский репертуар 1914 года, но он со смехом прервал ее:

— Я недавно читал один роман Майкла Арлена, и если это…

Она уничтожила Майкла Арлена одним взмахом салатной ложки.

— Он пишет только про каких-то дегенератов. А я имею в виду достойных, респектабельных англичан.

Но в воображении Дика место так легко отвергнутых ею друзей заняли те безликие иностранцы, какими кишмя кишат небольшие отели Европы.

— Не мое, конечно, дело, — снова начала Бэби, готовясь к очередному наскоку, — но оставить ее одну в такой атмосфере…

— Я поехал в Америку хоронить отца.

— Да, да, я понимаю. Я уже высказала вам свое сочувствие. — Она потеребила подвеску хрустального ожерелья. — Но у нас теперь столько денег. И нужно прежде всего употребить их на то, чтобы вылечить Николь.

— Во-первых, я как-то плохо представляю себе, что я буду делать в Лондоне.

— А почему? Мне кажется, вы там могли бы работать не хуже, чем в любом другом месте.

Он откинулся назад и внимательно на нее посмотрел. Если ей и приходила когда-нибудь в голову скверная правда о причине заболевания Николь, она решительно отмела эту правду, затолкала ее подальше в пыльный чулан, точно купленную по ошибке картину не ставшего знаменитым художника.

Разговор был продолжен в «Ульпии», заставленном винными бочками погребке, под звон и стон гитары, на которой молодой музыкант мастерски исполнял Suona fanfara mia[68]. Коллис Клэй тоже был там и подсел к их столику.

— Может быть, я неподходящий муж для Николь, — сказал Дик. — Но она все равно вышла бы за кого-нибудь вроде меня, за человека, в котором рассчитывала найти опору.

— Вы считаете, что с другим мужем она была бы счастливее? — вслух подумала Бэби. — Что ж, можно попробовать.

Только когда Дик закачался от смеха, она поняла всю нелепость своего замечания.

— Поймите меня правильно, — поспешила она сказать. — Вы не должны думать, что мы не благодарны вам за все, что вы сделали. И мы знаем, вам часто приходилось нелегко…

— Ради бога, Бэби! — воскликнул Дик. — Если б я не любил Николь, другое дело.

— Но ведь вы ее любите? — с беспокойством спросила она.

Коллис явно собирался вступить в разговор, и Дик решил переменить тему.

---

[68] Notes: 68
«Звучи, моя фанфара» *(ит.)*.

— Поговорим о чем-нибудь другом, — сказал он. — О вас, например. Почему вы не выходите замуж? Мы слышали, будто вы помолвлены с лордом Пэли, двоюродным братом…

— Ах, нет. — В ней вдруг появились робость и уклончивость. — Это было в прошлом году.

— Но почему все-таки вы не выходите замуж? — не отставал Дик.

— Сама не знаю. Один человек, которого я любила, погиб на войне. Другой от меня отказался.

— Расскажите подробнее, Бэби. Я слишком мало знаю о вас — о ваших взглядах, вашей личной жизни. Вы никогда мне об этом не рассказываете. Мы беседуем только о Николь.

— Они были англичане, и тот и другой. По-моему, нет на свете более безупречных людей, чем настоящие англичане. Я, по крайней мере, не встречала. Так вот, этот человек, — впрочем, это длинная история. Длинные истории скучно слушать, правда?

— И как еще! — сказал Коллис.

— Отчего же, — по-моему, все зависит от рассказчика.

— Это уж ваша специальность. Вы умеете поддерживать общее веселье одной фразой или даже одним словом, вставленным время от времени.

Тут нужен особый талант.

— Нет, просто сноровка, — улыбнулся Дик. В третий раз за вечер он не соглашался с ее мнением.

— Да, я придаю большое значение форме. Люблю, чтобы все было как следует и с размахом. Вы человек другого склада, но вы должны признать, что это говорит о моей основательности.

Тут Дик даже поленился возражать.

— Да, я знаю, есть люди, которые говорят: Бэби Уоррен скачет по всей Европе, гоняется за новинками и упускает главное, что есть в жизни. А я считаю наоборот — я из тех немногих, кто как раз главного не упускает. Я встречалась с самыми интересными людьми своего времени. — Гитарист опять заиграл, и тренькающие переборы гитары глушили разговор, но Бэби повысила голос: — Я редко совершаю большие ошибки…

— Только очень большие, Бэби.

Она уловила в его взгляде насмешку и решила, что продолжать не стоит. Видимо, они просто в силу своей природы не могут ни в чем сойтись. И все-таки что-то в ней импонировало ему, и по дороге к «Эксцельсиору» он наговорил ей кучу любезностей, чем поверг ее в немалое смущение.

На следующий день Розмэри пожелала непре-

менно угостить Дика завтраком. Она повела его в маленькую тратторию, содержатель которой, итальянец, долго прожил в Америке, и там они ели яичницу с ветчиной и вафли. После завтрака они вернулись в отель. Открытие Дика, что ни он ее, ни она его не любит, не охладило, а скорей даже разожгло его страсть. Теперь, зная, что не войдет в ее жизнь надолго, он желал ее, как желают блудницу. Вероятно, для многих мужчин только это и обозначается словом «любовь», а не душевная одержимость, не растворение всех красок жизни в неяркой ровной голубизне — то, чем когда-то была для него любовь к Николь. Ему и сейчас делалось физически дурно при одной мысли, что Николь может умереть, или навсегда утратить разум, или полюбить другого.

В номере у Розмэри сидел Никотера, и они долго болтали о своих киношных делах. Когда наконец Розмэри намекнула ему, что пора уходить, он с комическим возмущением подчинился, довольно нахально подмигнув на прощанье Дику. Потом, как обычно, затрещал телефон, и очередной разговор длился добрых десять минут, так что Дик потерял терпение.

— Пойдем лучше ко мне, — предложил он, и она согласилась.

Она лежала на широкой тахте, положив голову к нему на колени; он играл мягкими локонами, обрамлявшими ее лоб.

— Что, если я опять задам вопрос? — сказал он.

— О чем?

— О ваших романах. Я просто любопытен — чтобы не сказать похотливо любопытен.

— Вы хотите знать, что было у меня после встречи с вами?

— Или до.

— Нет, нет, — вскинулась она. — «До» ничего не было. Вы были первым мужчиной, который для меня что-то значил. Вы и сейчас единственный, кто для меня что-то значит по-настоящему. — Она помолчала, задумавшись. — После того лета я целый год ни на кого не смотрела.

— А потом?

— Потом — был один человек.

Он воспользовался расплывчатостью ее ответа.

— Хотите, я вам опишу все, как было: первый роман ни к чему не привел, и за ним последовала долгая пауза. Второй оказался удачнее, но для вас это был роман без любви. На третий раз все сложилось к общему удовольствию…

Он уже не мог прервать этого самоистязания.

— Потом был один длительный роман, который постепенно изжил себя, и тут вы испугались, что у вас ничего не останется для того, кого вы полюбите всерьез. — Он чувствовал себя почти викторианцем. — После этого пошла мелочь, легкие флирты, и так продолжалось до последнего времени. Ну как, похоже?

Она смеялась сквозь слезы.

— Ни капельки не похоже, — сказала она, и Дик невольно почувствовал облегчение. — Но когда-нибудь я в самом деле полюблю всерьез, и уж кого полюблю, того больше не выпущу.

Но вдруг и тут зазвонил телефон и голос Никотеры спросил Розмэри. Дик прикрыл трубку ладонью.

— Будете говорить с ним?

Она подошла к телефону и затараторила по-итальянски с такой быстротой, что Дик не мог разобрать ни слова.

— Вы слишком много времени тратите на телефон, — сказал он. — Уже почти четыре часа, а в пять у меня деловое свидание. Идите развлекайтесь с синьором Никотерой.

— Зачем вы говорите глупости?

— Мне кажется, можно было бы отставить его на то время, что я здесь.

— Не так все это просто. — Она вдруг разрыдалась. — Дик, я люблю вас, только вас и никого больше. Но что вы можете дать мне?

— Что может дать Никотера кому бы то ни было?

— Это совсем другое дело.

…потому что молодое тянется к молодому.

— Он ничтожный итальяшка! — сказал Дик. Он бесновался от ревности, он не хотел, чтобы ему опять причинили боль.

— Он просто мальчик, — сказала она, всхлипывая. — Вы сами знаете, что я прежде всего ваша.

Поутихнув, он обнял ее за талию, но она устало отклонилась назад и на минуту застыла так, словно в заключительной позе балетного адажио, с закрытыми глазами, со свесившимися волосами утопленницы.

— Отпустите меня. Дик, у меня что-то все в голове перепуталось.

Он наступал на нее — большая птица с взъерошенными рыжими перьями, — а она инстинктивно отстранялась, испуганная этой неоправданной ревностью, которая погребла под собой привычную ласку и чуткость.

— Я хочу знать правду.

— Вот вам правда: мы много бываем вместе,

он делал мне предложение, но я отказала. Что из этого? Чего вы от меня хотите? Вы мне никогда предложения не делали. По-вашему, лучше, если я растрачу всю жизнь на флирты с недоумками вроде Коллиса Клэя?

— Вчерашний вечер вы провели с Никотерой?

— Это вас не касается. — Снова она заплакала. — Нет, нет, Дик, простите меня, вас все касается. Вы и мама — единственные дорогие мне люди на свете.

— А Никотера?

— Сама не знаю.

Она достигла той меры уклончивости, когда самые простые слова кажутся полными тайного значения.

— Вы больше не чувствуете ко мне то, что чувствовали в Париже?

— Когда я с вами, мне хорошо и спокойно. Но в Париже было по-другому. А может быть, это только кажется — трудно судить о своих чувствах столько времени спустя. Ведь правда?

Он подошел к шкафу, достал выходной костюм, свежую сорочку, галстук — раз ему пришлось впитать в свое сердце злобу и ненависть этого мира, значит, для Розмэри там места нет.

— Не в Никотере дело! — воскликнула она. —

Дело в том, что завтра утром мы все уезжаем в Ливорно. Ах, зачем, зачем это случилось! — Опять у нее потоком хлынули слезы. — Как мне жаль! Лучше бы вы не приезжали сюда. Лучше бы все оставалось просто чудесным воспоминанием. У меня так тяжело на душе, будто я поссорилась с мамой.

Он начал одеваться. Она встала и пошла к двери.

— Я сегодня не поеду в гости. — Это была последняя попытка. — Я останусь с вами. Мне никуда не хочется ехать.

Нарастала новая волна, но он отступил, чтобы его опять не захлестнуло.

— Я весь вечер буду у себя в номере, — сказала она. — До свидания, Дик.

— До свидания.

— Ах, как жаль, как жаль. Как мне жаль. Что же это все-таки?

— Я давно уже пытаюсь понять.

— Зачем же было приходить с этим ко мне?

— Я как Черная Смерть, — медленно произнес он. — Я теперь приношу людям только несчастье.

XXII

Всего четверо посетителей было в баре отеля «Квиринал» в предвечерний час: расфуфыренная итальянка, без умолку стрекотавшая у стойки под аккомпанемент «Si… Si… Si…»[69] усталого бармена, сноб-египтянин, изнывавший от скуки один, но остерегавшийся своей соседки, и Дик с Коллисом Клэем.

Дик всегда живо реагировал на то, что было вокруг, тогда как Клэй жил словно в тумане, даже самые яркие впечатления расплывались в его рано облетевшемся мозгу; поэтому первый говорил, а второй только слушал.

Измочаленный всем пережитым за этот день, Дик срывал зло на итальянцах. Он то и дело оглядывался по сторонам, словно надеясь, что какой-нибудь итальянец услышит его и возмутится.

— Понимаете, сижу я с моей свояченицей в «Эксцельсиоре» за чашкой чая. Входят двое, а мест в зале нет — нам достался последний столик. Тогда один из них подходит к нам и говорит: «Кажется, этот стол был оставлен для княгини

---

[69] Notes: 69
Да… Да… Да… *(ит.)*

Орсино». — «Не знаю, говорю, таблички на нем не было». А он опять: «Но стол был оставлен для княгини Орсино». Я ему даже не ответил.

— А он что?

— Повернулся и ушел. — Дик заерзал на стуле. — Не люблю я их. Вчера на минуту оставил Розмэри одну перед витриной магазина, и сейчас же какой-то офицерик стал кружить около, заломив набок фуражку.

— Не знаю, — с запинкой произнес Коллис. — Мне лично больше нравится здесь, чем в Париже, где на каждом шагу у вас норовят очистить карманы.

Коллис привык получать удовольствие от жизни и неодобрительно относился ко всему, что могло это удовольствие испортить.

— Не знаю, — повторил он. — Мне здесь, в общем, нравится.

Дик мысленно перебрал картины, отложившиеся в памяти за эти дни. Путь в контору «Американ экспресс» среди кондитерских запахов Via Nazionale; грязный туннель, выводящий на площадь Испании, к цветочным киоскам и дому, где умер Китс[70]. Дика прежде всего инте-

---

[70] Notes: 70

Джон *Китс* (1795–1821) — английский поэт-романтик.

ресовали люди; кроме людей, он замечал разве что погоду; города запоминались только тогда, когда их окрашивали связанные с ними события. В Риме пришла к концу его мечта о Розмэри.

Подошел посыльный и вручил Дику записку.

«Я никуда не поехала, — говорилось в записке, — я у себя в номере. Мы рано утром уезжаем в Ливорно».

Дик вернул записку посыльному и дал ему на чай.

— Скажите мисс Хойт, что вы меня не нашли. — Он повернулся к Коллису и предложил отправиться в «Бонбониери».

Они оглядели вошедшую в бар проститутку с тем минимумом внимания, которого требовала ее профессия, и были вознаграждены дерзким зазывным взглядом подведенных глаз; прошли через пустой вестибюль с тяжелыми портьерами, в складках которых копилась многолетняя пыль; кивнули на ходу ночному швейцару, поклонившемуся с едким подобострастием всех ночных дежурных во всех отелях. Потом сели в такси и нырнули в скуку и сырость ноябрьского вечера. На темных улицах не было женщин, только мужчины с испитыми лицами, в куртках, застегнутых наглухо, кучками стояли у перекрестков,

подпирая холодный камень стен.

— Ну и ну! — шумно вздохнул Дик.

— Вы о чем?

— Вспомнил этого типа в «Эксцельсиоре»: «Стол оставлен для княгини Орсино». Вы знаете, что такое римская аристократия? Самые настоящие бандиты; это они завладели храмами и дворцами, когда развалилась империя, и стали грабить народ.

— А мне нравится Рим, — упорствовал Коллис. — Почему вы не съездите на скачки?

— Не люблю скачки.

— Вам бы понравилось. Что там делается с женщинами…

— Мне здесь ничего не может понравиться. Я люблю Францию, где каждый воображает себя Наполеоном, — а здесь каждый воображает себя Христом.

Приехав на место, они спустились в кабаре — небольшой зал с деревянными панелями, которые выглядели безнадежно непрочными в сочетании с холодным камнем стен. Оркестр вяло наигрывал танго, и пар десять или двенадцать вычерчивали по паркету изысканные и сложные фигуры, столь режущие американский глаз. Избыток официантов предотвращал суету, неиз-

бежную даже в менее людных сборищах; и если что своеобразно оживляло атмосферу, так это господствовавшее в зале тревожное ожидание, будто вот-вот что-то оборвется — танец, ночь, те силы, которые все удерживали в равновесии. Впечатлительный гость чувствовал сразу, что чего бы он ни искал здесь, ему вряд ли удастся это найти.

Дику это, во всяком случае, было ясно. Он осмотрелся по сторонам, надеясь зацепиться взглядом за что-нибудь, что хоть на час дало бы пищу если не уму, то воображению. Но ничего не нашлось, и он снова повернулся к Коллису. Он уже пробовал высказывать Коллису занимавшие его мысли, но тот оказался на редкость беспамятным и невосприимчивым собеседником. Получасового общения с Коллисом было достаточно, чтобы Дик почувствовал, что и сам тупеет.

Они выпили бутылку итальянского шипучего вина; Дик был бледен, у него уже шумело в голове. Он жестом подозвал дирижера оркестра к своему столику. Дирижер был негр с Багамских островов, заносчивый и несимпатичный, и через пять минут вспыхнул скандал.

— Вы меня пригласили сесть с вами.

— Ну, пригласил. И дал вам пятьдесят лир, так

или не так?

— Ну дали. И что из этого? Что из этого?

— А то, что я дал вам пятьдесят лир — так или не так? А вы требуете еще.

— Вы меня пригласили, так или не так? Так или не так?

— Ну, пригласил, но я дал вам пятьдесят лир.

— Ну, дали. Ну, дали.

Разобиженный негр встал и ушел, еще больше испортив Дику настроение. Но вдруг он заметил, что какая-то девушка улыбается ему с другой стороны зала, и сейчас же бледные тени римлян, маячившие вокруг, стушевались и отодвинулись в стороны. Девушка была англичанка, белокурая, со здоровым английским румянцем на личике, и она опять улыбнулась знакомой ему улыбкой, даже в плотском призыве отрицавшей вожделение плоти.

— Я не я, если эта красотка не делает вам авансы, — сказал Коллис.

Дик встал и между столиками направился к ней.

— Разрешите вас пригласить?

Пожилой англичанин, который сидел с нею, сказал почти виновато:

— Я скоро уйду.

Отрезвевший от возбуждения Дик повел девушку танцевать. От нее веяло всем, что есть хорошего в Англии; звонкий голос напоминал о садах, мирно зеленеющих в оправе моря, и Дик, отстранясь, чтобы лучше ее разглядеть, говорил ей любезности искренне, до дрожи в голосе. Она обещала прийти и посидеть с ними после того, как уйдет ее спутник. Когда Дик привел ее на место, англичанин заулыбался все с тем же виноватым видом.

Вернувшись к своему столику, Дик заказал еще бутылку того же вина.

— Она похожа на какую-то киноактрису, — сказал он. — Никак не вспомню, на кого именно. — Он нетерпеливо оглянулся через плечо. — Ну что же она так долго?

— Хотел бы я быть киноактером, — задумчиво сказал Коллис. — Мне предстоит работать в фирме отца, но не скажу, что меня увлекает такая перспектива. Двадцать лет просидеть в конторе в Бирмингеме…

Его голос звучал протестом против гнета материалистической цивилизации.

— Слишком мелко для вас?

— Вовсе я не то хотел сказать.

— Нет, именно то.

— Откуда вы знаете, что я хотел сказать? Если вам так нравится работать, почему вы не лечите больных?

Они чуть было не поссорились, но к этому времени оба уже были настолько пьяны, что тут же позабыли из-за чего. Коллис собрался уходить, и Дик долго жал ему руку на прощанье.

— Смотрите же, обдумайте хорошенько, — наставительно сказал он.

— Что обдумать?

— Сами знаете что. — Ему казалось, что он дал Коллису какой-то совет насчет его работы в отцовской фирме, и очень дельный, разумный совет.

Клэй растворился в пространстве. Дик допил бутылку и опять пошел танцевать с англичанкой, принуждая свое непокорное тело к рискованным поворотам и твердым, энергичным шагам. Но вдруг произошло нечто совершенно непонятное. Он танцевал с девушкой, потом музыка смолкла — и девушки не стало.

— Вы не знаете, где она?

— Кто она?

— Девушка, с которой я танцевал. Только что была, и вдруг нету. Наверно, тут где-нибудь.

— Нельзя! Нельзя! Это дамская комната.

Он вошел в бар и облокотился на стойку. Рядом стояли еще какие-то двое, и он хотел поговорить с ними, но не знал, с чего начать разговор. Можно было порассказать им о Риме и о буйных родоначальниках семейств Колонна и Гаэтани, но, пожалуй, это было бы слишком скоропалительное начало. Фарфоровые фигурки, украшавшие табачный киоск, вдруг посыпались на пол; поднялся переполох, и у него возникло смутное подозрение, что причиной был он, поэтому он вернулся в кабаре и выпил чашку черного кофе. Коллис исчез, англичанка тоже исчезла, и ничего больше не оставалось, как поехать в отель и с тяжелым сердцем лечь спать. Он расплатился по счету, взял пальто и шляпу и вышел.

Лужи грязной воды стояли в канавах и в неровностях булыжной мостовой; с Кампаньи наползала болотная сырость, утренний воздух был отравлен миазмами отработанного пара. Четверо таксистов обступили Дика, поблескивая глазами в щелочках набрякших век. Одного, назойливо лезшего ему прямо в лицо, он с силой оттолкнул.

— Quanto a отель «Квиринал»?

— Cento lire[71].

---

[71] Notes: 71

— Сколько до отеля «Квиринал»?

— Сто лир *(ит.)*.

Шесть долларов. Он отрицательно покачал головой и предложил тридцать лир — вдвое против обычной дневной цены; но все четверо, как один, пожали плечами и отошли.

— Trente cingue lire e mancie[72], — твердо сказал он.

— Cento lire.

Дик перешел на родной язык.

— Сто лир за полмили пути? Сорок, больше не дам.

— Не пойдет.

Дик едва не падал от усталости. Он дернул дверцу ближайшего такси и сел.

— Отель «Квиринал»! — скомандовал он шоферу, упрямо стоявшему у передней дверцы. — Нечего скалить зубы, везите меня в «Квиринал».

— Не повезу.

Дик вылез из машины. У подъезда «Бонбоньери» кто-то долго пререкался с таксистами, а потом предложил свои услуги в качестве переводчика; между тем самый назойливый из таксистов снова надвинулся на Дика, крича и отчаянно жестикулируя, и Дик снова оттолкнул его.

— Мне нужно в отель «Квиринал».

---

[72] Notes: 72
Тридцать пять лир и чаевые *(ит.)*.

— Он говорит — одна сотня лир, — объяснил добровольный переводчик.

— Я понял. Скажите, что я согласен дать пятьдесят. Да отвяжитесь вы! — Последнее относилось к назойливому таксисту, который подступил в третий раз. Услышав окрик, он смерил Дика взглядом и смачно плюнул в знак своего презрения.

Весь тот накал чувств, в котором Дик прожил неделю, вдруг нашел себе выход в мгновенном порыве к насилию — благородный выход, освященный традициями его родины; он шагнул вперед и ударил таксиста по лицу.

Сейчас же вся четверка бросилась на него, угрожающе размахивая руками, пытаясь окружить его со всех сторон; но Дик, спиной прижавшись к стене у самого входа в ресторан, бил наудачу, со смешком отражая неуклюжие наскоки своих противников, их преувеличенные, показные удары. Эта пародия на драку продолжалась с переменным успехом несколько минут, но тут Дик поскользнулся и упал. Он почувствовал боль, однако сумел снова встать на ноги и безуспешно барахтался в кольце чьих-то рук, пока это кольцо внезапно не разомкнулось. Раздался какой-то новый голос, завязался новый спор, но Дик не слушал; он стоял, прислонясь к стене, задыхаю-

щийся, взбешенный унизительной нелепостью своего положения. Он видел, что сочувствие не на его стороне, но и мысли не допускал, что может быть не прав.

Решено было отправиться в полицейский участок и там во всем разобраться. Кто-то поднял с земли и подал Дику его шляпу, кто-то довольно мягко взял его под руку, и, вместе с таксистами пройдя несколько шагов и свернув за угол, он вступил в помещение с голыми стенами, с единственной мутной лампочкой под потолком, где томились без дела несколько carabinieri[73].

За столом сидел жандармский капитан. Человек, остановивший драку, стал длинно рассказывать что-то по-итальянски, указывая на Дика, а таксисты то и дело перебивали его взрывами гневной брани. Капитан стал проявлять признаки нетерпения. Наконец он поднял руку, и обличительный хор, еще раза два вякнув на прощанье, умолк. Капитан повернулся к Дику.

— Гавари italiano[74]? — спросил он.

— Нет.

---

[73] Notes: 73
Жандармов *(ит.)*.

[74] Notes: 74
По-итальянски? *(ит.)*

— Гавари francais[75]?

— Oui[76], — обрадовался Дик.

— Alors, Ecoute. Va au «Quirinal». Ecoute: vous etes saoul. Payez ce que Ie chauffeur demande. Comprenezvous?[77]

Дик замотал головой.

— Non, je ne veux pas.

— Comment?

— Je paierai quarante lires. C'est bien assez[78].

Капитан встал.

— Ecoute! — грозно воскликнул он. — Vous etessaofil. Vous avez battu Ie chauffeur. Comme ci, comme ca[79]. — Он яростно замолотил по воздуху обеими руками. — C'est bon que je vous donne la liberte. Payez ce qu'il a dit — centro lire. Va au «Quirinal»[80].

---

[75] Notes: 75

По-французски? *(фр.)*

[76] Notes: 76

Да *(фр.)*.

[77] Notes: 77

Так вот. Слушай. Езжай в «Квиринал». Слушай: вы пьяны. Платите, сколько спрашивает шофер. Вам понятно? *(фр.)*

[78] Notes: 78

— Нет, я не хочу.
— Как?
— Я заплачу сорок лир. Этого вполне достаточно *(фр.)*.

[79] Notes: 79

Слушай! Вы пьяны. Вы побили шофера. Вот так, вот этак *(фр.)*.

[80] Notes: 80

Хорошо еще, что я вас оставляю на свободе. Платите, сколько он сказал, — сто лир. Езжай в «Квиринал» *(фр.)*.

Дик метнул на него остервенелый от негодования взгляд.

— Хорошо, я поеду! — Он круто повернулся к выходу — и тут ему бросилась в глаза хитро усмехающаяся физиономия человека, который привел его в полицию. — Я поеду, — выкрикнул Дик, — но сперва я рассчитаюсь с этим голубчиком!

Он рванулся вперед мимо остолбеневших карабинеров и нанес по усмехающейся физиономии сокрушительный удар левой. Человек рухнул наземь.

На мгновение Дик застыл над ним, злобно торжествуя победу, — и тут впервые закралась в его мозг мысль об ошибке, но, прежде чем он успел додумать эту мысль, все завертелось у него перед глазами; его сбили с ног, и множество кулаков и каблуков принялись отбивать на нем свирепую дробь. Хрустнул переломленный нос, глаза, будто на резинке, выскочили из орбит и опять вернулись на место. Под тяжелым сапогом треснуло ребро. Он потерял было сознание, но сейчас же очнулся оттого, что его рывком заставили сесть и защелкнули у него на запястьях наручники. Машинально он пробовал сопротивляться. Сшибленный им полицейский в штатском стоял в

стороне, прикладывая к подбородку платок, и всякий раз смотрел, остается ли на платке кровь; теперь он подошел к Дику вплотную, расставил для равновесия ноги, размахнулся и сильным ударом уложил его навзничь.

На доктора Дайвера, неподвижно лежавшего на полу, выплеснули ведро воды. Потом схватили его за руки и куда-то поволокли; по дороге он приоткрыл один глаз и сквозь застилавшую его кровавую дымку узнал бледное от ужаса лицо одного из таксистов.

— Поезжайте в «Эксцельсиор», — прохрипел он. — Скажите мисс Уоррен. Двести лир! Мисс Уоррен! Due centi lire![81] А, мерзавцы — мерза…

Но его все волокли, задыхающегося и всхлипывающего, сквозь кровавую дымку, по неровному, в выбоинах полу и наконец втащили в какую-то каморку и бросили на каменные плиты. Потом все вышли, дверь захлопнулась, он остался один.

XXIII

Бэби Уоррен, лежа в постели, читала скучней-

---

[81] Notes: 81
Двести лир! *(ит.)*

ший роман Мэриона Кроуфорда[82] из римской жизни; уже за полночь она встала, подошла к окну и выглянула на улицу. Прямо против отеля прогуливались по тротуару двое карабинеров в арлекинских треуголках и опереточных плащах, которые на поворотах заносило то справа, то слева, точно косой грот при перемене галса; своим видом они напоминали ей гвардейского офицера, так упорно разглядывавшего ее сегодня во время завтрака. Его дерзость была дерзостью рослого представителя малорослой народности, которому рост заменяет все прочие достоинства. Вздумай он подойти к ней и сказать: «Пойдем со мной», она бы ответила: «Ну что ж...» — по крайней мере, так ей казалось сейчас, в непривычной обстановке, словно бы освобождающей от привычных условностей поведения.

От гвардейца ее мысли лениво скользнули к карабинерам, а от них перекинулись на Дика. Она легла и погасила свет.

Около четырех ее разбудил резкий стук в дверь.

— Кто там?

— Это швейцар, madame.

---

[82] Notes: 82

Фрэнсис *Мэрион Кроуфорд* (1854–1909) — американский писатель, автор исторических романов.

Накинув кимоно, Бэби, сонная, пошла отворять.

— Ваш друг, мосье Даверр, у него неприятности. Полиция арестовала его и посадила в тюрьму. Он послал такси, чтобы сказать вам, шофер говорит, он обещал платить двести лир… — Швейцар сделал паузу, ожидая, как это будет принято. — Шофер говорит, у мосье Даверр очень большие неприятности. Он имел драку в полиции и очень сильно побит.

— Сейчас я спущусь.

Бэби оделась под глухие удары подстегнутого тревогой сердца и минут через десять вышла из лифта в полутемный вестибюль. Шофер, присланный Диком, уже уехал; швейцар нашел ей другое такси и сказал, в какой полицейский участок ехать. Ночной мрак понемногу редел и таял, и это колебание между ночью и днем болезненно отзывалось на нервах Бэби, все еще натянутых после внезапно прерванного сна. Мысленно она подгоняла медлительный рассвет, и когда такси выезжало на простор широких проспектов, ей казалось, что дело идет быстрее; но вдруг порыв ветра нагонял откуда-то облака, и то, что так неотвратимо надвигалось со всех сторон, словно бы останавливалось в своем движении, а потом

возникало сызнова. Машина миновала фонтан, громко журчавший над собственной раскидистой тенью, свернула в переулок, такой кривой, что домам в нем приходилось корежиться и извиваться, чтобы не вылезть на середину мостовой, протарахтела по выбитому булыжнику и толчком затормозила у невысокого здания с будками часовых по обе стороны входа, резко отделявшимися от зеленых, в потеках сырости, стен. И сейчас же из лиловой мглы подворотни донеслись отчаянные крики и вопли Дика:

— Есть тут англичане? Есть тут американцы? Есть тут англичане? Есть тут — а, дьявольщина! А, проклятые итальяшки!

Крики смолкли, и где-то яростно заколотили в дверь. Потом крики понеслись с новой силой:

— Есть тут американцы? Есть тут англичане?

Бэби побежала на звук голоса, вынырнула из подворотни на небольшой двор, постояла минуту в нерешительности, вертя головой по сторонам, и, наконец, определив, что крики несутся из маленькой караульни, рванула дверь и вошла. Двое карабинеров вскочили на ноги, но она, не обратив на них внимания, бросилась к запертой двери в глубине.

— Дик! — закричала она. — Что здесь произо-

шло?

— Они выбили мне глаз! — раздалось из-за двери. — Они мне надели наручники, а потом избили меня — эти сволочи, эти мерзавцы…

Круто повернувшись, Бэби шагнула к карабинерам.

— Что вы с ним сделали? — прошипела она так свирепо, что они невольно попятились.

— Non capisco inglese[83].

Она стала клясть их по-французски; ее гнев, неистовый и высокомерный, заполнял комнату, стягивался вокруг обоих карабинеров, а они только ежились, молча пытались выпутаться из его жесткой пелены.

— Отоприте дверь! Выпустите его!

— Мы ничего не можем без приказа начальства.

— Ben! Be-ene! Bene![84]

Снова Бэби ошпарила их потоком ярости, а они, уже готовые извиниться перед ней за свое бессилие, растерянно поглядывали друг на друга с мыслью, что вышла какая-то чудовищная промашка. Бэби тем временем вернулась к двери

---

[83] Notes: 83
Не понимаю по-английски *(ит.).*

[84] Notes: 84
Хорошо же! Хорошо! Хорошо! *(ит.)*

камеры, припала к ней, чуть ли не гладила ее, словно таким образом могла дать Дику почувствовать, что она здесь и что она его выручит.

— Я еду в посольство. Скоро вернусь! — крикнула она и, еще раз грозно сверкнув на карабинеров глазами, выбежала из помещения.

У американского посольства она расплатилась с шофером такси, не захотевшим больше ждать. Она взбежала на темное еще крыльцо и позвонила. Только после третьего ее звонка щелкнул замок, и на пороге появился заспанный швейцар-англичанин.

— Мне нужен кто-нибудь из посольства. Все равно кто — только сейчас же.

— Все еще спят, madame. Мы работаем с девяти.

Она нетерпеливо отмахнулась от названного часа.

— У меня важное дело. Одного человека, американца, жестоко избили. Он в итальянской тюрьме.

— Все еще спят. В девять часов, пожалуйста…

— Я не могу ждать до девяти часов. Моему зятю, мужу моей сестры, выбили глаз, а теперь держат его в тюрьме и не выпускают. Я должна немедленно поговорить с кем-нибудь, понятно? Что вы

стоите и смотрите на меня, как идиот?

— Ничего не могу сделать, madame.

— Ступайте разбудите кого-нибудь, слышите? — Она схватила его за плечи и тряхнула изо всех сил. — Речь идет о жизни и смерти. Если вы сию же минуту не разбудите кого-нибудь и не приведете сюда, вам придется плохо…

— Будьте так любезны, madame, снимите свои руки.

Откуда-то сверху за спиной швейцара поплыл тягучий голос:

— Что там за шум?

Швейцар с явным облегчением отозвался:

— Пришла какая-то дама, сэр, и стала меня трясти.

Повернув голову, чтобы ответить, он на шаг отступил, и Бэби тотчас же прорвалась в вестибюль. На верхней площадке, кутаясь со сна в белый расшитый персидский халат, стоял молодой человек чрезвычайно странного вида. У него было жуткое, неестественно розовое лицо, казавшееся мертвым, несмотря на свой яркий цвет, а под носом торчало что-то похожее на кляп. Увидев Бэби, он поспешно попятился в тень.

— Что там такое? — снова спросил он.

Бэби стала рассказывать. В пылу волнения она

незаметно для себя подошла к самому подножию лестницы и тут разглядела, что штука, принятая ею за кляп, была на самом деле просто наусниками, а лицо молодого человека покрывал густой слой розового кольдкрема, — что, впрочем, легко вписалось в фантасмагорию этой ночи. Свой рассказ Бэби закончила пламенным требованием, чтобы молодой человек немедленно поехал с нею в тюрьму и добился освобождения Дика.

— Скверная история, — сказал он.

— Да, — покорно согласилась она. — Да.

— Затевать драку в полиции — на что это похоже! — В его тоне слышалась нотка личной обиды. — Боюсь, что до девяти часов ничего предпринять не удастся.

— До девяти часов! — в ужасе повторила она. — Но вы сами-то можете что-нибудь сделать! Хотя бы поехать со мной в тюрьму и потребовать, чтобы его больше не били.

— Нам не разрешается делать такие вещи. Для этого существует консульство. Консульство откроется в девять часов.

Вынужденная неподвижность его лица, перетянутого наусниками, еще больше разъярила Бэби.

— Не стану я ждать до девяти. Мой зять изувечен — он сказал, что ему выбили глаз. Я должна

его увидеть. Я должна привезти к нему врача. — Она уже не говорила, а кричала, не пытаясь сдерживаться, в расчете на то, что тут скорей подействует тон, чем слова, — Вы обязаны что-то сделать. Это ваш долг — защищать американских граждан, попавших в беду.

Но молодой человек был родом с Восточного побережья Америки, и прошибить его было не так-то легко. Сокрушенно покачав головой — мол, как это она не может понять его положение, — он плотней запахнул свой персидский халат и спустился на несколько ступенек.

— Дайте даме адрес консульства, — сказал он швейцару, — и еще выпишите из справочника адрес и телефон доктора Колаццо. — Он повернулся к Бэби с видом теряющего свою кротость Христа. — Сударыня, посольство есть учреждение, официально представляющее правительство Соединенных Штатов перед правительством Италии. Защитой граждан оно не занимается, за исключением тех случаев, когда имеются специальные указания Государственного департамента. Ваш зять нарушил законы этой страны и был взят под стражу так же, как это случилось бы с итальянцем, нарушившим американские законы в Нью-Йорке. Освободить его может только

итальянский суд, и если вам понадобится юридический совет или помощь, вы можете обратиться в консульство, которое существует для защиты прав американских граждан. Консульство открывается в девять часов. Даже если бы речь шла о моем зяте, я бы ничего больше…

— Вы можете позвонить в консульство? — перебила Бэби.

— Мы в консульские дела не вмешиваемся. В девять часов явится консул и…

— Вы можете дать мне домашний адрес?

После секундной заминки молодой человек покачал головой. Потом он взял у швейцара исписанный листок и подал Бэби.

— А теперь — попрошу меня извинить.

Он ловким маневром подвел ее к выходу. На миг фиолетовый отсвет зари упал на его розовую маску и полотняный чехольчик, поддерживавший его усы, еще миг — и Бэби осталась одна за захлопнутой дверью. Визит в посольство занял десять минут.

Площадь перед посольством была безлюдна, если не считать старика, который палкой с гвоздем на конце подбирал с мостовой окурки. Бэби довольно скоро поймала такси и поехала прямо в консульство, но там тоже никого не было, только

три изможденные женщины скребли щетками лестницу. Она так и не сумела объяснить им, что ей нужен домашний адрес консула; безотчетный приступ тревоги погнал ее снова в тюрьму. Шофер не знал, где эта тюрьма, но с помощью слов semper dritte, dextra и sinestra[85] ей удалось попасть в нужный район, а там она отпустила машину и ринулась в лабиринт уже знакомых переулков. Но все переулки и все дома были похожи друг на друга. Наконец какой-то переход вывел ее на площадь Испании прямо против здания «Американ экспресс компани» — при виде слова «Американ» у нее радостно подпрыгнуло сердце. Одно из окон было освещено, и, бегом перебежав площадь, она дернула дверь, но дверь оказалась запертой, а часы, видневшиеся за стеклом, доказывали семь. И тут она вспомнила про Коллиса Клэя.

Случайно она знала отель, где он остановился, — старый тесный дом наискосок от «Эксцельсиора», весь сверху донизу в красном плюще. Дежурная за конторкой не проявила сочувствия — беспокоить мистера Клэя отказалась и пустить к нему мисс Уоррен одну тоже не захо-

---

[85] Notes: 85
«Все время прямо», «направо», «налево» *(ит.)*.

тела. Только после долгих объяснений, уверовав, что амурами тут не пахнет, она вместе с Бэби поднялась наверх.

Коллис лежал на кровати совершенно голый. Накануне он завалился спать пьяным и, будучи разбужен, не сразу сообразил, в каком он виде. Сообразив же, попытался поправить дело избытком скромности — подхватил свою одежду и опрометью кинулся в ванную. Там он торопливо оделся, бормоча себе под нос: «Черт, она же, наверно, разглядела меня во всех подробностях!» Телефон помог установить точный адрес тюрьмы, и Бэби с Клэем поспешили туда.

На этот раз дверь камеры была открыта, а Дик полусидел-полулежал на скамье в караульном помещении. Карабинеры кой-как смыли кровь с его лица, стряхнули пыль с костюма и надвинули на лоб шляпу. Вся дрожа, Бэби смотрела на него с порога.

— Мистер Клэй останется тут с вами, — сказала она, — а я поеду за консулом и за врачом.

— Хорошо.

— А вы пока сидите спокойно.

— Хорошо.

— Я скоро вернусь.

Она опять поехала в консульство; был уже

девятый час, и ее впустили в приемную. Около девяти приехал консул, и Бэби, близкая к истерике от усталости и от сознания своего бессилия, снова рассказала все с самого начала. Консул забеспокоился. Он прочел ей нотацию об опасности всяких ссор и скандалов в чужой стране, но больше всего был озабочен тем, чтобы она не входила в кабинет, а дожидалась его дальнейших действий в приемной. С отчаянием она прочла в его стариковских глазах отчетливое желание по возможности не впутываться в эту историю. Чтобы не терять времени, Бэби стала звонить врачу. Посетителей в приемной все прибавлялось, и кое-кого вызывали в кабинет. По прошествии получаса, воспользовавшись моментом, когда дверь отворилась, выпуская очередного посетителя, она, минуя секретаря, ворвалась в кабинет.

— Это возмутительно! Американского гражданина избили до полусмерти и засадили в тюрьму, а вы пальцем не шевельнете, чтобы помочь ему.

— Одну минуту, миссис…

— Я достаточно долго ждала. Немедленно поезжайте со мной в тюрьму и потребуйте, чтобы его освободили.

— Миссис…

— Мы в Америке занимаем видное положе-

ние… — Вокруг ее рта обозначились жесткие складки. — Если бы не желание избежать огласки, — во всяком случае, я позабочусь, чтобы о вашей бездеятельности узнали где следует. Будь мой зять британским подданным, он уже давно был бы на свободе, но вас больше беспокоит, что подумает полиция, чем то, ради чего вы здесь сидите.

— Миссис…

— Сейчас же надевайте шляпу и едем.

Упоминание о шляпе привело консула в панику; он засуетился, стал рыться в своих бумагах, протирать очки. Но то были бесполезные уловки; разгневанная Американская Женщина надвинулась на него, и не ему было устоять против неукротимого, сумасбродного нрава, который переломил моральный хребет целой нации и целый материк превратил в детские ясли. Консул позвонил и попросил вызвать к нему вице-консула — Бэби одержала победу.

Дик грелся на утреннем солнце, щедро лившемся в окно караульной. Коллис и карабинеры были тут же, и все четверо с нетерпением ожидали дальнейших событий. Своим единственным зрячим глазом Дик видел лица обоих карабинеров, типичные лица тосканских крестьян с короткой

верхней губой, никак не вязавшиеся в его представлении с жестокостью учиненной над ним ночной расправы. Он послал одного из них за бутылкой пива.

От пива у него слегка закружилась голова, и все происшествие приобрело на миг мрачновато-юмористическую окраску. Коллис считал англичанку из «Бонбониери» каким-то образом причастной к делу, но Дик был уверен, что она исчезла задолго до его стычки с таксистами. Коллис все еще переживал то обстоятельство, что Бэби застала его голым.

Ярость Дика вобралась понемногу внутрь его существа и перешла в безграничную, преступно-слепую злобу. То, что с ним случилось, было настолько ужасно, что преодолеть это он мог бы, только если бы стер все начисто; а так как это было неосуществимо, он понимал, что надеяться не на что. Отныне он становился совсем другим человеком, и сейчас пока еще в душе у него был хаос, его будущее новое «я» рисовалось ему в самых причудливых чертах. Во всем этом была неотвратимость стихийного бедствия. Ни один взрослый ариец не способен претерпеть унижение с пользой для себя; если он простил, значит, оно вросло в его жизнь, значит, он отождествил

себя с причиной своего позора — что в данном случае было невозможно.

Коллис заговорил было о том, что нельзя такое дело спустить, но Дик только молча покачал головой. Вдруг в караульную, с энергией, которой хватило бы на троих, влетел молодой лейтенант, наглаженный, начищенный, быстрый, и карабинеры, вскочив, вытянулись во фронт. Увидев пустую бутылку из-под пива, он устроил своим подчиненным бурный разнос, — после чего с чисто современной деловитостью приказал немедленно убрать бутылку из помещения караульной. Дик глянул на Коллиса и засмеялся.

Явился вице-консул, заработавшийся молодой человек по фамилии Суонсон, и все отправились в суд — Дик между Суонсоном и Коллисом впереди, а карабинеры сзади. Утро было солнечное, чуть подернутое желтоватой дымкой; на площади и под аркадами толпился народ, и Дик, низко надвинув шляпу на глаза, шел таким быстрым шагом, что коротконогие карабинеры за ним не поспевали. В конце концов один из них, забежав вперед, потребовал, чтобы шли помедленней. С помощью Суонсона вопрос был улажен.

— Что, осрамил я вас? — веселым тоном сказал Дик.

— Скажите спасибо, что остались живы, — несколько смутившись, заметил Суонсон. — С этими итальянцами лучше не связываться. На этот раз они вас, скорей всего, отпустят, но не будь вы иностранцем, пришлось бы посидеть в тюрьме месяца два-три. Очень даже просто.

— А вы когда-нибудь сидели?

Суонсон улыбнулся.

— Он мне нравится, — объявил Дик Клэю. — Симпатичный молодой человек и, главное, умеет дать хороший совет. Особенно насчет сидения в тюрьме. Ручаюсь, у него есть опыт по этой части.

Суонсон улыбнулся.

— Я только хотел предупредить, что с ними надо поосторожнее. Вы не знаете, что это за люди.

— О, я очень хорошо знаю, что это за люди, — взорвался Дик. — Сволочи и мерзавцы. — Он повернулся к карабинерам. — Поняли?

— В суд я с вами не пойду, — поторопился сказать Суонсон. — Я вашей родственнице так и сказал. Но вас там встретит наш юрист. И помните — нужно поосторожнее.

— До свидания. — Дик любезно пожал ему руку. — Большое спасибо. Убежден, что вы сделаете блестящую карьеру…

Суонсон еще раз улыбнулся и ушел, сразу же

вернув своему лицу официальное неодобрительное выражение.

Дик и его эскорт вошли в небольшой внутренний двор, где со всех четырех сторон поднимались лестницы, ведущие в камеры судей. Во дворе толпилось много народу, и когда они проходили мимо, в толпе поднялся ропот, им вслед понеслись сердитые выкрики, свист и улюлюканье. Дик удивленно оглянулся.

— Чего это они? — спросил он с испугом.

Один из карабинеров что-то сказал тем, кто стоял поближе, и шум сразу улегся.

Они вошли в одну из камер. Юрист консульства, довольно обтрепанный итальянец, долго что-то втолковывал судье, а Дик и Коллис ожидали в сторонке. У окна, выходившего во двор, стоял какой-то человек, который объяснил им по-английски, чем было вызвано негодование толпы. В это утро должны были судить одного уроженца Фраскати, который изнасиловал и убил пятилетнюю девочку, и когда появился Дик, толпа решила, что это он и есть.

Через несколько минут юрист сказал Дику, что он свободен, — судья счел его уже достаточно наказанным.

— Достаточно наказанным! — воскликнул

Дик. — А за что, собственно?

— Пойдемте, — заторопил его Клэй. — Здесь больше делать нечего.

— А я хочу знать, в чем моя вина, — что я подрался с несколькими таксистами?

— В обвинении сказано, что вы подошли к полицейскому агенту как будто затем, чтобы попрощаться с ним, а сами ударили его по лицу.

— Но это ложь! Я его предупредил — и откуда мне было знать, что это полицейский агент?

— Уходите вы поскорей, — посоветовал юрист.

— Пошли, пошли. — Коллис взял его под руку, и они спустились во двор.

— Я желаю произнести речь! — заорал Дик. — Я хочу рассказать этим людям, как я насиловал пятилетнюю девочку. Может, я в самом деле…

— Пошли, пошли.

У ворот дожидалось такси, в котором сидела Бэби с врачом. Дику не хотелось смотреть Бэби в глаза, а врач ему не понравился; судя по строго поджатым губам, он принадлежал к самому непонятному типу в Европе — типу латинянина-моралиста. Дик попробовал подвести свой итог происшедшему, но отклика ни у кого не встретил. В его номере в «Квиринале» врач смыл с его лица грязный пот и остатки запекшейся крови,

осмотрел все телесные повреждения, прижег мелкие ссадины и наложил повязку на глаз. Дик попросил дать ему четверть таблетки морфия — неспадавшее нервное возбуждение не дало бы ему уснуть. Когда морфий подействовал, Коллис и врач ушли, а Бэби осталась ждать сиделку, вызванную из английской лечебницы. Бэби сегодня порядком досталось, но она находила утешение в мысли, что, как бы ни безупречен был Дик до сих пор, события этой ночи дали им нравственное превосходство над ним на все время, пока он еще будет им нужен.

Книга третья



I

Фрау Кэте Грегоровиус догнала мужа на дорожке, ведущей к их вилле.

— Ну, как Николь? — спросила она ласково, но ее срывающееся дыхание выдавало поспешность, с которой она бежала, чтобы задать этот вопрос.

Франц недоуменно оглянулся.

— Николь здорова. А почему ты вдруг спрашиваешь, душенька?

— Ты так часто навещаешь ее, что я решила — наверно, она больна.

— Поговорим об этом дома.

Кэте покорно умолкла. Кабинета у Франца на вилле не было, в гостиной занимались дети; поэтому они прошли прямо в спальню.

— Прости меня, Франц, — сказала Кэте, прежде чем он успел раскрыть рот. — Прости, милый, я

не должна была так говорить. Я знаю свой долг и горжусь им. Но у нас с Николь какая-то взаимная неприязнь.

— Птички в гнездышках мирно живут, — провозгласил Франц, но, спохватясь, что тон у него разошелся со смыслом, повторил свое изречение в том размеренном, четком ритме, которым его старый учитель, доктор Домлер, любую банальность умел сделать многозначительной: — Птички — в гнездышках — мирно — живут.

— Да, да, конечно. Ты не можешь упрекнуть меня в недостатке внимания к Николь.

— Я тебя упрекаю в недостатке здравого смысла. Николь не только жена Дика, но и его больная и в какой-то мере останется ею навсегда. А потому в отсутствие Дика я считаю себя ответственным за ее состояние. — Он помедлил, прежде чем сообщить Кэте новость, которую немного попридержал с шутливым намерением подразнить ее: — Я утром получил телеграмму из Рима. Дик болел гриппом, но уже поправился и завтра выезжает домой.

Кэте, явно обрадованная, продолжала более бесстрастным тоном:

— По-моему, Николь не так больна, как кажется. Она сама преувеличивает свою болезнь,

используя ее как орудие власти над окружающими. Ей бы надо быть киноактрисой, вроде твоей хваленой Нормы Толмедж, — все американки мечтают о такой карьере.

— Уж не ревнуешь ли ты меня к Норме Толмедж?

— Я вообще не люблю американцев. Все они эгоисты — э-го-исты!

— И Дика не любишь?

— Дика люблю, — призналась она. — Но Дик совсем другой, он думает не только о себе.

…И Норма Толмедж тоже, мысленно произнес Франц. Уверен, что она так же умна и добра, как и красива. Просто ей поневоле приходится играть глупые роли. Уверен, что Норма Толмедж — женщина, знакомством с которой можно гордиться.

Но Кэте уже позабыла про Норму Толмедж, хотя однажды изводилась из-за нее всю дорогу от Цюриха, куда они ездили в кино.

— Дик женился на Николь ради денег, — продолжала она. — Поддался искушению — ты мне сам как-то раз дал понять это.

— Нехорошо так говорить, Кэте.

— Ладно, беру свои слова обратно. Все мы должны жить, как птички в гнездышке, по твоей поговорке. Но это очень трудно, когда Николь —

когда видишь, как она старается отстраниться, даже не дышать, словно от меня плохо пахнет!

Это не было фантазией Кэте. Она сама делала почти всю работу по дому и не привыкла много тратить на свою одежду. Любая американская продавщица, каждый вечер стирающая свои две смены белья, уловила бы чуть заметный запах вчерашнего пота, исходивший от Кэте, даже не запах, а так, аммиачный намек на извечность труда и распада. Для Франца это было чем-то столь же естественным, как и густой маслянистый аромат волос Кэте, и то и другое входило в его жизнь необходимым элементом. Но Николь с ее обостренным от природы обонянием, еще маленькой девочкой морщившаяся, когда ее одевала нянька, с трудом выносила соседство Кэте.

— А дети! Она не хочет, чтобы они играли с нашими детьми…

Но Франц не пожелал больше слушать:

— Довольно. Ты, кажется, забываешь, что без денег Николь у нас не было бы этой клиники. Пойдем лучше завтракать.

Кэте пожалела о своей неуместной вспышке, но слова Франца напомнили ей про то, что и у других американцев водятся деньги, а неделю спустя ее неприязнь к Николь нашла себе новый выход.

Грегоровиусы устроили у себя обед по случаю возвращения Дика. Не успели Дайверы выйти за дверь после этого обеда, как Кэте повернулась к мужу.

— Ты видел его лицо? Это следы дебоша!

— Не спеши с выводами, — предостерег Франц. — Дик сам мне все рассказал в первый же день. Он участвовал в любительском боксе во время переезда через Атлантику. Американцы постоянно занимаются боксом в этих трансатлантических рейсах.

— Так я и поверила! — насмешливо отозвалась Кэте. — У него одна рука почти не поднимается, а на виске незаживший шрам и видно место, где были сбриты волосы.

Франц этих подробностей не разглядел.

— Думаешь, такие вещи способствуют репутации клиники? — не унималась Кэте. — От него и сегодня пахло вином, и это не первый раз с тех пор, как он вернулся.

Она понизила голос, как того требовала значительность суждения, которое ей предстояло высказать.

— Дик перестал был серьезным врачом.

Франц передернул плечами, как бы стряхивая ее настойчивые обвинения, и жестом показал

наверх. В спальне он напустился на жену.

— Он не только серьезный врач, он блестящий врач. Самый блестящий из всех невропатологов, защитивших диссертацию в Цюрихе за последнее десятилетие. Мне до него далеко.

— Стыдись, Франц!

— Мне стыдиться нечего, потому что это чистая правда. Во всех сложных случаях я обращаюсь за советом к Дику. Его работы до сих пор считаются образцовыми в своей области — в любой медицинской библиотеке тебе это скажут. Его обычно принимают за англичанина — не верят, что американский ученый может быть способен на такую обстоятельность. — Он зевнул по-домашнему и полез под подушку за пижамой. — Удивляюсь твоим разговорам, Кэте, — я всегда считал, что ты любишь Дика.

— Стыдись! — повторила Кэте. — Из вас двоих ты — настоящий ученый, и всю работу тоже делаешь ты. Это как в басне о зайце и черепахе, и, на мой взгляд, заяц уже почти выдохся.

— Шш! Шш!

— Нечего на меня шикать, я говорю то, что есть.

Он с силой рубанул воздух раскрытой ладонью.

— Довольно!

На том спор окончился, но он не прошел для спорщиков даром. Кэте мысленно признала чрезмерную резкость своих нападок на Дика, к которому привыкла относиться с симпатией и почтительным восхищением, тем более что он так умел понимать и ценить ее. А Франц постепенно проникался убеждением, что Кэте права и Дик в самом деле не такой уж серьезный врач и ученый. Со временем ему даже стало казаться, что он это всегда знал.

II

Дик предложил Николь отредактированную версию своего римского злоключения; по этой версии он дрался из человеколюбия — выручал перепившегося товарища. Бэби Уоррен, он знал, будет держать язык за зубами: он достаточно ярко расписал ей губительные последствия, которые грозят Николь, если она узнает правду. Но все это были пустяки по сравнению с тем, какие губительные последствия имела вся история для него самого.

Как бы во искупление происшедшего, он с удвоенной энергией накинулся на работу, и Франц, втайне уже решившийся на разрыв, не

мог найти, к чему бы придраться для начала. Если дружба, которая была дружбой не только на словах, рвется в один час, то, как правило, она рвется с мясом; оттого-то Франц мало-помалу постарался внушить себе, что ускоренный темп и ритм духовной и чувственной жизни Дика несовместим с его, Франца, внутренним темпом и ритмом — раньше, правда, считалось, что этот контраст идет на пользу их общей работе.

Но только в мае Францу представился случай вбить в трещину первый клин. Как-то раз Дик в неурочное время вошел к нему в кабинет, измученный и бледный, и, устало сев в кресло у двери, сказал:

— Все. Ее больше нет.

— Умерла?

— Отказало сердце.

Дик сидел сгорбившись, совершенно обессиленный. Три последние ночи он бодрствовал у постели пораженной экземой художницы, к которой он так привязался, — нормально, чтобы вводить ей адреналин, по существу же, чтобы хоть слабым проблеском света смягчить неотвратимо надвигавшуюся тьму.

Изобразив на лице сочувствие, Франц поспешил изречь свой вердикт:

— Убежден, что сыпь была нервно-сифилитического происхождения. Никакие Вассерманы[86] меня не переубедят. Спинномозговая жидкость…

— Не все ли равно? — устало сказал Дик. — Господи, не все ли равно? Если она так ревниво берегла свою тайну, что захотела унести ее в могилу, пусть на том и останется.

— Вам бы денек отдохнуть.

— Отдохну, не тревожьтесь.

Клин был вбит; подняв голову от телеграммы, которую он стал было составлять для брата умершей, Франц сказал:

— А может быть, вы предпочли бы проехаться в Лозанну?

— Сейчас — нет.

— Я не имею в виду увеселительную поездку. Нужно посмотреть там одного больного. Его отец — он чилиец — все утро держал меня сегодня на телефоне…

— В ней было столько мужества, — сказал Дик. — И так долго она мучилась. — Франц участливо покивал головой, и Дик опомнился. — Я вас перебил, Франц, извините.

— Я просто думал, что вам полезно ненадолго

---

[86] Notes: 86

Август *Вассерман* (1866–1925) — немецкий врач-иммунолог и бактериолог.

переменить обстановку. Понимаете, отец не может уговорить сына поехать сюда. Вот он и просит, чтобы кто-нибудь приехал в Лозанну.

— А в чем там дело? Алкоголизм? Гомосексуализм? Поскольку речь идет о поездке…

— Всего понемножку.

— Хорошо, я поеду. У них есть деньги?

— Да, и, по-видимому, немалые. Побудьте там дня два-три, а если найдете, что требуется длительное наблюдение, везите мальчишку сюда. Но, во всяком случае, торопиться вам некуда и незачем. Постарайтесь сочетать дело с развлечением.

Два часа сна в поезде обновили Дика, и он почувствовал себя достаточно бодрым для предстоящей встречи с сеньором Пардо-и-Сиудад-Реаль.

Он уже заранее представлял себе эту встречу, основываясь на опыте. Очень часто в таких случаях истерическая нервозность родственников представляет не меньший интерес для психолога, чем состояние больного. Так было и на этот раз. Сеньор Пардо-и-Сиудад-Реаль, красивый седой испанец с благородной осанкой, со всеми внешними признаками богатства и могущества, метался из угла в угол по своему номеру люкс в Hotel des Trois Mondes и, рассказывая Дику о

сыне, владел собой не лучше какой-нибудь пьяной бабы.

— Я больше ничего не могу придумать. Мой сын порочен. Он предавался пороку в Харроу, он предавался пороку в Королевском колледже в Кембридже. Он неисправимо порочен. А теперь, когда еще пошло и пьянство, правды уже не скроешь и скандал следует за скандалом. Я перепробовал все; есть у меня один знакомый доктор, мы вместе выработали план, и я послал его с Франсиско в путешествие по Испании. Каждый вечер он делал Франсиско укол контаридина, и потом они вдвоем отправлялись в какой-нибудь приличный bordello. Сперва это как будто помогало, но через несколько дней все пошло по-старому. В конце концов я не выдержал и на прошлой неделе вот здесь, в этой комнате — точней, вон там, в ванной, — от ткнул пальцем в сторону двери, — я заставил Франсиско раздеться до пояса и отхлестал его плеткой…

В полном изнеможении он рухнул в кресло. Тогда заговорил Дик.

— Это было неразумно — и поездка в Испанию тоже ничего не могла дать… — Он с трудом подавлял желание расхохотаться: хорош, верно, был врач, согласившийся участвовать в этаком

любительском эксперименте! — Должен вам сказать, сеньор, в подобных случаях мы ничего не можем обещать заранее. Что касается алкоголизма, здесь иногда удается достичь положительных результатов, — конечно, при содействии самого пациента. Но, так или иначе, я прежде всего должен познакомиться с вашим сыном и завоевать его доверие — хотя бы для того, чтобы услышать, что он сам о себе скажет.

...Они сидели вдвоем на террасе — Дик и юноша лет двадцати с красивым, подвижным лицом.

— Мне хотелось бы знать, как вы сами относитесь ко всему этому, — сказал Дик. — Замечаете ли, что ваши недостатки прогрессируют? Хотели бы вы от них избавиться?

— Пожалуй, хотел бы, — ответил Франсиско. — Мне очень нехорошо.

— А от чего именно, как вам кажется? От того, что пьете слишком много, или от ваших ненормальных склонностей?

— Я бы, может, не пил, если б не эти склонности. — До сих пор он разговаривал серьезно, но тут его вдруг разобрал смех. — Да нет, знаете, я безнадежный. Мне еще в Кембридже прилепили кличку Чилийская Красотка. А теперь, после этой поездки в Испанию, меня от одного вида женщи-

ны тошнить начинает.

Дик резко перебил его:

— Если вам все это нравится, я не возьмусь вас лечить и мы только понапрасну теряем время.

— Нет, нет — давайте поговорим еще. Если б вы знали, как мне противно разговаривать с другими.

Вся мужественность, отпущенная этому юноше природой, выродилась в активную неприязнь к отцу. Но Дик подметил у него в глазах типичное шальное лукавство, с которым гомосексуалисты говорят на близкую им тему.

— Стоит ли играть в прятки с самим собой? — продолжал Дик. — Лучшие ваши годы отнимает ненормальная половая жизнь и ее последствия, и у вас недостанет ни времени, ни сил на что-либо иное, более достойное и полезное. Если вы хотите прямо смотреть миру в лицо, научитесь сдерживать свои чувственные порывы и прежде всего бросьте пить, потому что алкоголь стимулирует их…

Он машинально нанизывал фразу за фразой, так как мысленно уже отказался от пациента. Однако они еще с час провели на террасе за милой беседой — о домашнем укладе Франсиско в Чили, о том, что его занимает и влечет. Впервые

Дик испытывал к человеку этого типа не врачебный, а обыкновенный житейский интерес, и ему было ясно, что причина заключена в обаянии Франсиско, том самом обаянии, которое помогает ему совершать преступления против нравственности. А для Дика человеческое обаяние всегда имело самодовлеющую ценность, в каких бы формах оно ни выражалось — в безрассудном ли мужестве той несчастной, что скончалась сегодня утром в клинике на Цугском озере, или в непринужденной грации, с которой этот пропащий мальчишка говорил о самых банальных и скучных вещах. Дику свойственно было рассекать жизнь на части, достаточно мелкие, чтобы их хранить про запас; он понимал, что целая жизнь может вовсе не равняться сумме ее отрезков, но когда человеку за сорок, кажется невозможным обозреть ее целиком. Его любовь к Николь и к Розмэри, его дружба с Эйбом Нортом и с Томми Барбаном в расколотом мире послевоенной поры — при каждом из столь тесных соприкосновений с чужой личностью эта чужая личность впечатывалась в его собственную; взять все или не брать ничего — таков был жизненный выбор, и теперь ему словно по высшему приговору предстояло до конца своих дней нести в себе «я» тех,

кого он когда-то знал и любил, и только с ними и через них обретать полноту существования. То была невеселая участь; ведь так легко быть любимым — и так трудно любить.

Во время разговора с Франсиско перед Диком возник вдруг некий призрак из прошлого. Высокая мужская фигура отделилась от соседних кустов и, как-то странно виляя, нерешительно приблизилась к беседующим. Дик не сразу заметил пришельца, казавшегося деталью пейзажа с подрагивающей на ветру листвой, но в следующий миг он уже поднялся навстречу, тряс робко протянутую ему руку, мучительно стараясь вспомнить ускользнувшее имя: «Господи, да я растревожил тут целое гнездо!»

— Если не ошибаюсь, доктор Дайвер?

— Если не ошибаюсь, мистер — э-э-э-э — Дамфри?

— Ройял Дамфри. Я имел удовольствие однажды обедать на вашей очаровательной вилле.

— Как же, помню. — Желая умерить восторги мистера Дамфри, Дик пустился в сухую хронологию. — Это было в тысяча девятьсот — двадцать четвертом? — или двадцать пятом?

Он умышленно не садился, но Ройяла Дамфри, столь застенчивого в первую минуту, оказалось

не так легко отпугнуть; интимно понизив голос, он заговорил с Франсиско, однако тот, явно стыдясь его, не больше Дика был расположен поддерживать разговор.

— Доктор Дайвер, одно только слово, и я не стану вас задерживать. Мне хотелось сказать вам, что я никогда не забуду тот вечер у вас в саду и любезный прием, который нам был оказан вами и вашей супругой. Это всегда будет одним из лучших, прекраснейших воспоминаний моей жизни. Мне редко приходилось встречать столь утонченное светское общество, какое собралось тогда за вашим столом.

Дик понемногу пятился боком к ближайшей двери.

— Рад слышать, что вы сохранили столь приятное воспоминание. К сожалению, я должен…

— Да, да, я понимаю, — сочувственно подхватил Ройял Дамфри. — Говорят, он при смерти.

— При смерти? Кто?

— Мне, может быть, не следовало, — нас, видите ли, пользует один и тот же врач.

Дик недоуменно уставился на него.

— О ком вы говорите?

— Ну о вашем тесте, конечно, — мне, может быть…

— О моем тесте?

— Ах, боже мой, — неужели вы только от меня...

— Вы хотите сказать, что мой тесть здесь, в Лозанне?

— Но я думал, вы знаете, — я думал, вы потому и приехали.

— Как фамилия врача, о котором вы говорили?

Дик записал фамилию, откланялся и поспешил к телефонной будке.

Через минуту он уже знал, что доктор Данже готов немедленно принять доктора Дайвера у себя дома.

Доктор Данже, молодой врач из Женевы, испугался было, что потеряет выгодного пациента, но, будучи успокоен на этот счет, подтвердил, что состояние мистера Уоррена безнадежно.

— Ему всего пятьдесят лет, но у него тяжелая дистрофия печени на почве алкоголизма.

— Как другие органы?

— Желудок уже не принимает ничего, кроме жидкой пищи. Я считаю — ему осталось дня три, от силы неделя.

— А мисс Уоррен, его старшая дочь, осведомлена о его состоянии?

— Согласно его собственной воле, кроме его ка-

мердинера, никто ничего не знает. Не далее как сегодня утром я счел себя обязанным обрисовать положение ему самому. Он очень взволновался — хотя с самого начала болезни настроен был, я бы сказал, в духе христианского смирения.

— Хорошо, — сказал Дик после некоторого раздумья. — Пока, во всяком случае, придется мне взять на себя все, что касается родных. Как я полагаю, им был бы желателен консилиум.

— Пожалуйста.

— От их имени я попрошу вас связаться с крупнейшим медицинским авторитетом в округе — доктором Гербрюгге из Женевы.

— Я и сам думал о Гербрюгге.

— Сегодня я весь день здесь и буду ждать от вас известий.

Перед вечером Дик пошел к сеньору Пардо-и-Сиудад-Реаль для окончательного разговора.

— У нас обширные поместья в Чили, — сказал старик. — Я мог бы поручить Франсиско управление ими. Или поставить его во главе любого из десятка парижских предприятий… — Он горестно помотал головой и принялся расхаживать взад и вперед мимо окон, за которыми накрапывал дождик, такой весенний и радостный, что даже лебеди не думали прятаться от него под навес. —

Мой единственный сын! Почему вы не хотите взять его в свою клинику?

Испанец вдруг повалился Дику в ноги.

— Спасите моего сына! Я верю в вас — возьмите его к себе, вылечите его!

— То, о чем вы говорили, не причина, чтобы подвергать человека принудительному лечению. Я не стал бы этого делать, даже если бы мог.

Испанец встал.

— Я погорячился — обстоятельства вынудили меня…

В вестибюле у лифта Дик столкнулся с доктором Данже.

— А я как раз собирался звонить вам. Пройдемте на террасу, там нам будет удобнее разговаривать.

— Мистер Уоррен скончался? — спросил Дик.

— Нет, пока все без изменений. Консилиум состоится завтра утром. Но он непременно хочет увидеться с дочерью — с вашей женой. Насколько я понимаю, была какая-то ссора…

— Я все это знаю.

Оба врача задумались, вопросительно поглядывая друг на друга.

— А может быть, вам самому повидаться с ним, прежде чем принимать решение? — предложил

доктор Данже. — Его смерть будет легкой — он просто тихо угаснет.

Не без усилия Дик согласился.

— Хорошо, я пойду к нему.

Номер люкс, в котором тихо угасал Девре Уоррен, был не меньше, чем у сеньора Пардо-и-Сиудад-Реаль, — в этом отеле много было подобных апартаментов, где одряхлевшие толстосумы, беглецы от правосудия, безработные правители аннексированных княжеств коротали свой век с помощью барбитуровых или опийных препаратов под вечный гул неотвязных, как радио, отголосков былых грехов. Сюда, в этот уголок Европы, стекаются люди не столько из-за его красот, сколько потому, что здесь им не задают нескромных вопросов. Пути страдальцев, направляющихся в горные санатории и на туберкулезные курорты, скрещиваются здесь с путями тех, кто перестал быть persona grata во Франции или в Италии.

В номере было полутемно. Монахиня с лицом святой хлопотала у постели больного, исхудалыми пальцами перебиравшего четки на белой простыне. Он все еще был красив, и, когда он заговорил после ухода Данже из комнаты, Дик как будто расслышал в его голосе самодовольный

рокоток прежних дней.

— Нам многое открывается под конец жизни, доктор Дайвер. Только теперь я понял то, что давно должен был понять.

Дик выжидательно молчал.

— Я был дурным человеком. Вы знаете, как мало у меня прав на то, чтобы еще раз увидеть Николь, — но тот, кто выше нас с вами, учит нас жалеть и прощать. — Четки выскользнули из его слабых рук и скатились с атласного одеяла. Дик поднял их и подал ему. — Если б я мог увидеться с Николь хоть на десять минут, я счастливым отошел бы в лучший мир.

— Это вопрос, который я не могу решить сам, — сказал Дик. — У Николь хрупкое здоровье. — Он все уже решил, но делал вид, будто сомневается. — Я должен посоветоваться со своим коллегой по клинике.

— Ну что ж, доктор, — как ваш коллега скажет, так пусть и будет. Я слишком хорошо понимаю, чем я вам обязан…

Дик торопливо встал.

— Ответ вы получите через доктора Данже.

Вернувшись в свой номер, он попросил соединить его с клиникой на Цугском озере. Телефон долго молчал, наконец на вызов ответила Кэте —

из дому.

— Мне нужно поговорить с Францем, Кэте.

— Франц наверху, в горах. Я сейчас собираюсь туда — передать что-нибудь?

— Речь идет о Николь — здесь, в Лозанне, умирает ее отец. Скажите это Францу, пусть знает, что дело срочное, и попросите его позвонить мне с базы.

— Хорошо.

— Скажите, что с трех до пяти и с семи до восьми я буду у себя в номере, а позже меня можно будет найти в ресторане.

За всеми расчетами времени он позабыл предупредить Кэте, что Николь пока ничего не должна знать. Когда он спохватился, их уже разъединили. Оставалось надеяться, что Кэте сама сообразит.

Наверху, в горах, у клиники была база, куда больных вывозили зимой для лыжных прогулок, весной для небольших горных походов. Пока маленький паровозик карабкался по пустынному склону, осыпанному цветами, продуваемому неожиданными ветрами, Кэте и не думала о том, рассказывать или не рассказывать Николь про звонок Дика. Сойдя с поезда, она сразу увидела Николь, старавшуюся внести порядок в возню, затеянную Ланье и Топси. Кэте подошла и, ласко-

во положив руку ей на плечо, сказала:

— У вас все так хорошо получается с детьми, надо бы вам летом поучить их плавать.

Забывшись в пылу игры, Николь машинально, почти грубо дернула плечом. Рука Кэте неловко упала, и она тут же расплатилась за обиду словами.

— Вы что, вообразили, будто я хочу вас обнять? — сказала она со злостью в голосе. — Просто мне жаль Дика, я говорила с ним по телефону и…

— С Диком что-то случилось?

Кэте поняла свой промах, но было уже поздно; на настойчивые расспросы Николь: «…а почему же вы сказали, что вам его жаль?» — она только и могла что упрямо твердить:

— Ничего с ним не случилось. Мне нужен Франц.

— Нет, случилось, я знаю.

Ужасу, исказившему лицо Николь, вторил испуг на лицах маленьких Дайверов, которые все слышали. Кэте не выдержала и сдалась.

— Ваш отец заболел в Лозанне. Дик хочет посоветоваться с Францем.

— Опасно заболел?

Тут как раз подоспел Франц — мягкий и участливый, как у постели больного. Обрадованная

Кэте поспешила переложить на него всю остальную тяжесть, — но сделанного уже нельзя было вернуть.

— Я еду в Лозанну, — объявила Николь.

— Не нужно торопиться, — сказал Франц. — Мне кажется, это было бы неразумно. Дайте мне раньше связаться с Диком по телефону.

— Но я тогда пропущу местный поезд, — заспорила Николь, — и не успею на трехчасовой цюрихский. Если мой отец при смерти, я могу… — Она оборвала фразу, не решаясь высказать вслух то, что думала. — Я должна ехать. И мне надо бежать, иначе я опоздаю. — Она в самом деле уже бежала туда, где маленький паровозик, пыхтя, увенчивал клубами пара голый склон. На бегу она оглянулась и крикнула Францу: — Будете говорить с Диком, скажите — я еду!

…Дик сидел у себя и читал «Нью-Йорк геральд», как вдруг в комнату ворвалась ласточкоподобная монахиня — и в то же мгновение зазвонил телефон.

— Умер? — с надеждой спросил монахиню Дик.

— Monsieur, il est parti — он исчез!

— Что-о?

— Il est parti, — и камердинер его исчез, и все вещи.

Это было невероятно. Чтобы человек в таком состоянии встал, собрался и уехал!

Дик взял телефонную трубку и услышал голос Франца.

— Но зачем же было говорить Николь? — возмутился он.

— Это Кэте сказала ей по неосторожности.

— Моя вина, конечно. Ничего нельзя рассказывать женщинам раньше времени. Ну ладно, я ее встречу на вокзале… Слушайте, Франц, произошла фантастическая вещь — старик встал и уехал.

— Орехов? Не понимаю, что вы сказали.

— У-е-хал. Я говорю, старик Уоррен уехал.

— Что же тут особенного?

— Да ведь он чуть ли не умирал от коллапса — и вдруг собрался и уехал… наверно, в Чикаго… не знаю, сиделка прибежала сюда… не знаю, Франц, — я сам только что услышал об этом… позвоните мне позже.

Почти два часа Дик потратил на то, чтобы задним числом проследить за действиями Уоррена. Воспользовавшись паузой при смене дневной и ночной сиделок, больной спустился в бар, где наспех проглотил четыре порции виски, расплатился за номер бумажкой в тысячу долларов,

сдачу с которой велел переслать по почте, и отбыл — по всей вероятности, в Америку. Попытка Дика вместе с Данже настигнуть его на вокзале привела только к тому, что Дик разминулся с Николь. Он встретил ее уже в вестибюле отеля — она казалась утомленной, и при виде ее поджатых губ у него тревожно екнуло сердце.

— Как отец? — спросила она.

— Гораздо лучше. В нем, видно, таился еще немалый запас сил. — Дик помедлил, не решаясь сразу ее огорошить. — Представь себе: он встал с постели и уехал.

Ему хотелось пить — в беготне он пропустил время обеда. Он повел изумленную Николь в бар, и когда, заказав коктейль и пиво, они расположились в кожаных креслах, он продолжал:

— Очевидно, лечивший его врач ошибся в прогнозе — а может быть, и в диагнозе. Не знаю, у меня даже не было времени подумать.

— Так он уехал?

— Да — успел к вечернему поезду на Париж.

Они помолчали. Глубоким, трагическим безразличием веяло от Николь.

— Сила инстинкта, — сказал наконец Дик. — Он действительно был почти при смерти, но ему напряжением воли удалось включиться в

свой прежний ритм — медицине известны такие случаи, — это как старые часы: встряхнешь их, и они по привычке снова начинают идти. Вот и твой отец…

— Не надо, — сказала она.

Но Дик продолжал свое:

— Его основным горючим всегда был страх. Он испугался, и это придало ему силы. Он, наверно, проживет до девяноста лет.

— Ради бога, не надо, — сказала она. — Ради бога, — я не могу больше слушать.

— Как хочешь. Кстати, дрянной мальчишка, из-за которого я сюда приехал, безнадежен. Завтра утром мы можем ехать домой.

— Не понимаю, зачем — зачем тебе все это нужно, — вырвалось у нее.

— Не понимаешь? Я тоже иногда не понимаю.

Она ладонью накрыла его руку.

— Прости, Дик, я не должна была так говорить.

Кто-то притащил в бар патефон, и они посидели и помолчали под звуки «Свадьбы раскрашенной куклы».

III

Спустя несколько дней Дик утром зашел за письмами в канцелярию, и его внимание при-

влекла необычная суета перед входом. Больной Кон Моррис собрался уезжать из клиники. Его родители, австралийцы, сердито укладывали чемоданы в большой черный лимузин, а рядом стоял доктор Ладислау и беспомощно разводил руками в ответ на возбужденную жестикуляцию Морриса-старшего. Сам молодой человек с насмешливым видом наблюдал за погрузкой со стороны.

— Что вдруг за поспешность, мистер Моррис?

Мистер Моррис вздрогнул и оглянулся. При виде Дика его багровое лицо и крупные клетки его костюма словно погасли, а потом снова зажглись, как от поворота выключателя. Он пошел на Дика, будто собираясь его ударить.

— Давно пора нам отсюда уехать, и не только нам, — начал он и остановился, чтобы перевести дух. — Давно пора, доктор Дайвер. Давно пора.

— Может быть, мы поговорим у меня в кабинете? — сказал Дик.

— Нет уж! Поговорить поговорим, да только знайте, что ни с вами, ни с заведением вашим я больше не желаю иметь дела. — Он потряс пальцем перед самым носом Дика. — Я вот этому доктору так и сказал. Жаль, только зря потратили деньги и время.

Доктор Ладислау изобразил своей фигурой некое расплывчатое подобие протеста. Дик всегда недолюбливал Ладислау. Сумев увлечь разгневанного австралийца на дорожку, ведущую к главному корпусу, он снова предложил ему продолжить разговор в кабинете, но получил отказ.

— Вас-то мне и нужно, доктор Дайвер, именно вас, а не кого другого. Я обратился к доктору Ладислау, потому что вас не могли найти, а доктор Грегоровиус вернется только к вечеру, а до вечера я оставаться не намерен. Нет, сэр! Ни минуты я здесь не останусь, после того как мой сын мне все рассказал.

Он с угрозой подступил к Дику, и тот высвободил руки, готовый, если понадобится, отшвырнуть его силой.

— Я поместил к вам сына, чтобы вы его вылечили от алкоголизма, а он от вас от самого учуял винный дух. — Он шумно и, видимо, безрезультатно потянул носом воздух. — И даже не один, а два раза Кон это учуял. Мы в жизни не брали в рот спиртного — ни я, ни жена. И мы вам доверили сына, чтобы вы его вылечили, а он дважды за месяц учуял от вас винный дух. Хорошо лечение, нечего сказать!

Дик медлил, не зная, на что решиться; мистер

Моррис вполне способен был устроить скандал у самых ворот клиники.

— В конце концов, мистер Моррис, нельзя же требовать, чтобы люди отказывались от своих насущных привычек только потому, что ваш сын…

— Но вы же врач, черт побери! Когда глушит пиво рабочий, пес с ним, его дело, но вы-то должны лечить других…

— Это пожалуй, уже слишком. Ваш сын поступил к нам как больной клептоманией.

— А отчего, я вас спрашиваю? — Он уже кричал в голос. — Оттого что пил горькую. А горькая, она горькая и есть — понятно вам? Моего родного дядю вздернули из-за нее, проклятой. И вот я помещаю сына в специальную лечебницу, а в лечебнице от докторов разит спиртным!

— Я вынужден просить вас удалиться.

— Меня просить! Да я уже все равно что уехал!

— Будь вы несколько более воздержанны, мы могли бы ознакомить вас с теми результатами, которых пока что удалось достигнуть. Разумеется, при возникших обстоятельствах дальнейшее пребывание вашего сына в клинике исключается.

— Вы еще смеете мне говорить о воздержанности!

Дик окликнул доктора Ладислау и, когда тот подошел, сказал ему:

— Возьмите на себя труд от нашего имени пожелать пациенту и его родственникам счастливого пути.

Слегка поклонившись в сторону Морриса, он вошел в кабинет и на миг притаился у затворенной двери. Он ждал, когда они уедут — хамы-родители и их хилый, дегенеративный отпрыск; нетрудно было представить себе, как эта семейка будет колесить по Европе, запугивая порядочных людей своим тупым невежеством и тугим кошельком. Лишь когда шум мотора затих в отдалении, задумался он о том, насколько сам повинен в разыгравшейся сцене. Он пил красное вино за обедом и ужином, заканчивал день глотком горячего рома, иногда еще пропускал стаканчик джина между делом — джин почти не оставляет запаха. В общем, это получалось с полпинты спиртного в день — не так уж мало для его организма.

Отказавшись от всяких попыток оправдаться, Дик сел за стол и составил себе нечто вроде врачебного предписания, по которому количество потребляемого им в день алкоголя сокращалось вдвое. Не полагается, чтобы от врачей, шоферов

и протестантских священников пахло спиртным, как может пахнуть от художников, маклеров и кавалерийских офицеров; Дик был неосторожен, и эту вину он за собой признал. Но инцидент еще рано было считать исчерпанным — что выяснилось получасом позже, когда приехал Франц, взбодренный двумя неделями в Альпах и настолько соскучившийся по работе, что успел погрузиться в нее прежде, чем дошел до своего кабинета. Дик ждал его на пороге.

— Ну как там Эверест?

— А вы не шутите — мы показали такую прыть, что не испугались бы и Эвереста. Уже подумывали об этом. А тут какие новости? Как моя Кэте, как ваша Николь?

— Дома все благополучно, и у вас и у меня. Но вот в клинике сегодня утром произошла безобразнейшая история.

— Как, что такое?

Но Франц уже взялся за телефон, чтобы позвонить Кэте. Дик походил по комнате, пока длилась семейная беседа, потом сказал:

— Молодого Морриса забрали родители — был целый скандал.

У Франца сразу вытянулось лицо.

— Мне уже известно, что он уехал. Я встретил

Ладислау.

— И что Ладислау сказал вам?

— Вот только это — что Моррис уехал. И что вы мне все расскажете. Так в чем же дело?

— Обычные в таких случаях глупости.

— Мальчишка, я помню, препротивный.

— Хуже некуда, — подтвердил Дик. — Но как бы там ни было, до того, как я подошел, отец успел нагнать на Ладислау страху, как колонизатор на туземца. Кстати о Ладислау, Франц. Стоит ли нам за него держаться? Мне кажется, не стоит; какой-то он недотепа, ни с чем не может справиться сам.

Дик медлил на краю истины, выгадывая пространство для маневра. Франц, как был, в пыльнике и дорожных перчатках, присел на угол письменного стола. Дик решился.

— Помимо всего прочего, этот Моррис изобразил отцу вашего почтенного собрата горьким пьяницей. Папаша — фанатический поборник трезвости, а сынок будто бы обнаружил на мне следы vin du pays[87].

Франц сел и, выпятив нижнюю губу, уставился на нее.

---

[87] Notes: 87
Местного вина *(фр.)*.

— Вы мне потом расскажете подробно, — сказал он наконец.

— Зачем же откладывать? — возразил Дик. — Вы сами знаете, я никогда спиртным не злоупотребляю. — Они сверкнули друг на друга взглядами, глаза в глаза. — При попустительстве Ладистау этот тип до того расходился, что мне пришлось занять оборонительную позицию. Легко ли это было, можете себе представить — ведь поблизости могли оказаться больные.

Франц снял перчатки, сбросил пыльник. Потом подошел к двери и сказал секретарше: «Меня ни для кого нет». Потом вернулся к столу и стал разбирать наваленные на нем бумаги, делая это машинально, как все, кому лишь нужна маска занятого человека, чтобы легче было сказать трудные слова.

— Дик, я знаю вас как воздержанного, уравновешенного человека, пусть даже мы по-разному относимся к употреблению спиртных напитков. Но пришла пора сказать — по совести. Дик, я уже несколько раз замечал, что вы разрешаете себе выпить не в самое подходящее для этого время. Так что нет дыму без огня. Может быть, вам стоит взять срочный отпуск?

— Или лучше бессрочный, — усмехнулся Дик. —

Временная отлучка ничего не изменит.

Оба были раздражены, Франц — из-за того, что ему испортили радость возвращения.

— Вам иногда недостает здравого смысла, Дик.

— Никогда не понимал, что подразумевается под здравым смыслом в сложных случаях, — разве что утверждение, будто врач общего профиля может сделать операцию лучше, чем хирург-специалист.

Дику вдруг нестерпимо опротивело все происходящее. Объяснять, заглаживать что-то — они оба уже вышли из этого возраста; лучше пусть в ушах звенит надтреснутый отзвук старой истины.

— Нам дальше не по пути, — неожиданно произнес он.

— Честно говоря, мне и самому так кажется, — признался Франц. — Вы потеряли вкус к делу, Дик.

— Очевидно. И потому хочу из дела выйти. Можно будет разработать такие условия, чтобы вам возвращать капитал Николь не сразу, а по частям.

— Об этом я тоже думал, — я уже давно предвижу этот разговор. У меня есть другой компаньон на примете, так что к концу года я, вероятно,

смогу вернуть вам все деньги.

Дик сам не ожидал, что придет к решению так быстро, и не думал, что Франц с такой готовностью согласится на разрыв. И все же он почувствовал облегчение. Давно уже он с тоской глядел на то, как этика его профессии постепенно рассыпается в прах.

IV

Решено было возвратиться домой, то есть на Ривьеру. Но вилла «Диана» была на все лето сдана, и потому Дайверы коротали оставшееся время на немецких курортах и в знаменитых своими соборами французских городках, где им всегда бывало хорошо несколько дней. Дик немного писал, без особой системы; жизнь вступила в полосу ожидания — не новой работы и не очередного приступа у Николь, благо Николь путешествие шло на пользу; нет, просто ожидания. Единственное, что в эту пору всему придавало смысл, были дети.

Интерес Дика к ним увеличивался с их возрастом; сейчас Ланье было одиннадцать, Топси — девять. Он сумел сблизиться с ними в обход гувернанток и нянь и всегда исходил из того, что ни чрезмерная строгость, ни боязнь проявить чрезмерную строгость не могут заменить долгого

пристального внимания, проверки, и учета, и подведения итогов, в конечном счете преследующих одну цель: приучить ребенка держаться известного уровня дисциплины. Он теперь знал обоих детей гораздо лучше, чем их знала Николь, и, разогретый немецким, французским или итальянским вином, подолгу играл с ними и разговаривал. Им была присуща та тихая, чуть печальная прелесть, что всегда отличает детей, рано научившихся не смеяться и не плакать слишком громко; казалось, они не знают никаких бурных порывов и, легко подчиняясь несложной регламентации своей жизни, легко довольствуются дозволенными им нехитрыми радостями. Они привыкли к размеренному укладу, принятому в хороших домах на Западе, и воспитание не превратилось для них в испытание. Дик считал, что если ребенок приучен молчать, это развивает в нем наблюдательность.

Ланье был наделен сверхъестественной любознательностью, зачастую направленной на самые неожиданные предметы. «Скажи, папа, а десять шпицев могли бы затравить льва?» — подобными вопросами он без конца донимал Дика. С Топси было проще. Она была вся беленькая, грациозно сложенная, как Николь, и это сходство

в свое время тревожило Дика. Но к девяти годам она окрепла и ничем не отличалась от любой своей американской сверстницы. Дик был доволен обоими, хотя никогда не высказывал этого вслух. За плохое поведение спуску не давалось. «Кто дома не научился вести себя как следует, — говорил Дик, — того потом жизнь плеткой поучит. Ну, не будет Топси меня „обожать“, что из этого? Я же ее не в жены себе готовлю».

Другой особенностью этого лета и осени было изобилие денег. Деньги шли от Франца, в возмещение пая в клинике, и из Америки, где капитал Николь приносил все большую прибыль; денег было столько, что все время уходило на то, чтобы тратить их и потом распоряжаться сделанными покупками. Роскошь, с которой они путешествовали, была поистине сказочной.

Вот, например, поезд прибывает в Байенну, где им предстоит погостить две недели. Сборы в спальном вагоне начались от самой итальянской границы. Из вагона второго класса явились горничная madame Дайвер и горничная гувернантки, чтобы помочь с багажом и с собаками. На mademoiselle Беллуа было возложено наблюдение за ручной кладью, пару силихэм-терьеров поручили одной горничной, пару китайских

мопсов — другой. Если женщина создает себе столь громоздкое окружение, это не обязательно признак убожества духа — иногда в этом сказывается переизбыток интересов; и, во всяком случае, Николь, когда была здорова, отлично со всем управлялась. Взять хотя бы огромное количество багажа — в Байенне из багажного вагона были выгружены четыре больших кофра, сундук с обувью, три баула для шляп и две шляпные картонки, чемоданы гувернантки и горничных, ящик с картотекой, дорожная аптечка, спиртовка в футляре, корзина для пикников, четыре теннисные ракетки в прессах и чехлах, патефон и пишущая машинка. Кроме того, Дайверы и их свита везли при себе десятка два саквояжей, сумок и пакетов, каждая вещь была пронумерована и снабжена ярлыком, вплоть до чехла с тростями. Таким образом, при выгрузке все это за две минуты можно было проверить по двум спискам — отдельно на крупные вещи и на мелкие, — всегда лежавшие в сумочке у Николь; а проверив, рассортировать — что на хранение, а что с собой. Еще девочкой, путешествуя со слабой здоровьем матерью, Николь выработала эту систему и придерживалась ее с пунктуальностью полкового интенданта, который должен забо-

титься о пропитании и экипировке трех тысяч солдат.

Всем скопом сойдя с поезда, Дайверы окунулись в рано сгустившиеся долинные сумерки. Местные жители взирали на их выгрузку с тем же благоговейным трепетом, какой столетием раньше вызывал лорд Байрон в своих скитаниях по Италии. Встретить их приехала владелица замка, куда они направлялись, графиня ди Мингетти, бывшая Мэри Норт. Путь, начавшийся в Ньюарке, в комнатке над обойной мастерской, недавно завершился фантастическим браком.

Титул «графа ди Мингетти» был недавно пожалован супругу Мэри папой — не последнюю роль тут сыграло его богатство, источником которого служили марганцевые месторождения в Юго-Западной Азии. С его цветом кожи его не пустили бы в пульмановский вагон южнее линии Мейсона — Диксона[88]. Он принадлежал к одной из народностей того кабило-берберо-сабейско-индийского пояса, который тянется вдоль Северной Африки и Азии, а у европейцев представители этих народностей пользуются большей симпати-

[88] Notes: 88

Во время Гражданской войны в США эта линия послужила символической границей между рабовладельческим Югом и освобожденным от рабства Севером.

ей, чем смешанные расы.

Когда эти два вельможных семейства, восточное и западное, сошлись на вокзальном перроне, дайверовский размах показался суровой простотой первых поселенцев Нового Света. Гостеприимных хозяев сопровождали мажордом-итальянец с жезлом в руке, четверка мотоциклистов в тюрбанах и две женщины, закутанные до самых глаз, почтительно державшиеся на некотором расстоянии позади Мэри и встретившие Николь восточным приветствием, от которого она сразу опешила.

Самой Мэри, как и Дайверам, вся эта церемония казалась чуть-чуть комичной, о чем свидетельствовал ее виновато-снисходительный смешок; однако, представляя своего супруга, она с гордостью отчеканила его азиатский титул.

Одеваясь к обеду в отведенных им покоях, Дик и Николь выразительно перемигивались; богачи, претендующие на демократизм, любят делать вид перед самими собой, будто им претит откровенное бахвальство.

— Наша маленькая Мэри знает, что к чему, — промычал Дик сквозь слой крема для бритья. — Эйб воспитал ее, теперь она вышла замуж за Будду. Если Европа когда-нибудь станет больше-

вистской, мы еще увидим ее супругой Сталина.

Николь подняла голову от своего несессера.

— Прикуси язычок, Дик! — Но, не выдержав, рассмеялась. — Нет, что ни говори, а они великолепны. При их появлении канонерки открывают пальбу — не по ним, а в их честь, конечно. А когда Мэри приезжает в Лондон, ей там подают королевский выезд.

— Ладно, ладно, — согласился Дик. Услышав, как Николь объясняет кому-то у дверей, что ей требуются булавки, он крикнул: — А нельзя ли мне получить стаканчик виски? Что-то я ослабел от горного воздуха.

— Я сказала, чтобы принесли, — донесся голос Николь уже из ванной. — Это одна из тех женщин, что были на вокзале. Только теперь она с открытым лицом.

— Что тебе Мэри рассказывала о своей жизни?

— Почти ничего — ее больше интересовали светские новости. Потом вдруг стала меня расспрашивать о моей родословной — точно я об этом что-нибудь знаю! У супруга, как я поняла, есть двое смуглых детишек от предыдущего брака, и один из них болен какой-то неизвестной азиатской хворью. Придется сказать детям, чтобы они остерегались. Неудобно как-то получается.

Мэри увидит, что мы встревожены. — Она озабоченно хмурилась.

— Ничего, она поймет, — успокоил ее Дик. — Да и ребенок, вероятно, в постели.

За обедом Дик беседовал с Гуссейном — тот, как оказалось, учился в английской школе. Он расспрашивал о бирже, о Голливуде, и Дик, подогревая свое воображение шампанским, нес всякую околесицу.

— Биллионы? — переспрашивал Гуссейн.

— Триллионы, — уверял Дик.

— Я как-то не представлял себе…

— Ну, может быть, миллионы, — уступил Дик. — В отеле каждому приезжему предоставляется гарем — или что-то вроде гарема.

— Даже если он не актер и не режиссер?

— Даже если он обыкновенный коммивояжер. Да мне самому сразу же прислали дюжину кандидаток, но Николь помешала.

Когда они остались одни в своей спальне, Николь напустилась на него с упреками.

— Ну зачем было столько пить? Зачем было при нем говорить «черномазый»?

— Извини, это у меня нечаянно вышло. Я хотел сказать «черноглазый».

— Дик, я просто тебя не узнаю.

— Еще раз извини. Я сам себя перестал узнавать последнее время.

Среди ночи Дик отворил окошко ванной, выходившей на узкий, как труба, двор замка, весь мышино-серого цвета. Сейчас его оглашал странный, заунывный напев, похожий на печальные звуки флейты. Два мужских голоса пели на каком-то восточном языке или диалекте, где было много «к» и «л». Дик высунулся из окошка, но никого не увидел; судя по мелодии, это было религиозное песнопение, и ему, в его душевной опустошенности и усталости, захотелось, чтобы поющие помолились и за него — но о чем, он не знал, разве только том, чтобы не затопила его с каждым днем нарастающая тоска.

Утром хозяева и гости охотились на поросшем реденьким леском склоне, стреляли тощих костлявых птиц, дальних родственников куропатки. Охота велась вроде бы на английский манер, с дюжиной неумелых ловчих, и Дик спасался от риска кого-нибудь из них подстрелить тем, что бил только влет.

По возвращении они застали у себя в спальне Ланье.

— Папа, ты велел сейчас же сказать, если мы будем где-нибудь вместе с больным мальчиком.

Николь сразу взвилась в испуге.

— ...так вот, мама, — продолжал Ланье, обращаясь уже к ней, — этот мальчик каждый вечер купается в ванне, и сегодня он купался передо мной, а потом мне пришлось сесть в ту же воду, и она была грязная.

— Что? Что ты говоришь?

— Я видел, как из этой ванной вынули Тони, а после него мне велели в нее садиться, и вода была грязная.

— И ты — ты сел?

— Да, мама.

— Боже мой! — воскликнула она, беспомощно повернувшись к Дику.

Тот спросил Ланье:

— А почему Люсьенн сама не приготовила тебе ванну?

— Люсьенн не может — там какая-то чудная горелка, вчера она вспыхнула и обожгла ей руку, и теперь она боится, вот одна из тех женщин...

— Ступай в нашу ванну и выкупайся еще раз.

— Вы только не говорите, что я вам рассказал, — попросил Ланье, направляясь к двери.

Дик пошел за ним и обрызгал ванну карболкой; затворяя дверь, он сказал Николь:

— Необходимо поговорить с Мэри, или же нам

придется уехать.

Она кивнула, соглашаясь, и он продолжал:

— Людям всегда кажется, что их дети чище других и, если даже они болеют, от них нельзя заразиться.

Дик налил себе вина и стал грызть печенье, ожесточенно хрустя им в лад льющейся в ванной воде.

— А пока что скажи Люсьенн, пусть научится управляться с этой горелкой, — посоветовал он. Но тут в дверь заглянула та самая женщина, о которой шла речь.

— Графиня…

Дик жестом попросил ее войти и прикрыл за ней дверь.

— Как ваш маленький больной, поправляется? — ласково спросил он.

— Да, ему лучше, но все-таки сыпь еще не сошла.

— Как жаль — бедный малыш. Однако я хотел предупредить вас — нельзя, чтобы наши дети садились после него в ту же воду. Ни в коем случае! Я уверен, ваша хозяйка была бы возмущена, если бы знала, что вы сделали такую вещь.

— Я? — Она оторопело взглянула на Дика. — Я только увидела, что ваша служанка не умеет

зажигать нагреватель, и показала ей, как это делается.

— Но после больного ребенка вы сначала должны были выпустить всю воду и хорошенько промыть ванну.

— Я?

Женщина с шумом, словно задыхаясь, втянула в себя воздух, судорожно всхлипнула и бросилась вон из комнаты.

— Я бы предпочел, чтобы они приобщались к западной цивилизации не за наш счет, — сердито сказал Дик.

За обедом он окончательно решил, что визит не удался и надо кончать его как можно скорее: Гуссейн даже о своей родине ничего не умел рассказать, кроме того, что там много гор, и водятся козы, и пастухи пасут коз в горах. Он вообще был немногословен, и, чтобы заставить его разговориться, нужно было употребить энергию, которую Дик теперь предпочитал беречь для своих домашних. Вскоре после обеда Гуссейн удалился, и Дайверы остались одни с Мэри, но прежней близости не возникло — между ними теперь лежала социальная целина, которую успешно покоряла Мэри. Дик почувствовал облегчение, когда около половины десятого Мэри

принесли записку и она, пробежав ее глазами, поднялась с места.

— Вы уж извините меня, пожалуйста. Муж уезжает по срочному делу, я должна проводить его.

На следующее утро, не успела служанка подать им кофе, как в спальню быстрым шагом вошла Мэри. Они еще лежали в постелях, а она была вполне одета и, видимо, встала уже давно. Ее обычно улыбчивое лицо подергивалось гримасой сдержанного гнева.

— Что это за разговоры, будто Ланье искупали в грязной воде?

Дик хотел было ответить, но она перебила:

— И будто вы велели моей золовке вымыть для него ванну?

Они вытаращили на нее глаза, оба неподвижные, как идолы, из-за подносов, стоявших у них на коленях, и только воскликнули в два голоса:

— Вашей золовке?

— Да, вы сказали одной из сестер моего мужа, что она должна вымыть ванну.

— Не может быть! — дружно запротестовали они. — Мы разговаривали со служанкой.

— Вы разговаривали с сестрой Гуссейна.

Дик только и мог сказать:

— Я был уверен, что эти женщины ваши слу-

жанки.

— Я ведь объяснила вам, что они — гимадун.

— Что? — Дик, накинув халат, кое-как выбрался из постели.

— Я вам объяснила еще позавчера, когда мы сидели у рояля. Не так уж много вы за обедом выпили, чтобы не понять.

— Так это вы о них говорили? Я просто не все слышал, Мэри. И потом, я как-то не… мы как-то не связали тот разговор с ними. Ну что ж, придется пойти извиниться за нашу ошибку.

— Пойти извиниться! Я же вам рассказывала; у них когда женится старший в роде — старший в роде, понятно? — то две старшие сестры дают обет посвятить себя его жене, стать ее приближенными; вот это и называется — гимадун.

— Не потому ли Гуссейн вдруг уехал из дому?

Мэри замялась, но потом утвердительно кивнула головой.

— Он иначе не мог — сестры тоже уехали с ним. Оскорблена их семейная честь.

Николь тоже вскочила уже с постели и торопливо одевалась. Мэри продолжала:

— А что это за история с ванной? Ничего подобного в этом доме произойти не могло. Сейчас мы позовем Ланье и его расспросим.

Дик, присев на кровать, сделал Николь незаметный знак. Мэри тем временем отворила дверь в коридор и кому-то отдавала распоряжения по-итальянски.

— Погодите, Мэри, — сказала Николь. — Не нужно впутывать в это дело ребенка.

— Вы нам бросили обвинение, — возразила Мэри; никогда раньше она не разговаривала с Николь таким тоном. — Мое право проверить.

— Я не позволю, чтобы ребенка впутывали в это дело. — Николь воинственно натянула платье, словно это была железная кольчуга.

— Не спорь, — сказал ей Дик. — Пусть Ланье придет, и мы выясним в конце концов, что тут выдумки, а что правда.

Привели мальчика; еще взъерошенный со сна внешне и внутренне, он таращил глаза на сердитые лица взрослых.

— Скажи, Ланье, — обратилась к нему Мэри, — с чего ты взял, что тебя посадили в воду, в которой уже кто-то купался?

— Говори, — сказал Дик.

— А просто она была грязная.

— Но ведь тебе в твоей комнате, наверно, слышно было, как из крана снова полилась вода?

Ланье готов был допустить такую возможность,

однако стоял на своем: вода в ванне была грязная. Слегка испуганный, он попробовал забежать вперед:

— Так не могло быть, потому что…

Его тут же поймали на слове.

— Почему не могло быть?

Он стоял посреди комнаты в халатике, своим видом вызывая жалость родителей и раздражение Мэри.

— Вода была грязная, в ней плавала мыльная пена.

— Не говори того, в чем ты не уверен, — начала было Мэри, но Николь перебила:

— Оставьте, Мэри. Раз в воде плавала мыльная пена, естественно было заключить, что в этой воде купались. А отец велел Ланье прийти и сказать, если…

— Никакой там не могло быть мыльной пены.

Ланье посмотрел на отца, как бы упрекая его в предательстве. Николь легонько повернула его за плечи и сказала, что он может идти. Дик засмеялся. Смех разрядил атмосферу. Мэри он напомнил прежние годы, ее дружбу с Дайверами; ей вдруг сделалось ясно, как далеко она от них отошла, и она сказала умиротворяющим тоном:

— Дети, они все такие.

Прошлое вспоминалось все ярче, и ей становилось все более не по себе.

— Вы только не вздумайте уезжать из-за этого — Гуссейну все равно надо было отлучиться по делу. В конце концов вы мои гости, и бестактность вы совершили по ошибке.

Но Дика рассердило ее влияние, а особенно слово «бестактность»; он стал собирать свои вещи, сказав только:

— Сожалею, что так вышло. Я был бы рад принести этой молодой женщине свои извинения.

— А все потому, что вы меня не слушали тогда, у рояля.

— Вы стали ужасно скучная, Мэри. Я слушал, сколько мог вытерпеть.

— Дик! — предостерегающе воскликнула Николь.

— Я могу переадресовать ему его комплимент, — сказала Мэри с обидой. — До свидания, Николь. — И она вышла из комнаты.

После этого ни о каких проводах не могло быть и речи; все, что требовалось для их отъезда, устроил мажордом. Гуссейну и его сестрам Дик написал коротенькие, официально любезные письма. Разумеется, не уехать они не могли, но у всех было нехорошо на душе, особенно у Ланье.

— А все-таки вода была грязная, — снова начал он, когда они уже сидели в поезде.

— Довольно, Ланье, — прервал его отец. — Советую тебе забыть всю эту историю, иначе я с тобой разведусь. Ты не знал, что во Франции принят новый закон, по которому родители могут разводиться с детьми?

Ланье весело засмеялся, и в семье Дайверов были восстановлены мир и спокойствие — надолго ли, подумал про себя Дик.

V

Николь подошла к окну и выглянула наружу, привлеченная нарастающим шумом какой-то перебранки на террасе. Апрельское солнце играло розовыми бликами на благочестивой физиономии Огюстин, их кухарки, и голубыми — на лезвии большого кухонного ножа в ее трясущейся руке. Огюстин служила у них уже три месяца, с самого их водворения вновь на вилле «Диана».

Выступ соседнего балкона заслонял от Николь Дика; видна была только его голова и рука, державшая трость с бронзовым набалдашником. Трость и нож, нацеленные друг на друга, были точно трезубец и меч в поединке гладиаторов.

Слова Дика Николь расслышала первыми:

— …кухонное вино пейте себе на здоровье, но когда я застаю вас с бутылкой шабли «Мутонн»…

— Не вам меня поучать! — кричала Огюстин, размахивая своим оружием. — Сами-то целый день не расстаетесь с бутылкой.

— Что случилось, Дик? — окликнула Николь сверху.

Он отвечал по-английски:

— Эта баба таскает из погреба марочные вина. Я ее прогнал, — вернее, пытаюсь это сделать.

— Господи боже мой! Смотри, как бы она тебя не задела ножом.

Огюстин задрала голову и взмахнула ножом в сторону Николь. Ее рот словно состоял из двух сплющенных вишенок.

— У вас, верно, и в мыслях нет, madame, что ваш муженек пьет мертвую не хуже какого батрака…

— Замолчите и убирайтесь! — прикрикнула на нее Николь. — Не то мы вызовем жандармов.

– *Они* вызовут жандармов! Да у меня брат жандарм, если хотите знать! *Они* вызовут — вот уж точно американское нахальство!

— Уведи детей из дому, а я тут с ней управлюсь, — снова по-английски сказал Дик.

— …все американцы нахалы! Ездят сюда и выпивают у нас все лучшее вино! — вопила Огюстин

площадным голосом.

Дик придал своему тону больше твердости.

— Немедленно соберите свои вещи и уходите. Я вам заплачу все, что причитается.

— Если бы вы не заплатили! Да я, если хотите знать... — Она подступила к нему вплотную, столь яростно размахивая ножом, что он в ответ поднял свою палку. Тогда Огюстин сбегала на кухню и вернулась оттуда дополнительно вооруженная секачом.

Положение создавалось не из приятных: Огюстин была женщина крепкая, и обезоружить ее можно было только с риском нанести ей телесные повреждения — и навлечь на себя серьезные неприятности, так как закон строго охраняет личную неприкосновенность французских граждан. Все же Дик, чтобы припугнуть кухарку, крикнул Николь:

— Позвони в полицейский участок! — и потом Огюстин, указывая на ее арсенал: — Этого довольно, чтобы вы были арестованы.

Та только демонически захохотала; однако подходить ближе остереглась. Николь позвонила в полицию, но ответ получила весьма похожий на отголосок смеха Огюстин. Слышно было, как на другом конце провода переговариваются, по-

том что-то щелкнуло — там попросту повесили трубку.

Николь вернулась к окну и крикнула Дику:

— Заплати ей лишнего!

— Мне бы самому поговорить с ними по телефону! — Но поскольку это было невозможно, Дик капитулировал.

За пятьдесят франков, превратившихся в сто, когда он проникся стремлением выставить ее как можно скорее, Огюстин сняла осаду, прикрыв свой отход залпом отборной брани. Впрочем, она оговорила себе право дождаться племянника, который понесет ее вещи. Держа кухню на всякий случай под наблюдением. Дик услышал, как хлопнула пробка, но решил пренебречь этим фактом. Больше военные действия не возобновлялись — когда племянник прибыл, умиротворенная Огюстин почти ласково распрощалась с Диком, а уходя, крикнула, подняв голову к окну Николь: «Au revoir, madame! Bonne chance!»[89]

Дайверы отправились в Ниццу и там пообедали в ресторане. Они ели bouillabaisse — похлебку из рыбы и мелкой морской живности, обильно сдобренную пряностями, — и пили холодное шабли.

---

[89] Notes: 89

«До свидания, сударыня! Всего хорошего!» *(фр.)*

В разговоре Дик заметил, что ему жаль Огюстин.

— А мне ничуточки, — сказала Николь.

— А мне жаль — хоть я охотно столкнул бы ее с обрыва в море.

Они мало о чем решались разговаривать последнее время и редко находили нужное слово в нужную минуту; почти всегда это слово являлось потом, когда уже некому было его услышать. Они жили какой-то сонной жизнью, каждый своей, погруженные в свои думы. Скандал с кухаркой вывел их из этого состояния, а острая пища и обжигающее прохладой вино развязали язык.

— Дальше так продолжаться не может, — сказала Николь. — Ты со мной не согласен? — Но Дик не пытался ничего оспаривать, и, потрясенная этим, она добавила: — Иногда мне кажется, это я во всем виновата — я тебя погубила.

— Так ты меня считаешь погибшим? — улыбнулся Дик.

— Этого я не говорила. Но прежде ты стремился создавать что-то, а теперь, кажется, только хочешь разрушать.

Она робела оттого, что решилась осуждать его в такой обобщающей форме, но еще больше — от его упорного молчания. Чутье подсказывало ей: что-то происходит за этим молчанием, за

посуровевшим взглядом его голубых глаз, за несвойственным ему интересом к детям. Ее озадачивали его внезапные бурные вспышки, когда он вдруг обрушивался с целой обвинительной речью на кого-то или что-то — человека, нацию, класс, образ жизни или образ мыслей. В нем словно разыгрывалась непонятная внутренняя драма, о которой можно было лишь догадываться по тем мгновениям, когда она прорывалась наружу.

— В конце концов — что ты извлекаешь из этого? — спросила она.

— Сознание, что ты с каждым днем становишься крепче. Что твоя болезнь постепенно проходит, следуя закону убывающих рецидивов.

Его голос доходил до нее издалека, как если бы он говорил о чем-то сугубо отвлеченном и умственном; в тревоге она воскликнула: «Дик!» — и потянулась к нему рукой через стол. Инстинктивным движением он убрал свою руку, но, спохватившись, добавил:

— Тут много есть о чем подумать, правда ведь? Дело не только в тебе и в том, что связано с тобой. — Он накрыл ее руку ладонью и сказал веселым голосом прежнего Дика, зачинщика любых проказ, развлечений и шумных эскапад: — Видишь вон ту белую яхту?

Это была моторная яхта Т. Ф. Голдинга; мирно покачиваясь на легкой волне залива, она совершала нескончаемое романтическое путешествие, не требующее передвижения с места на место.

— Вот мы сейчас отправимся туда и побеседуем с пассажирами об их житье-бытье. Хорошо ли им там, весело ли.

— Но мы почти незнакомы с Голдингом, — возразила Николь.

— А он нас приглашал, и очень настойчиво. И потом, это же приятель Бэби, чуть ли даже не жених ее — или бывший жених?

Когда нанятый ими баркас выходил из порта, уже смеркалось и вдоль белого корпуса «Марджин» с конвульсивной неравномерностью вспыхивали огни. У самой яхты Николь снова забеспокоилась.

— Слышишь? У него гости…

— Это просто радио, — успокоил ее Дик.

Их заметили — седой великан в белом костюме, перегнувшись через борт, крикнул сверху:

— Неужели это Дайверы пожаловали?

— Эй, на «Марджин»! Спускайте трап!

Баркас подвели вплотную к трапу, и Голдинг, согнув чуть не пополам свою могучую фигуру, помог Николь взойти.

— Как раз вовремя, к обеду.

На корме играл небольшой оркестр.

— Я к вашим услугам по первому требованию, а пока что…

Ураганная сила движений Голдинга погнала их на корму, хотя он даже не дотронулся до них. Николь все больше жалела, что поехала, и все больше сердилась на Дика. Его работа и ее недуг отдалили их в последние годы от светской жизни, и все уже знали, что они редко принимают какие-либо приглашения. Новобранцы недавних пополнений на Ривьере склонны были даже усматривать в этом закат былой дайверовской славы. Но как бы там ни было, заняв новую позицию, Николь считала неразумным отступать от нее ради пустякового развлечения.

Когда они проходили через центральный салон, им показалось, что в полукруге огней на корме мелькают танцующие пары. Но это был лишь мираж, колдовское воздействие музыки, воды, необычного освещения. В действительности гости отдыхали, расположась на широком диване, огибавшем палубу, и лишь несколько стюардов хлопотливо сновали кругом. Яркими пятнами выделялись женские платья — красное, белое, пестрое с размытым рисунком; белели пластроны

мужчин. Один из них поднялся им навстречу, и Николь, узнав его, радостно вскрикнула:

— Томми!

Он церемонно склонился над ее рукой, но Николь, пренебрегая этим галлицизмом, прижалась щекой к его щеке. Вдвоем они сели, вернее, полулегли на императорское ложе. Красивое лицо Томми сильно посмуглело за это время, но, утратив мягкую южную золотистость, не достигло того лиловатого отлива, которым так хороши лица негров — оно просто напоминало дубленую кожу. Этот его загар, созданный неведомым солнцем, его напоенность соками чужой земли, его косноязычие, в котором слышались отзвуки экзотических диалектов, его настороженность, след каких-то неведомых тревог — все это пленяло и убаюкивало Николь; в первые минуты она как бы мысленно забылась у него на груди… Потом инстинкт самосохранения напомнил о себе, и она сказала легким, небрежным тоном:

— Вы стали похожи на героя приключенческого фильма — но зачем было пропадать так долго?

Томми Барбан посмотрел на нее недоверчиво и с опаской; в зрачках у него вспыхнули искорки.

— Пять лет, — продолжала она чуть хрипло, имитируя что-то несуществующее. — Целая

вечность. Ну, перебили бы там сколько-нибудь народу для порядка и устроили бы себе небольшую передышку.

Вблизи от ее драгоценной особы Томми довольно быстро европеизировался.

— Mais pour nous heros, — сказал он, — il nous faut du temps, Nicole. Nous ne pouvons pas faire des petits exercices d'heroisme — il faut faire les grandes compositions[90].

— Говорите со мной по-английски, Томми.

— Parlez francais avec moi, Nicole[91].

— Но это не одно и то же — по-французски можно рассуждать о героизме и доблести с достоинством, вы это знаете. А по-английски нельзя рассуждать о героизме и доблести, не становясь немного смешным, это вы тоже знаете. Поэтому мне выгоднее разговаривать с вами по-английски.

— В сущности, я… — Он вдруг хихикнул. — В сущности, я и по-английски герой, храбрец и все такое прочее.

Она разыграла пантомиму преувеличенного

---

[90] Notes: 90

Но нам, героям, нужно время, Николь. Нельзя отделываться мелкими упражнениями в героизме — тут требуются большие масштабы *(фр.)*.

[91] Notes: 91

Говорите со мной по-французски, Николь *(фр.)*.

восхищения, но его это не смутило.

— Просто я знаю то, о чем снимаются кинофильмы, — сказал он.

— А что, в жизни это так, как в кино?

— В кино есть свои удачи — взять хотя бы Рональда Колмена. Вы видели его фильмы о Северо-Африканском корпусе? Они совсем неплохи.

— Отлично, теперь, сидя в кино, я буду знать, что с вами в эту минуту происходит то, что я вижу на экране.

Во время разговора Николь заметила миловидную хрупкую молодую женщину с бледным личиком и красивыми бронзовыми волосами, отливавшими зеленью в свете палубных огней. Она сидела по другую сторону Томми и, возможно, прислушивалась то ли к их разговору, то ли к разговору соседней пары. Судя по всему, она имела какие-то права на Томми и, убедясь окончательно, что его внимание отвлечено, сердито встала и, вздернув голову, перешла к другому борту.

— Да, в сущности, я герой, — спокойно повторил Томми, если и не всерьез, то лишь полушутя. — В бою я не знаю страха, дерусь как лев или как пьяный, которому море по колено.

Николь подождала, когда эхо этой похвальбы затихнет в его сознании, — она догадывалась,

что он никогда еще никому так не говорил о себе. Потом она оглядела незнакомые лица кругом: все те же ошалелые невропаты под маской равнодушия, которые рвутся на природу только потому, что им ненавистен город, ненавистен звук собственных голосов, служащий там камертоном…

Она спросила:

— Кто эта женщина в белом?

— Та, что сидела рядом со мной? Леди Керолайн Сибли-Бирс.

Оба помолчали, прислушиваясь к ее голосу, доносившемуся от противоположного борта.

— …он хотя и прохвост, но высшего полета. Мы с ним почти до утра играли вдвоем в chemin-de-fer, и он мне задолжал тысячу швейцарских франков…

Томми со смехом сказал:

— Леди Керолайн — самая безнравственная женщина Лондона. Всякий раз, когда я возвращаюсь в Европу, я застаю новый выводок безнравственных женщин из Лондона. Сейчас она на первом месте, но, кажется, уже появилась соперница.

Николь снова оглядела издали женщину, о которой шла речь; худенькая, тщедушная, с узкими плечами, она походила на легочную больную —

трудно было представить себе, что эти хилые ручки могут высоко держать знамя распада и разложения, последнее знамя угасающей империи. Ее скорее можно было принять за одну из плоскогрудых девчонок Джона Хелда[92], чем отнести к иерархии высоких томных блондинок, служивших моделью художникам и писателям, начиная с последних предвоенных лет.

Появился Голдинг, тщетно пытаясь умерить воздействие собственных габаритов, из-за которых любое его пожелание словно передавалось через раблезианской мощи усилитель; и Николь, хоть и с неохотой, уступила его доводам — что «Марджин» сразу же после обеда пойдет в Канн, что хоть они и пообедали раньше, но для икры и шампанского всегда найдется местечко; что Дик все равно уже распорядился по телефону, чтобы шофер не ждал их в Ницце, а ехал в Канн и оставил машину у Cafe des Allies, где им нетрудно будет найти ее.

За столом Дик оказался соседом леди Сибли-Бирс. Николь заметила издали, каким бледным стало его лицо под кирпичным загаром; до нее долетали только отдельные фразы, но она улав-

---

[92] Notes: 92

Джон Хелд (1889–1958) — американский художник, карикатурист, скульптор.

ливала безапелляционность его тона.

— …но не забывайте, что для вас, англичан, это пляска смерти… Сипаи в разрушенной крепости, веселье в крепости, осажденной сипаями, и тому подобное. Зеленая шляпа вышла из моды, ее время миновало.

Леди Керолайн отвечала междометиями, звучавшими то вопросительно, то двусмысленно, то почти зловеще, но Дик, видно, не замечал сигналов опасности. Наконец он почти выкрикнул что-то с неожиданной горячностью; что именно, Николь не слыхала, но она увидела, как молодая женщина вспыхнула и вся подобралась.

Опять он обидел кого-то — неужели нельзя было придержать немного язык? Когда же это кончится? Или так уж оно и будет до самой смерти?

В это время умолк оркестр («Рэгтайм-джаз Эдинбургского колледжа», как гласила надпись на барабане), и пианист, белокурый молодой шотландец, запел почти что на одной ноте, аккомпанируя себе негромкими аккордами. Он с таким нажимом выговаривал каждое слово, как будто донельзя был потрясен его значительностью.

Одна молодая персона

Пугалась церковного звона,
Имея на совести грех – да-да-да!
Пугалась церковного звона.
На совести грех (БУМ-БУМ),
На совести грех (ТРАМ-ТАМ).
Одна молодая персона.

— Что это еще такое? — наклонясь к Николь, шепотом спросил Томми.

Ответ был дан его соседкой с другой стороны:

— Слова Керолайн Сибли-Бирс. А музыку написал он сам.

— Quelle enfanterie![93] — пробормотал Томми, когда певец перешел ко второму куплету, повествующему о дальнейших переживаниях пугливой героини. — On dirait qu'il recite Racine![94]

Со стороны казалось, что леди Керолайн даже не слушает своего произведения. Николь глянула на нее и невольно подивилась тому, как эта женщина умеет производить впечатление — не умом, не характером, а одной лишь позой. Но чем-то она страшна, решила Николь, и ей при-

---

[93] Notes: 93
Что за ребячество! *(фр.)*

[94] Notes: 94
Можно подумать, что он декламирует Расина! *(фр.)*

шлось скоро убедиться в этом. Когда все общество встало из-за стола, Дик продолжал сидеть, как-то странно глядя перед собой, — и вдруг выпалил, с непонятным и неуместным остервенением:

— Терпеть не могу английскую манеру оглушительным шепотом говорить о людях гадости.

Леди Керолайн уже была у дверей, но при этих словах повернула обратно и, вплотную подойдя к Дику, отчеканила негромко, но с таким расчетом, чтобы слышали все, кто был в комнате:

— Пеняйте на себя — ведь вы нарочно поносили моих соотечественников, мою приятельницу Мэри Мингетти. А я только сказала, что вас видели в Лозанне в компании сомнительных личностей. И мои слова никого, кажется, не оглушили. Разве что *вас*.

— Для этого они недостаточно громки, — сказал Дик, немного, впрочем, запоздав с ответом. — Итак, по-вашему я отъявленный…

Но Голдинг утопил конец его фразы в громоподобных: «Идемте! Идемте!» — напором всей своей мощной фигуры тесня гостей к выходу. Уже с порога Николь успела заметить, что Дик по-прежнему неподвижно сидит за столом. Она негодовала на леди Сибли-Бирс за ее нелепые выдумки и в равной мере негодовала на Дика за

то, что он захотел сюда ехать, за то, что напился, за то, что вдруг выставил наружу колючки своей иронии, за то, что не сумел с честью выйти из спора, — и к этому примешивалось еще легкое недовольство собой; ведь она понимала, что первая вызвала раздражение англичанки, безраздельно завладев Томми Барбаном с минуты своего появления на яхте.

Немного спустя она мельком увидела Дика — он стоял у трапа, беседуя с Голдингом, и на вид был совершенно спокоен. Потом он ей долго не попадался на глаза, и через полчаса, попросив кого-то заменить ее в замысловатой малайской игре с нанизанными на веревочку кофейными зернами, она сказала Томми:

— Пойду поищу Дика.

Во время обеда «Марджин» снялась с якоря и теперь полным ходом шла на запад. Под приглушенный стук дизелей скользили по сторонам мягкие вечерние тени. На баке Николь сразу обдуло теплым ветром, растрепавшим ей волосы, и с внезапным чувством облегчения она узнала впереди, у флагштока, фигуру мужа. Завидев ее, он сказал ровным голосом:

— Чудесный вечер.

— Я не знала, где ты, и забеспокоилась.

— Да неужели?

— Не надо так говорить со мной, Дик. Я бы с такой радостью что-нибудь для тебя сделала, хоть пустяк какой-нибудь, но ничего не могу придумать.

Он отвернулся и стал смотреть туда, где за звездной завесой лежала Африка.

— Верю, Николь. Мне даже иногда кажется, что пустяк ты бы сделала с особенной радостью.

— Зачем ты так говоришь, Дик, — не надо.

В сиянии звезд, которое море подхватывало и пригоршнями белой пены швыряло обратно к небу, лицо Дика казалось бледным, но не злым, как можно было ожидать. В нем чувствовалась какая-то отрешенность; он медленно сосредоточивал свой взгляд на Николь, как шахматист на фигуре, которую готовится передвинуть; потом он взял ее за руку выше кисти и так же неторопливо притянул к себе.

— Говоришь, ты меня погубила? — спросил он почти ласково. — Но если так, мы оба с тобой — погибшие. А значит…

Холодея от страха, она втиснула и другую свою руку в его цепкие пальцы. Хорошо, пусть, она пойдет за ним — красота майского вечера ощущалась особенно остро в этот миг самоотречения

и готовности к душевному отклику — хорошо, пусть…

…но вдруг она почувствовала свои руки свободными, и Дик, тяжело вздохнув, повернулся к ней спиной.

У Николь потекли по лицу слезы. Кто-то приблизился к ним, мягко ступая по доскам палубы, — Томми Барбан.

— А, нашелся! Вы знаете, Дик, Николь боялась, не бросились ли вы часом в воду из-за того, что вас отчехвостила эта английская пигалица.

— А что, неплохое было бы решение — броситься в воду, — тихо сказал Дик.

— В самом деле! — поспешно подхватила Николь. — Давайте запасемся пробковыми поясами и бросимся в воду. Давно пора нам выкинуть что-нибудь экстравагантное. Мы живем слишком скучной, ограниченной жизнью.

Томми потянул носом, глядя то на одного, то на другого, как будто думал в свежем вечернем воздухе унюхать, что тут происходит.

— Давайте посоветуемся с леди Фигли-Мигли — она нас просветит насчет dernier cri[95] в этом деле. И надо бы нам выучить наизусть ее

---

[95] Notes: 95
Последнего крика моды *(фр.)*.

песенку. Я ее переведу на французский язык, и она будет иметь бешеный успех в казино, а я огребу кучу денег.

— Томми, вы богатый человек? — спросил Дик, когда они шагали втроем от носа к корме.

— Не то чтобы очень. Биржа мне надоела, и я ее бросил. Но у меня кое-что есть в ценных бумагах, которые я препоручил верным людям. В общем, пока жить можно.

— Дик собирается разбогатеть, — сказала Николь. У нее уже наступила реакция, и голос слегка дрожал.

На корме танцевали три пары — Голдинг чуть ли не вытолкнул их в круг. Николь и Томми тоже пошли; танцуя, Томми заметил:

— Дик стал много пить.

— Совсем не много, — честно вступилась Николь.

— Одни люди умеют пить, другие нет. Дик явно не умеет. Вы бы запретили ему.

— Я? — изумилась Николь. — Вы думаете, я могу что-то запрещать или разрешать Дику?

Когда «Марджин» бросила якорь на рейде в Канне, Дик был необычно молчалив и казался рассеянным и сонным. Голдинг самолично усадил его в спущенную шлюпку, следом за леди

Керолайн, которая тотчас же демонстративно пересела на другое место. Выйдя на берег, Дик отвесил ей преувеличенно церемонный поклон и, кажется, собирался пришпорить ее какой-то колкостью на прощанье, но Томми больно придавил локтем его руку, и они пошли к дожидавшейся неподалеку машине.

— Я вас отвезу, — предложил Томми.

— Не затрудняйтесь, мы можем просто взять такси.

— Да я с удовольствием — если еще оставите переночевать.

Дик молча полулежал на заднем сиденье, пока машина шла берегом через желтый монолит Гольф-Жуана, через Жуан-ле-Пен, где никогда не стихало карнавальное веселье, где ночь звенела музыкой и разноязыкими голосами певцов. Но когда они стали подниматься в гору, он вдруг выпрямился — возможно, машину тряхнуло на повороте — и сделал попытку произнести речь.

— Очаровательная представительница… — он на миг запнулся, — …представительница фирмы… подайте мне мозги, взбитые a l'Anglaise… — И, откинувшись на спинку, заснул мирным сном, только время от времени благодушно рыгая в бархатистую темноту ночи.

VI

Рано утром Дик вошел к Николь в спальню.

— Я ждал, пока не услышал, что ты встала, — сказал он. — Сама понимаешь, я очень сожалею о вчерашнем, но давай без аутопсии, ладно?

— Как хочешь, — холодно ответила она, приблизив лицо к туалетному зеркалу.

— Нас сюда привез Томми? Или мне это приснилось?

— Ты прекрасно знаешь, что он.

— Весьма возможно, — согласился Дик, — поскольку я только что слышал его кашель. Пойду загляну к нему.

Впервые в жизни, кажется, она порадовалась его уходу — наконец-то его раздражающая способность всегда и во всем оказываться правым изменила ему.

Томми уже ворочался на постели в предвкушении cafe au lait[96].

— Как спали? — спросил Дик.

Услышав, что у Томми побаливает горло, он отнесся к этому с профессиональной деловитостью.

---

[96] Notes: 96
Кофе с молоком *(фр.)*.

— Надо пополоскать на всякий случай.

— А у вас есть какое-нибудь полосканье?

— Представьте себе — нет. Наверно, у Николь есть.

— Не нужно беспокоить Николь.

— Она уже встала.

— Как она?

Дик медленно повернулся кругом.

— Вы что думали, если я выпил лишнее, она этого не переживет? — Он говорил с улыбкой. — Сегодняшняя Николь вырублена из той сосны, что растет в лесах Джорджии, а это самое крепкое дерево на свете после новозеландского эвкалипта…

Николь, спускаясь с лестницы, слышала часть их разговора. Она знала, что Томми любит ее, всегда любил; и знала, что в нем нарастает неприязнь к Дику, который это понял раньше его самого; и что Дик не оставит без внимания безответную страсть Томми. Эта мысль доставила ей минуту чисто женского торжества. Она стояла у стола, за которым завтракали ее дети, и давала распоряжения гувернантке, а наверху беседовали двое мужчин, которые были заняты только ею.

Хорошее настроение не покинуло ее и позже, за работой в саду. Она не жаждала никаких происшествий; только бы длился и длился безмолвный

поединок, в котором те двое перебрасывались мыслью о ней, — приятно после долгого перерыва вновь почувствовать, что существуешь, хотя бы в виде мячика.

— Что, крольчишка, славно? Как по-твоему? Ну что же ты, кролик, — ведь славно, да? Или ты не согласен со мной?

Кролик наудачу подергал носом туда-сюда, но, ничего более интересного не обнаружив, согласился и был вознагражден кучкой капустных листьев.

Николь продолжала заниматься своими повседневными делами. Срезала цветы для комнатных ваз и оставляла их на условленных местах: садовник потом принесет все сразу, и можно будет составить букеты. Когда она дошла до обрыва над морем, ей вдруг захотелось с кем-то поговорить по душам, но было не с кем, и разговор заменило раздумье. Ее немного смущало открытие, что она может испытать что-то к чужому мужчине; но у других женщин бывают же любовники — чем я хуже? В свете ясного весеннего утра мужской мир не казался запретным, и мысли ее были пестрыми, как цветы, а ветер хозяйничал в ее волосах и словно бы в голове тоже. У других женщин бывают любовники… Та самая сила, что

вчера требовала от нее неотступной верности Дику до смертного предела, сегодня заставляла ее улыбаться на ветру простой и утешительной логике этого «чем я хуже?».

Присев на невысокий парапет, Николь смотрела вниз, на море. Но из глубин другого моря, безбрежного моря фантазии, ей удалось добыть осязаемую истину, самую дорогую добычу из всех. Если она не должна ощущать себя навсегда слитой воедино с Диком, каким он был накануне, значит, она может существовать сама по себе, а не только как создание его ума, обреченное вечно кружить по ребру медали.

Место, где сидела Николь, было выбрано ею не случайно. Ниже, на уступах горного склона, раскинулся огород, и два крестьянина, полускрытые завесой листьев, орудовали там граблями и мотыгами, переговариваясь на смеси местного и провансальского диалектов. Привлеченная их голосами, она постепенно уловила смысл разговора.

— Как раз тут я ее и повалил…

— За теми виноградниками мы и слюбились.

— А ей хоть бы что — да и ему тоже. Кабы не проклятый пес. Только, значит, я ее тут повалил…

— У тебя, что ли, грабли?

— Да вон же они около тебя, пентюх.

— Больно мне надо знать, где ты ее повалил. Я до самой той ночи за двенадцать лет ни одной бабы даже не прижал — с тех пор как женился. А ты…

— Постой, дай досказать про пса…

Николь наблюдала за ними сквозь листву; ей казалось, что каждый из них прав — одному одно нужно, другому другое. Но подслушанный разговор был кусочком того, мужского, мира, и по дороге к дому ее вновь охватили сомнения.

Дик и Томми сидели на веранде. Она, не останавливаясь, прошла мимо них в комнаты, вынесла свой альбом и уселась рисовать голову Томми.

— Хоть прясть, хоть ткать, только б от дела не отстать, — смеясь, сказал Дик.

Как он может нести всякий вздор с еще серым после вчерашнего лицом, на котором каштановая пена бороды кажется красной, как и его глаза, налитые кровью.

Она повернулась к Томми.

— Я всегда нахожу себе занятие. Была у меня когда-то шустрая полинезийская обезьянка, так я, бывало, часами учу ее разным фокусам, пока домашние не примутся меня ругать…

Она умышленно прятала глаза от Дика. Немного спустя он извинился и пошел в дом. Через открытую дверь ей было видно, как он пьет воду, — стакан, потом другой; и что-то наглухо защелкнулось у нее внутри.

— Николь, — начал было Томми, но запнулся и стал откашливаться, чтобы прочистить горло.

— Хотите, я дам вам камфорную мазь для растирания, — предложила Николь. — Это американское средство. Дик в него очень верит. Сейчас принесу.

— Мне вообще пора ехать.

Вошел Дик и уселся на прежнее место.

— Во что это я верю? — спросил он.

Когда Николь вернулась с мазью, они оба сидели в тех же позах, но она почувствовала, что, пока ее не было, у них шел оживленный разговор ни о чем.

Шофер уже дожидался у дверей, держа в руках чемодан с костюмом, в котором Томми вчера приехал на виллу. Сейчас на Томми был костюм Дика, и, глядя на него, Николь чувствовала какую-то ложную жалость, словно Томми такой костюм был бы не по карману.

— Когда приедете в гостиницу, хорошенько разотрите этим шею и грудь, а потом вдыхайте

поглубже, — наставляла она.

— Послушай, Николь, — вполголоса сказал Дик, пока Томми ходил к машине, — не отдавай ему всю банку. Ты же знаешь, что здесь этой мази в продаже нет, ее нужно выписывать из Парижа.

Томми снова подошел к подножию лестницы; втроем они составили группу, освещенную солнцем, — Томми на одной линии с центром машины, так что сверху казалось: вот сейчас он чуть-чуть наклонится вперед и взвалит ее себе на спину.

Николь шагнула ступенькой ниже.

— Ловите! — крикнула она. — Только не разбейте, это очень трудно достать.

Она почувствовала, как рядом с нею безмолвно вырос Дик; она спустилась еще на одну ступеньку и замахала рукой вслед машине, увозившей Томми и банку с американской мазью. Потом она повернулась, готовая принять кару.

— Совершенно неуместная щедрость, — сказал Дик. — Нас тут четверо, а за столько лет можно было привыкнуть, что если у кого-нибудь начинается кашель…

Они посмотрели друг на друга.

— Ну, мы выпишем другую банку.

Вся ее храбрость улетучилась, и она покорно

пошла за ним наверх. В спальне он сразу лег на свою кровать, не говоря ни слова.

— Хочешь, чтобы завтрак тебе подали сюда? — спросила она.

Он кивнул по-прежнему молча и уставился в потолок. В какой-то растерянности она пошла отдать распоряжение прислуге. Когда она вернулась, он лежал все так же неподвижно, и его глаза были как два голубых прожектора, обшаривающие темное небо. Она с минуту постояла на пороге, не решаясь войти от сознания своей вины перед ним... Потом она протянула руку, словно хотела погладить его по голове, но он отпрянул, как испуганный зверь. И Николь не выдержала; поддавшись грубому кухарочьему страху, она бросилась вон из комнаты, с ужасом думая о том, чем будет жить дальше этот поверженный человек и что сможет дать ей, все еще голодным сосунком льнущей к его пустой груди.

Через неделю Николь уже позабыла о своей вспышке влечения к Томми; у нее была короткая память на людей, и она забывала легко. Но в первый жаркий июньский день она узнала, что он опять в Ницце. Об этом говорилось в записке, адресованной им обоим, — она прочитала ее под зонтом на пляже, разбирая захваченную из дому

почту. Прочитала и перебросила Дику, а он в ответ кинул ей на прикрытые пляжной пижамой колени только что распечатанную телеграмму:

ДОРОГИЕ ЗАВТРА ПРИЕДУ ГОССУ К СОЖАЛЕНИЮ БЕЗ МАМЫ НАДЕЮСЬ УВИДЕТЬСЯ

— Что ж, буду рада ее повидать, — мрачно сказала Николь.

VII

Но наутро, когда они вместе спускались к морю, в ней снова зашевелилось тревожное опасение, что Дик замыслил какой-то отчаянный выход из тупика. С того вечера на яхте Голдинга она чутьем догадывалась, что происходит. Хотя и держась еще привычной опоры, издавна дававшей ей ощущение безопасности, она уже чувствовала, что вот-вот совершит прыжок, который должен изменить всю химию ее существа, но, страшась неизбежности этого, не смела все осознать и додумать. Образы Дика и ее самой, расплывчатые, зыбкие, носились перед ней, будто в фантасмагорической пляске. Давно уже каждое произносимое ими слово, казалось, таило в себе

второй, подспудный смысл, и от Дика зависело, когда и как этот смысл раскрыть. Все это в конце концов могло обернуться не плохо — те долгие годы, когда Николь только существовала, но не жила, пробудили в ней такие ее природные свойства, которые рано были приглушены болезнью и до которых Дик так и не докопался — не по неуменью, а просто оттого, что никому не дано проникнуть во все закоулки чужой души; но повод для беспокойства оставался. Самым печальным в их отношениях было растущее безразличие Дика, которое сейчас обретало конкретную форму в том, что он слишком много пил. Николь не знала, будет она растоптана или уцелеет — фальшивые интонации Дика сбивали ее с толку; нельзя было угадать, как он поведет себя, когда с нестерпимою медленностью начнет разматываться дорожка перед трамплином, и что случится в последнюю минуту, в минуту прыжка.

Что будет после, ее не тревожило — наверно, она почувствует себя как человек, у которого свалилось с плеч бремя, упала повязка с глаз. В Николь все было рассчитано на полет, на движение — с деньгами вместо крыльев и плавников. Грядущая перемена должна была лишь

восстановить истинный порядок вещей, как если бы шасси гоночного автомобиля, надолго упрятанное под кузовом семейного лимузина, высвободили, чтобы использовать по назначению. Николь уже чувствовала дуновение свежего ветра — ее пугала лишь боль, которую может причинить подкрадывающийся разрыв.

Дайверы шли по пляжу, сверкая белизной своих белых костюмов на загорелых телах. Николь видела, что Дик ищет глазами Ланье и Топси среди пестрой неразберихи множества зонтов; он как бы на время отпустил ее, ослабил свою хватку, и, глядя на него свободно, со стороны, она подумала, что дети нужны ему сейчас не для того, чтобы их защитить, а чтобы у них найти защиту. Должно быть, ему было страшно на этом пляже, как низложенному властителю, тайком пробравшемуся в свой старый дворец. А она успела возненавидеть его мир, изобиловавший любезностями и милыми шутками, позабыв, что много лет это был единственный доступный ей мир. Пусть, пусть полюбуется своим пляжем, изгаженным в угоду вкусам лишенных вкуса людей; может бродить тут хоть целый день, все равно не найдет ни камня от китайской стены, которой он когда-то окружил этот пляж, не уви-

дит нигде отпечатка ноги друга.

На мгновенье Николь пожалела об этом; ей вспомнилось, как он разгребал мусорные кучи на пляже, заботливо выбирая осколки стекла, вспомнилась та лавчонка на окраине Ниццы, где они покупали себе матросские штаны и фуфайки — одеяние, на основе которого парижские couturiers[97] создали потом новую моду; вспомнилось щебетанье деревенских девчонок на волнорезе: «Dites done, dites done!»[98] — и привычный ритуал тармского утра, когда весь дом раскрывался покойно и радостно навстречу солнцу и морю, и озорные затеи Дика, глубоко погребенные под тяжестью всего нескольких лет…

Теперь пляж превратился в клуб, куда почти каждый имел доступ, как и в то разноплеменное общество, которое этот клуб представлял.

Привстав на соломенной циновке, Дик высматривал в толпе Розмэри, и Николь, перехватив его взгляд, снова стала холодной и жесткой. Вместе с ним она оглядывала берег, загроможденный разными штуками, которых тут раньше не было, — турниками и кольцами, перенос-

---

[97] Notes: 97
Портные *(фр.)*.

[98] Notes: 98
«Что такое, что такое!» *(фр.)*

ными кабинками для раздевания, плавучими вышками, прожекторами, оставшимися после вчерашнего праздника, белой буфетной стойкой с уже надоевшим модернистским орнаментом из велосипедных рулей.

Меньше всего Дик рассчитывал увидеть Розмэри в воде — купальщиков теперь было мало, только ребятишки барахтались в преддверии лазурного рая да один из служителей каждое утро щеголял перед публикой эффектными прыжками в воду со скалы в пятьдесят футов вышиной. Большинство же постояльцев Госса оголяло свои дряблые телеса, только чтобы окунуться разок перед самым уходом с пляжа, около часу дня.

— Вон она, — вдруг сказала Николь.

Она увидела, как его взгляд заскользил за Розмэри, двигавшейся от плота к плоту; она даже вздохнула, но в этом вздохе нашло себе выход что-то давнее, застоявшееся еще с того времени, пять лет назад.

— Давай поплывем ей навстречу, — предложил Дик.

— Иди один.

— Нет, пойдем вместе.

Она попыталась воспротивиться этой категоричности, но минуту спустя они уже плыли

рядом, и путь им указывала стайка мелких рыбешек, следовавших за Розмэри неотступно, как форель за блесной.

Николь осталась в воде, а Дик вылез на плот и уселся с Розмэри рядом; мокрые, они сидели и непринужденно болтали, как будто никогда не любили, даже никогда не касались друг друга. Розмэри еще похорошела — Николь была неприятно поражена ее молодостью, но тут же с удовлетворением отметила про себя, что из них двух она чуть потоньше. Николь кружила в воде у самого плота, прислушиваясь к голосу Розмэри — в нем звучала радость, веселье, ожидание и чуть большая уверенность, чем пять лет назад.

— Мама будет встречать меня в понедельник в Париже. Я ужасно соскучилась по ней.

— Пять лет прошло с тех пор, как вы впервые появились на этом пляже — такая смешная девчурка в госсовском купальном халате.

— Все-то вы помните! Вы и раньше помнили все — правда, только хорошее.

Опять старая игра в комплименты, подумала Николь и, нырнув, поплыла под водой. А когда вынырнула — услышала:

— А я притворюсь, будто не было этих пяти лет, будто мне все еще восемнадцать. Мне всегда

бывало хорошо, — нет, не просто, а как-то по-особенному хорошо с вами — с вами и с Николь. Вот смотрю сейчас и словно вижу всю вашу компанию на берегу, под зонтом — такие чудесные люди, я никогда раньше не встречала таких и, наверно, никогда больше не встречу.

Николь отплыла в сторону, она успела заметить, что хмурое лицо Дика слегка просветлело в разговоре с Розмэри, словно эта старая игра вызвала к жизни частицу былого его обаяния, потускневшего, как тускнеют от времени шедевры искусства; теперь бы ему бокал-другой вина, и он, пожалуй, способен будет повертеться перед нею на турнике, пусть и не с той легкостью, что в прежние годы. Это лето было первым на памяти Николь, когда он ни разу не отважился прыгнуть в воду с высоты.

Она снова повернула, лавируя между плотами, и тут ее нагнал Дик.

— У друзей Розмэри есть быстроходный катер — вон стоит. Хочешь покататься на акваплане? Я бы не прочь.

Было время, когда Дик делал стойку на стуле, установленном на конце доски; вспомнив об этом, она решила его побаловать, как при случае побаловала бы Ланье. В последнее свое лето на

Цугском озере они часто развлекались этой приятной спортивной игрой, и как-то раз Дик, стоя на доске, поднял на плечи человека двухсот фунтов весу. Но женщина берет мужчину в мужья со всеми его талантами и способностями, и потом ему уже трудно ее поразить, хоть она подчас и притворяется пораженной. А Николь даже особенно и не притворялась. Она только сказала: «Ну, что ж», и еще: «Я так и думала, что ты справишься».

Сейчас, однако, она хорошо знала, что он утомлен, что его просто раззадорила своей молодостью Розмэри — так живительно действовала на него, бывало, близость детского тельца, когда рождались на свет ее дети. Но у нее лишь мелькнула равнодушная мысль: «Не сделал бы он из себя посмешища».

На катере Дайверы оказались старше всех; молодые люди держались с ними почтительно-вежливо, но за любезными фразами Николь так и слышалось недоуменное: «Это еще кто?» Вот когда пригодился бы дар Дика без труда овладеть положением и задать нужный тон; но Дику было не до того — он весь был поглощен задуманным делом.

В двухстах ярдах от берега мотор приглушили, и один из молодых людей ласточкой прыгнул в

воду. Он подплыл к доске, вольно кувыркавшейся за кормой, уравновесил ее и осторожно на нее встал — сперва на колени, потом во весь рост. Отклонившись назад, он управлял своим легким суденышком, виляя из стороны в сторону вслед за катером, быстро набиравшим ход. Наконец он выровнял доску на волне, отпустил веревку, с минуту еще балансировал без опоры и потом нырнул, оттолкнувшись ногами, ушел под воду бронзовой статуей, а вновь показался черненьким пятнышком на порядочном расстоянии от катера, уже разворачивавшегося ему навстречу.

Николь от участия отказалась, и следующей на доске каталась Розмэри — осторожно и не изощряясь, но под шутливые аплодисменты своих поклонников. Трое из них с таким азартом боролись за честь втащить ее на борт, что ухитрились основательно ободрать ее кожу на колене и бедре.

— Ваша очередь, доктор, — сказал мексиканец-штурвальный.

Дик и последний еще не катавшийся молодой человек прыгнули за борт и поплыли к доске. Дик задумал повторить цугский трюк, и Николь следила за ним с презрительной улыбкой. Эта жажда блеснуть своими атлетическими качествами

перед Розмэри раздражала ее больше всего.

Когда доска, на которой они стояли вдвоем, обрела необходимое равновесие, Дик стал на колени, просунул голову между ногами партнера и медленно начал подниматься.

Зрители, сгрудившиеся у борта катера, видели, что ему приходится трудно. Он уже стоял на одном колене; теперь весь фокус был в том, чтобы поставить вторую ногу и выпрямиться, не прерывая движения. Он дал себе минутную передышку, потом, с исказившимся от усилия лицом, поднатужился и встал.

Доска была узкой; молодой человек, хотя и весил не больше полутораста фунтов, не умел распределить свою тяжесть, да к тому же еще ухватился за голову Дика. Наконец последним отчаянным напряжением спинных мышц Дику удалось выпрямиться — и в ту же минуту доска накренилась и оба полетели в воду.

Розмэри захлопала в ладоши и закричала:

— Браво, браво! У них почти вышло!

Но Николь, когда катер шел навстречу пловцам, сумела разглядеть на лице Дика то, что и думала там найти, — злость и досаду: ведь еще два года назад он свободно проделывал этот трюк.

При второй попытке он действовал осмотри-

тельней. Сначала слегка привстал, проверяя равновесие груза, потом снова опустился на одно колено и тогда только, выкрикнув: «Аллегоп!» — стал подниматься, но, прежде чем он распрямился во весь рост, у него вдруг подогнулись ноги, и, падая, он едва успел оттолкнуть доску подальше, чтобы избежать удара.

На этот раз, когда катер подошел, все его пассажиры заметили, что Дик злится.

— Я хотел бы попробовать еще раз! — крикнул он из воды. — У нас ведь почти получилось.

— Ну что ж. Валяйте.

Николь показалось, что вид у него совсем больной, и она предостерегающе заметила:

— А может быть, на сегодня довольно?

Дик оставил ее слова без ответа. Партнер забастовал и был поднят на борт, а его место услужливо занял правивший катером мексиканец.

Этот был тяжелее первого. Покуда катер набирал скорость. Дик отдохнул немного, ничком лежа на доске. Потом он подлез под партнера, взялся за веревку и, напрягая все силы, попробовал встать.

Встать он не смог. Николь видела, как он переменил положение и попытался еще раз, но как только партнер, отделившись от доски, всей

тяжестью придавил ему плечи, он словно окаменел. Он сделал еще попытку — приподнялся на дюйм, на два дюйма — Николь, напрягаясь с ним вместе, чувствовала, как пот выступает из всех пор у него на лбу, — с минуту еще он силился удержать равновесие, потом грузно рухнул опять на колени, и доска перевернулась, лишь чудом не ударив его по голове.

— Скорее к ним! — закричала Николь мотористу — и вдруг ахнула, увидя, что Дик исчез под водой. Но он тотчас же вынырнул снова и лег на спину в ожидании катера. Казалось, катер разворачивался целую вечность, но когда наконец подошел совсем близко и Николь увидала, как Дик, обессиленный и безучастный, покачивается на волне, будто кругом ничего нет, кроме моря и неба, ее испуг сразу сменился презрением.

— Сейчас мы вас вытащим, доктор… Берите его за ногу… вот так… ну, вот и все…

Дик сидел, ни на кого не глядя, тяжело переводя дух.

— Я так и знала, что ничего у тебя не выйдет, — не удержалась Николь.

— Он слишком устал за те два раза, — сказал мексиканец.

— Глупо было и пробовать, — твердила свое

Николь. Розмэри тактично молчала.

Дик наконец отдышался.

— Я бы в этот раз и бумажной куколки не поднял.

Кто-то прыснул, и это сразу разрядило тягостную атмосферу неудачи. Каждый старался быть с Диком полюбезнее, когда катер подошел к причалу. Только Николь не скрывала своего раздражения — ее теперь раздражало все, что бы он ни делал.

Она уселась с Розмэри под зонтом, а Дик пошел чего-нибудь выпить и скоро вернулся, неся по фужеру хереса им обеим.

— Ведь это с вами я пила впервые в жизни, — сказала Розмэри и вдруг воскликнула с неожиданной горячностью: — Господи, как я рада, что вижу вас и что все у вас хорошо. Я боялась… — она сломала фразу и повернула ее в другом направлении, — что, может быть, вы нездоровы.

— До вас дошли слухи, что Дик Дайвер катится по наклонной плоскости?

— Ой, что вы! Просто — просто кто-то мне говорил, будто вы изменились. И мне так приятно убедиться своими глазами, что это неправда.

— Это правда, — сказал Дик, опускаясь на песок с ними рядом. — И случилось это уже давно,

только было незаметно поначалу. Внешне все некоторое время остается по-старому после того, как внутри пройдет трещина.

— Вы занимаетесь практикой на Ривьере? — поспешно спросила Розмэри.

— А что, здесь для этого богатейшие возможности. — Он движением головы выделил одного, другого, третьего в людском скопище, копошившемся на золотом песке. — Объектов хоть отбавляй. Вон старая наша приятельница, миссис Абрамс, разыгрывает герцогиню при Мэри Норт — королеве. Но вы не завидуйте — вспомните, как долго миссис Абрамс пришлось взбираться на четвереньках по черной лестнице «Рица», сколько она коверной пыли наглоталась.

Розмэри перебила его:

— Да неужели же это Мэри Норт? — Она изумленно вгляделась в женщину, которая шествовала в их сторону в сопровождении нескольких спутников, державшихся как люди, привычные к тому, что на них смотрят. Очутившись в каких-нибудь десяти шагах от Дайверов, Мэри скользнула по ним косым, быстрым взглядом, одним из тех взглядов, которые должны показать вам, что вас заметили, но сочли не заслуживающими внимания, — ни Дайверы, ни Розмэри Хойт никогда не

позволили бы себе бросить подобный взгляд на кого бы то ни было. Но тут она узнала Розмэри и, передумав, направилась прямо к ним — что немало позабавило Дика. Она приветливо поздоровалась с Николь, почти не глядя, кивнула Дику, словно боялась заразиться от него чем-то, — он в ответ нарочито почтительно поклонился, — и, расцветя улыбкой, заговорила с Розмэри:

— Мне уже говорили о вашем приезде. Вы надолго?

— До завтра, — ответила Розмэри.

От нее не укрылось, что Мэри прошла сквозь Дайверов для того, чтобы поздороваться с ней, и верность дружескому долгу охладила ее добрые чувства к Мэри. Нет, к сожалению, она сегодня вечером занята.

Мэри повернулась к Николь, всей своей манерой выражая некий сплав расположения и сострадания.

— Как детки? — спросила она.

В эту самую минуту Ланье и Топси прибежали и стали просить, чтобы Николь отменила какой-то запрет гувернантки, касающийся купанья в море.

— Нет, — вмешался Дик. — Раз mademoiselle сказала так, значит, так.

Согласная с тем, что не следует расшатывать авторитет властей предержащих, Николь тоже ответила отказом, и Мэри — которая, подобно героине Аниты Лус, привыкла иметь дело только с faits accomplis[99], — так посмотрела на Дика, будто стала свидетельницей проявления жесточайшего деспотизма с его стороны. Но Дику уже успела надоесть вся эта комедия, и он осведомился с наигранным интересом:

— А как ваши детки — и их тетушки?

Мэри до ответа не снизошла; она сочувственно погладила по голове Ланье, тщетно пытавшегося сопротивляться, и удалилась. После ее ухода Дик заметил:

— Как подумаю, сколько времени я потратил, стараясь что-то из нее сделать.

— А я к ней хорошо отношусь, — сказала Николь.

Враждебный тон Дика удивил Розмэри; она привыкла считать его человеком, который все понимает и все умеет простить. И тут ей вспомнилось, что именно она про него слыхала. Вместе с нею на пароходе ехали работники Государственного департамента, американцы, до того

---

[99] Notes: 99
Свершившимися фактами *(фр.)*.

европеизировавшиеся, что их вообще уже трудно было причислить к гражданам какой-либо страны. В разговоре всплыло имя вездесущей Бэби Уоррен, и было сказано, что младшая сестра Бэби загубила свою жизнь, выйдя замуж за врача-пропойцу. «Его уже нигде не принимают», — заметила одна из дам.

Розмэри встревожилась; хотя Дайверы в ее мыслях никак не связывались с теми кругами, где подобный факт (если это был факт) может иметь значение, некий смутный образ организованного остракизма вставал перед ней за этими словами: «Его уже нигде не принимают». Воображение рисовало ей, как Дик поднимается по ступеням большого нарядного особняка, вручает свою карточку дворецкому и в ответ слышит: «Не ведено принимать»; идет дальше, в другое, в третье место, и бесчисленные дворецкие бесчисленных послов, посланников и поверенных в делах встречают его той же фразой…

Николь захотелось уйти. Она знала наперед, как все пойдет дальше: сейчас Дик, словно выведенный из спячки, вновь станет обворожительным, и Розмэри, конечно, не устоит. И в самом деле — через минуту она услышала его голос, в мягких переливах которого стерлось все неприятное, что

он успел сказать раньше.

— Да я, в общем, ничего против Мэри не имею — она процветает, и слава богу. Но довольно трудно продолжать хорошо относиться к тем, кто уже не относится хорошо к тебе.

Розмэри мгновенно заворковала ему в тон:

— Вы такой милый, Дик. Мне кажется, даже если бы вы обидели кого-нибудь, вам нельзя не простить и обиды. — Потом, спохватясь, что в избытке восторга ступила на территорию, принадлежащую Николь, она опустила глаза и уставилась в одну точку на песке, как раз посредине между Дайверами. — Я все хочу спросить вас обоих, что вы думаете о моих последних картинах, — если вы их видели.

Николь промолчала; она видела только одну картину и особенно о ней не задумывалась.

— Постараюсь ответить так, чтобы вы меня поняли, — сказал Дик. — Предположим, Николь говорит вам, что Ланье болен. Как бы вы реагировали в жизни? Как бы реагировал каждый? Начали бы играть — лицом, голосом, словами: лицом выражать печаль, голосом — потрясение, словами — сочувствие.

— Д-да — вероятно.

— На сцене дело обстоит иначе. Все великие

актрисы обязаны своей славой своему уменью пародировать естественные человеческие чувства — страх, жалость, любовь.

— Понимаю. — Впрочем, она не совсем понимала.

Нить рассуждений Дика ускользнула от Николь, и чем больше он говорил, тем больше это ее раздражало.

— Актрисе естественная реакция противопоказана. Еще пример: предположим, вам говорят: «Ваш возлюбленный умер». В жизни вас такое известие просто подкосило бы. А на сцене вы должны держать зрителей в напряжении — естественно реагировать они могут и сами. Как актриса, вы, во-первых, связаны текстом роли, а во-вторых, вам нужно, чтобы публика думала о вас, а не о каком-то убитом китайце или кто он там был. А для этого необходимо сделать что-то, чего зрители не ожидают. Если им известно, что ваша героиня сильна, вы в эту минуту показываете ее слабой; если она слаба, вы ее показываете сильной. Вы должны выйти из образа — понятно вам?

— Не вполне, — призналась Розмэри. — Как это — выйти из образа?

— Вы делаете то, чего публика не ожидала, пока

вам не удастся снова приковать ее внимание к себе и только к себе. А дальше вы опять действуете в образе.

Николь решила, что с нее довольно. Она резко встала, не пытаясь скрыть свое раздражение. Розмэри, уже несколько минут смутно чувствовавшая неладное, с умиротворяющей улыбкой притянула к себе Топси.

— Хотела бы ты стать артисткой, когда вырастешь? Я уверена, что из тебя вышла бы прекрасная артистка.

Николь вперила в нее холодный немигающий взгляд и отчеканила голосом своего деда:

— Совершенно непозволительно внушать чужим детям подобные идеи. Вы забываете, что у нас могут быть другие планы относительно их будущего. — Она резко повернулась к Дику. — Я еду домой. За тобой и детьми пришлю Мишель.

— Но ты почти год не водила машину, — возразил он.

— Ничего, я не забыла, как это делается.

Не взглянув на Розмэри, лицо которой красноречиво выражало «естественную реакцию», она пошла в кабинку переодеться.

Вышла она оттуда все с тем же выражением лица, жестким и непроницаемым, как металл.

Но, выехав на обсаженную деревьями дорогу, она словно попала в другой мир — зеленые кроны смыкались над головой, цокала белка, перепрыгивая с ветки на ветку, ветер толчками шевелил листву, где-то прокричал петух, разорвав далекую тишь, солнечные лучи осторожно пробирались сквозь плотную завесу; шум пляжа не долетал сюда, и Николь мало-помалу отошла. Теперь ей было радостно и легко, мысли стали звонкими, как колокольчики, — она чувствовала себя исцелившейся и обновленной. Точно огромный цветок, распустилось ее «я», и за темными закоулками лабиринта, где она блуждала столько лет, обозначился выход. О пляже она старалась не думать, он ей опротивел, как и все в той вселенной, где солнцем был Дик, а она планетой при нем.

«Да, я уже почти полноценный человек, — думала она. — Я уже могу стоять на ногах сама без его помощи». И, с детским нетерпением стремясь ощутить всю меру обретенной полноценности — хоть и со смутным чувством, что именно этого от нее ждал Дик, — она сразу же по возвращении бросилась на кровать и написала Томми Барбану в Ниццу коротенькое зазывное письмо.

Но то было днем — а к вечеру нервный подъем стал ослабевать, Николь сникла, и в воздухе

опять полетели незаметные стрелы. Она не знала, что у Дика на уме, и это пугало ее; чутьем она угадывала, что все его поведение за последнее время подчинено определенному плану, а планов его Николь боялась всегда — они, как правило, были осуществимы и несли в себе некую логическую завершенность, против которой она себя чувствовала бессильной. Так уж повелось с самого начала, что он один думал за них обоих, и даже в его отсутствие каждый поступок Николь словно бы автоматически сообразовался с его волей; оттого даже и сейчас ее не хватило на то, чтобы противопоставить свои намерения намерениям Дика. А между тем нужно было думать самой; она разобрала наконец номер на двери страшного мира бредовых видений, за спасительным порогом которой ни от чего спасения нет; она поняла, что отныне самая большая опасность для нее — это опасность самообмана. Урок был долгим, но усвоила она его хорошо. Или думай сам — или тот, кому приходится думать за тебя, отнимет твою силу, переделает все твои вкусы и привычки, по-своему вышколит и выхолостит тебя.

Они мирно поужинали в столовой, не зажигая света; Дик за ужином пил много пива и весело шутил с детьми. Потом он подсел к роялю — иг-

рал песни Шуберта и недавно полученные из Америки джазовые песенки, а Николь, заглядывая в ноты через его плечо, напевала глубоким, хрипловатым контральто:

Спасибо, отец,

Спасибо, мать,

За то, что друг друга довелось вам узнать…

— Ерунда какая-то, — сказал Дик и хотел перевернуть страницу.

— Нет, пожалуйста, доиграй это! — воскликнула Николь. — Неужели я до конца своих дней должна буду вздрагивать при слове «отец»?

…Спасибо повозке с колченогим коньком,

Спасибо, что в ту ночь были вы под хмельком…

Когда совсем стемнело, они сидели с детьми на плоской кровле и смотрели, как над двумя казино, в двух разных концах взморья, взлетают в небо огни фейерверка. Непривычно и грустно было чувствовать себя чужими друг другу.

На следующий день, вернувшись из Канна, куда она ездила за покупками, Николь застала

записку от Дика о том, что он хочет побыть один и на несколько дней уезжает в Прованс на маленькой машине. Она еще не успела дочитать, как раздался телефонный звонок. Звонил Томми из Монте-Карло: он получил ее письмо и едет в Тарм. «Буду ждать», — сказала Николь в трубку, теплую от ее губ.

VIII

Николь, приняв ванну, умастила и припудрила свое тело, потопталась на усыпанном пудрой мохнатом полотенце. Потом долго и дотошно изучала себя в зеркале, гадая, скоро ли этот стройный, гармоничный фасад осядет и потеряет плавность линий. Лет так через шесть; но сейчас я еще ничего — пожалуй, даже лучше очень и очень многих.

Она себя не переоценивала. Единственное различие между нынешней Николь и Николь пять лет назад заключалось в том, что тогда ее красота еще была девически незрелой. Но все-таки она завидовала юным — оказывал свое действие современный культ юности, примелькавшиеся полудетские лица киногероинь, которые, если верить экрану, несли в себе всю энергию и всю мудрость эпохи.

Она надела длинное, до щиколотки платье, каких не носила днем уже много лет, истово перекрестилась несколькими каплями «Шанель № 16». К часу дня, когда автомобиль Томми затормозил перед виллой, она была точно цветущий, хорошо ухоженный сад.

Как чудесно снова испытать все это — принимать чье-то поклонение, играть в какую-то тайну! Два бесценных года выпали из ее жизни в самую пору самодовольного расцвета красивой женщины, и теперь она словно наверстывала их. Она встретила Томми так, словно он был один из многих ее поклонников, и, ведя его к столу под сиеннским зонтом, шла не рядом, а немного впереди. Красавицы девятнадцати и двадцати девяти лет одинаково уверены в собственной силе, тогда как в десятилетие, разделяющее эти два возраста, требовательность женского естества мешает женщине ощущать себя центром вселенной. Дерзкая уверенность девятнадцатилетних сродни петушиному задору кадет; двадцатидевятилетние в этом смысле скорей напоминают боксеров после выигранного боя.

Но если девчонка девятнадцати лет попросту избалована переизбытком внимания, женщина двадцати девяти черпает свою уверенность из ис-

точников более утонченных. Томимая желанием, она умело выбирает аперитивы; удовлетворенная, смакует, точно деликатес, сознание своей власти. К счастью, ни в том, ни в другом случае она не задумывается о будущих годах, когда ее внутреннее чутье все чаще станет мутиться тревогой, страшно будет останавливаться и страшно идти вперед. Но девятнадцать и двадцать девять — это лестничные площадки, где можно спокойно повременить, не ожидая опасности ни снизу, ни сверху.

Николь не хотела туманного платонического романа; ей нужен был любовник, нужна была перемена. Она понимала — думая мыслями Дика, — что с поверхностной точки зрения нелепо и пошло без истинного чувства пускаться в авантюру, которая для всех может кончиться плохо. Но с другой стороны, она считала именно Дика непосредственным виновником всему и вполне искренне думала, что такой эксперимент может оказаться целебным. Ее подбодряли примеры, которых она немало насмотрелась кругом в это лето, — столько людей поступали так, как хотели, и это им легко сходило с рук. А кроме того, несмотря на принятое решение никогда себе не лгать, она уговаривала себя, что всего лишь

нащупывает почву и в ее воле в любую минуту выйти из игры…

Когда они очутились в тени у стола, Томми раскрыл объятия — точно белый селезень взмахнул крыльями — и, притянув Николь к себе, заглянул ей в глаза.

— Не шевелитесь больше, — приказала она. — Я теперь буду смотреть на вас долго-долго.

Его волосы были надушены, от белого костюма исходил легкий запах мыла. С минуту они просто смотрели друг на друга. — Николь без улыбки на плотно сжатых губах.

— Ну как, нравится вам то, что вы видите? — негромко спросила она.

— Parle francais[100].

— Хорошо, — сказала она и по-французски повторила тот же вопрос: — Нравится вам то, что вы видите?

Он крепче прижал ее к себе.

— Мне все в вас нравится. — И после паузы: — Я был уверен, что хорошо знаю ваше лицо, но оказывается, в нем есть кое-что, чего я не замечал прежде. С каких пор у вас появился этот невинно-жуликоватый взгляд.

---

[100] Notes: 100
Говори по-французски *(фр.)*.

Она сердито вырвалась и воскликнула по-английски:

— Ах, вот почему вам захотелось перейти на французский! — Она понизила голос, увидав подходившего лакея с бутылкой хереса и бокалами: — Чтобы удобнее было говорить обидные вещи!

Она с размаху села на стул, вдавив свои маленькие ягодицы в подушку из серебряной парчи.

— У меня здесь нет зеркала, — начала она опять по-французски, но более решительным тоном. — Но если мой взгляд стал другим, так это оттого, что я выздоровела. И вместе со здоровьем восстановилась моя истинная природа. Мой дедушка был жуликом, и у меня это наследственное, вот и все. Удовлетворен ваш практический ум?

Томми смотрел на нее с недоумением, не понимая, о чем она говорит.

— А где Дик — он с нами не завтракает?

Он явно задал этот вопрос, не придавая ему особого значения, и Николь смехом постаралась стереть испытанную досаду.

— Дик уехал в Прованс, — сказала она. — Розмэри Хойт возникла на горизонте, и он либо уехал вместе с ней, либо пришел в такое расстройство чувств, что ему захотелось помечтать о ней в

одиночестве.

— Странная вы все-таки женщина, Николь.

— Ну что вы! — поспешно возразила она. — Самая обыкновенная. Верней, во мне сидит с десяток самых обыкновенных женщин, только все они разные.

Лакей подал дыню и ведерко со льдом. Николь молчала; слова Томми насчет «жуликоватого взгляда» не шли у нее из ума; да, этот человек из тех, кто угощает нерасколотыми орехами вместо того, чтобы услужливо подносить очищенные ядрышки на тарелочке.

— Зачем только вам помешали оставаться тем, что вы есть? — снова заговорил Томми. — Ваша судьба и трогает и волнует.

Она не нашлась что ответить.

— Уж эти мне укротители строптивых! — презрительно фыркнул он.

— В любом обществе есть... — начала было она под неслышную подсказку тени Дика, но тут же смолкла, покоряясь тому, что звучало в голосе Томми.

— Мне на моем веку пришлось образумить немало мужчин с помощью силы, но я бы крепко подумал, прежде чем решиться на это хотя бы с одной женщиной. А такой «гуманный»

деспотизм, пожалуй, еще хуже. Кому он на пользу — вам, ему, еще кому-нибудь?

Сердце у Николь екнуло и сжалось; она слишком хорошо знала, чем она обязана Дику.

— Мне кажется, у меня…

— У вас слишком много денег, — нетерпеливо перебил Томми. — В этом вся загвоздка. Дик этого не может переварить.

Она молча раздумывала, пока лакей убирал остатки дыни.

— Что же мне теперь, по-вашему, делать?

Впервые за десять лет она чувствовала над собой чужую волю, которая не была волей мужа. Теперь каждому слову Томми предстояло войти в ее плоть и кровь.

Они пили вино, а над ними ветерок шелестел в сосновых ветвях и солнце в полуденной истоме осыпало слепящими веснушками клетчатую скатерть на столе. Томми, зайдя сзади, положил ей руки на плечи, потом, скользнув ладонями от плеча вниз, крепко сжал ее пальцы. Их щеки соприкоснулись, губы встретились, и она глубоко вздохнула то ли от страсти, то ли от изумления, что эта страсть так сильна…

— Нельзя ли услать гувернантку с детьми куда-нибудь?

— У детей урок музыки. И все равно — я не хочу оставаться здесь.

— Поцелуй меня еще.

Чуть позже, в машине, мчавшей их по направлению к Ницце, Николь думала: «Так у меня жуликоватый взгляд, да? Ну что ж, лучше здоровый жулик, чем добропорядочная психопатка».

И как будто эта сентенция сняла с нее всякую вину или ответственность, она вдруг возликовала, по-новому взглянув на себя. Перед ней раскрывались новые горизонты, множество мужчин спешило навстречу, и ни одного ей не нужно было слушаться или даже любить. Она перевела дух, резко передернула плечами и повернулась к Томми.

— Неужели нам непременно нужно ехать до самого Монте-Карло?

Он так резко затормозил, что завизжали шины.

— Нет! — воскликнул он. — И — черт побери, я так счастлив сейчас, как никогда в жизни.

Ницца уже была позади, и голубая дорога, повторяя изгибы берега, постепенно поднималась к Корнишу. Но Томми теперь круто свернул вправо, выехал на тупой мысок и вскоре остановился у боковых ворот маленького приморского отеля.

На миг Николь стало страшно от будничной реальности происходящего. У конторки какой-то американец долго и нудно препирался с портье из-за валютного курса. Вся сжавшись внутренне, но невозмутимая внешне, Николь ждала, пока Томми заполнял регистрационные бланки — для себя на свое настоящее имя, для нее на вымышленное. Номер, в который они вошли, был как любой номер в курортной гостинице средней руки — почти опрятный, почти аскетически обставленный, с темными шторами на окнах в защиту от сверкания моря. Незатейливый приют для незатейливых наслаждений. Официант принес заказанный Томми коньяк и вышел, притворив за собой дверь. Томми сидел в единственном кресле, загорелый, прямой, красивый, бровь дугой, на щеке рубец — Пэк-воитель, замечтавшийся Сатана.

Коньяк еще не был допит, когда внезапный порыв поднял их и бросил друг к другу. Потом, усадив ее на кровать, он целовал жестковатые смуглые колени. Ее короткое сопротивление похоже было на судороги обезглавленного животного — она уже забыла и Дика, и свои изменившиеся глаза, и самого Томми, и только все дальше уходила в глубь времени — минут —

мгновенья.

...Когда он встал и, подойдя к окну, приподнял штору, чтобы посмотреть, что за шум там внизу, он показался ей смуглей и крепче Дика; тугие клубки мускулов перекатывались под солнечными бликами на коже. Была минута в их близости, когда и он позабыл ее; почти в ту самую секунду, когда его плоть оторвалась от ее плоти, ее вдруг охватило предчувствие, что все будет не так, как она ожидала. То был безымянный страх, предшествующий любому потрясению, радостному или скорбному, с той неизбежностью, с которой раскат грома предшествует грозе.

Томми осторожно высунулся наружу и затем доложил:

— Ничего не видно — только на балконе, что под нашим балконом, сидят две женщины в качалках и беседуют о погоде.

— И это от них столько шуму?

— Нет, шум идет откуда-то еще ниже. Вот послушай.

Ах, на юге, где сеют хлопок,
Отели пустуют, дела идут плохо,
Глядеть неохота...

— Это американцы.

Николь широко раскинула руки на постели и уставилась в потолок; ее тело взмокло под пудрой и словно подернулось молочной пленкой. Ей нравилась эта голая комната с одинокой мухой, которая, жужжа, летала под потолком. Томми пододвинул к кровати кресло и сбросил лежавшие на нем вещи, чтобы сесть; ей нравилось, что вещей так мало: невесомое платье и сандалеты да его полотняные брюки — маленькая кучка на полу.

Он рассматривал ее удлиненный белый торс, резко отделявшийся от почти коричневых конечностей, и наконец сказал полушутя-полусерьезно:

— Ты точно новорожденный младенец.

— С невинно-жуликоватыми глазами.

— Это мы исправим.

— Глаза исправить трудно — особенно если они сделаны в Чикаго.

— Ничего, я знаю лангедокские народные средства.

— Поцелуй меня, Томми. В губы.

— Как это по-американски, — сказал он, однако исполнил ее просьбу. — Когда я последний раз был в Америке, я там встречал таких любительниц целоваться; вопьются в губы до того, что

кровь брызнет, — но дальше ни-ни.

Николь приподнялась, облокотясь на подушку.

— Мне нравится эта комната, — сказала она.

— На мой взгляд, бедновата немножко. Радость моя, как чудно, что ты не захотела ждать до Монте-Карло.

— Почему бедновата? По-моему, комната замечательная — она как непокрытые столы у Пикассо и Сезанна.

— Ну, не знаю. — Он даже не пытался понять ее. — Вот, опять этот шум. Господи, да что там, убивают кого-то?

Он вернулся к окну и снова стал докладывать:

— Это американские матросы, — двое дерутся, а другие подзадоривают. Должно быть, с вашего крейсера, который стоит на рейде. — Он обернул полотенце вокруг бедер и вышел на балкон. — И их poules[101] тоже с ними. Теперь так водится — эти женщины следуют за кораблем из порта в порт. Но какие женщины! При их жалованье могли бы найти себе что-нибудь получше! Помню, например, в корниловской армии — что ни женщина, то по меньшей мере балерина!

Видно было, что само слово «женщина» не

---

[101] Notes: 101
Подружки *(фр.)*.

вызывает в нем никаких эмоций — слишком уж многих он знал на своем веку, и Николь была довольна этим, считая, что ей нетрудно будет удержать его, пока он находит в ней нечто большее, чем обыкновенную женскую прелесть.

— Давай, давай!

— В подвздох норови, там больнее!

— Дава-а-ай!

— А ты его правой, правой!

— Так его, так его!

— Ты что же, Дулшмит, сукин ты сын!

— Дава-а-ай!

Томми вернулся в комнату.

— Здесь больше не стоит оставаться, согласна?

Она была согласна, но, прежде чем одеться, они снова припали друг к другу, и на какое-то время убогий отель показался им не хуже любого дворца…

Наконец Томми оделся и, выглянув в окно, воскликнул:

— Господи боже, эти две мумии в качалках даже не повернулись! Сидят себе и разговаривают как ни в чем не бывало. Они приехали сюда, чтобы экономно провести отпуск у моря, и весь американский военный флот вкупе со всеми шлюхами Европы им в этом не помешает.

Нежно обвившись вокруг Николь, он стал зубами поправлять соскользнувшую с ее плеча бретельку, но тут что-то оглушительно бухнуло за окном — это крейсер сзывал своих матросов на борт.

И сразу же внизу началась невообразимая кутерьма — никто ведь не знал, куда, к каким берегам держит курс отплывающий корабль. Бесстрастные голоса официантов, требующих расчета, смешивались с бранью и возмущенными выкриками; шелестела бумага слишком крупных счетов, и звенели моменты слишком мелкой сдачи; кого-то, кто уже не держался на ногах, волокли к шлюпкам товарищи — и весь шум перекрывали отрывистые команды чинов военно-морской полиции. Наконец, под крик, плач, просьбы и обещания, отчалила от берега первая шлюпка, и вслед ей понеслись прощальные вопли столпившихся на пристани женщин.

Вдруг какая-то девушка ворвалась на нижний балкон и, подскочив к перилам, яростно замахала белой ресторанной салфеткой. Томми даже не успел разобрать, нарушило ли это вторжение невозмутимую безмятежность англичанок в качалках — почти в ту же минуту кто-то застучал в их собственную дверь. Взволнованные женские

голоса умоляли отворить; Николь кивнула, и Томми повернул ключ в замке. За дверью стояли две девушки, два растрепанных заморыша в нелепых кричащих платьях. Одна из них плакала навзрыд.

— Пустите нас помахать с вашего балкона! — взмолилась вторая с сильным американским акцентом. — Пожалуйста, пустите! Помахать дружкам на прощанье! Пустите, пожалуйста! Другие комнаты все заперты!

— Сделайте одолжение, — любезно сказал Томми.

Девушки метнулись к балкону и сейчас же на фоне общего гула зазвенели два пронзительных дисканта:

— Чарли, Чарли! Оглянись, Чарли!

— Пиши в Ниццу до востребования!

— Чарли! Не видит он меня!

Одна из девиц вдруг задрала юбку, стащила с себя розовые трусики и, рванув их по шву, отчаянно замахала этим импровизированным флагом, крича: «Бен! Бен!» Когда Николь и Томми выходили из комнаты, он все еще трепыхался в синеве неба, нежно-розовый лоскут, точно кусочек живого тела, — а на корме крейсера торжествующим соперником всползал на мачту

государственный флаг Соединенных Штатов.

Обедали в Монте-Карло, в новом приморском казино… а поздно вечером, остановившись в Болье, купались в воронке белого лунного света, образованной полукольцом скал над чашей фосфоресцирующей воды, напротив Монако и маячащей в дымке Ментоны. Николь нравилось, что Томми привез ее в это обращенное к востоку местечко; все здесь, начиная с игры ветра и волн, было непривычным и новым, как сами они друг для друга. Она чувствовала себя пленницей из средневекового Дамаска, которую похититель взвалил поперек седла и умчал в далекую пустыню. Все, чему ее в жизни научил Дик, в короткое время оказалось забытым; она почти возвратилась в первобытное состояние — Женщина, за которую в мире скрещиваются мечи, — и, расслабленная любовью и луной, радовалась необузданности своего любовника.

Они пробудились в одну и ту же минуту. Луна уже зашла, и было прохладно. С усилием поднявшись на ноги, Николь спросила, который час. Томми сказал, что около трех.

— Мне пора домой.

— Я думал, мы заночуем в Монте-Карло.

— Нет. Дома гувернантка и дети. Я должна вер-

нуться до рассвета.

— Как хочешь.

На прощанье решили еще разок окунуться. Увидев, что Николь, выйдя из воды, вся дрожит, Томми крепко растер ее полотенцем. Они уселись в машину с еще мокрыми волосами, с разгоревшейся после купанья кожей. Им очень не хотелось уезжать. Было совсем светло, и, когда Томми целовал ее, она чувствовала, что для него сейчас не существует ничего, кроме ее бледных щек, и белых зубов, и прохладного лба, и ее пальцев, тихонько скользивших по его лицу. Она ждала какого-то разговора, каких-то словесных дополнений или толкований, как это бывало с Диком, но он молчал. И, поняв, сонно и радостно, что разговора не будет, она поудобней устроилась на сиденье и мирно продремала до тех пор, пока изменившийся тембр урчанья мотора не сказал ей, что они уже поднимаются к вилле «Диана». Прощаясь с Томми у ворот, она поцеловала его почти машинально. По-новому зашуршал гравий дорожки под ногами, чем-то давно ушедшим в прошлое показались звуки ночного сада — и все же она была рада вновь оказаться дома. Стремительное стаккато, в котором прошел этот день, потребовало хоть и приятного, но непривычного

для нее напряжения сил.

IX

На следующий день, ровно в четыре часа, у ворот виллы остановилось такси, и из него вышел Дик. Николь сбежала с террасы ему навстречу, силясь вернуть себе внезапно утраченное равновесие.

— А где же машина? — спросила она.

— Оставил в Арле. Надоело сидеть за рулем.

— Из твоей записки я поняла, что ты уезжаешь на несколько дней.

— Я попал в полосу мистраля и дождя.

— Но ты доволен поездкой?

— Как всякий, кто едет, чтобы от чего-то убежать. Я отвез Розмэри в Авиньон и там посадил на поезд. — Взойдя вместе с Николь на террасу, он поставил свой чемодан. — Я не упомянул об этом в записке, чтобы ты не нафантазировала себе бог весть чего.

— Благодарю за заботу. — Николь уже вновь обрела почву под ногами.

— Мне хотелось узнать, можно ли от нее ждать чего-то, — а для этого нужно было побыть с ней наедине.

— Ну и как — можно или нельзя?

— Розмэри так и не стала взрослой, — ответил он. — Вероятно, это к лучшему. А ты что делала?

Она почувствовала, что у нее по-кроличьи задергался кончик носа.

— Вчера вечером ездила потанцевать — с Томми Барбаном. Мы отправились…

Поморщившись, он перебил ее:

— Пожалуйста, не рассказывай. Ты вольна делать что тебе угодно, только я не хочу знать об этом.

— А тут и знать не о чем.

— Хорошо, хорошо. — И он спросил так, как будто отсутствовал неделю: — Что дети, здоровы?

В доме зазвонил телефон.

— Если меня, скажи, что меня нет дома. — Дик торопливо повернулся к выходу. — Мне нужно кой-чем заняться у себя.

Николь подождала, пока он не скрылся за поворотом аллеи, ведущей к флигельку, потом вошла в дом и сняла телефонную трубку.

— Николь, comment vas-tu?[102] — Дик вернулся.

В трубке послышался не то стон, не то рычание.

---

[102] Notes: 102
Как ты там? *(фр.)*

— Давай встретимся в Канне. Нам нужно поговорить.

— Не могу.

— Скажи, что ты меня любишь. — Она молча кивнула в телефон. Томми повторил: — Скажи, что ты меня любишь.

— Да, да. Но сейчас это невозможно.

— Почему невозможно? — нетерпеливо возразил он. — Дик ведь знает, что все между вами кончено, — он сам отступился, это ясно. Чего же он еще может требовать от тебя?

— Не знаю. Ничего не знаю, пока… — Она чуть не сказала: «пока не спрошу Дика», но вовремя спохватилась и оставила фразу незаконченной: — Я тебе завтра напишу или позвоню.

Она бродила вокруг дома, довольная собой, почти гордясь тем, что сделала. Ее тешило сознание своей вины; куда лучше, чем охотиться на дичь, запертую в загоне. Вчерашний день оживал перед ней в десятках мелких подробностей, и эти подробности вытесняли из памяти другие, относившиеся к ранней, лучшей поре ее любви к Дику. Уже она чуть пренебрежительно оглядывалась на ушедшее чувство; уже ей казалось, что с самого начала это была больше сентиментальная привязанность, чем любовь. Неверная

женская память быстро растеряла счастье тех недель перед свадьбой, когда они с Диком тайно принадлежали друг другу то в одном, то в другом закоулке мира. Вчера она без надобности лгала Томми, клянясь, что никогда не испытывала такого полного, такого безоглядного, такого совершенного…

…потом миг раскаяния в этом предательстве, услужливо зачеркнувшем десять прожитых лет, заставил ее повернуть к домику Дика.

Он сидел в шезлонге под нависшей скалой позади домика и не слышал ее шагов. С минуту она молча наблюдала за ним издали. Он глубоко ушел в свои думы, в свой отгороженный от всего мир, и по легким переменам в его лице, по тому, как он приподнимал или нахмуривал брови, округлял или щурил глаза, сжимал или распускал губы, по беспокойным движениям его рук она угадывала, что он шаг за шагом пересматривает всю свою жизнь — свою, отдельную от ее жизни. Раз он, стиснув кулаки, с угрозой подался вперед; в другой раз его лицо исказила гримаса муки — тень ее так и осталась в застывшем взгляде. Едва ли не впервые в жизни Николь сделалось жаль его; тем, кто пережил душевный недуг, нелегко испытывать жалость к здоровым людям, и хотя на словах

Николь высоко ценила тот труд, которого ему стоило вернуть ее в ускользнувший от нее мир, она привыкла считать, что его энергия неистощима и усталости для него не существует. О том, что он из-за нее вынес, она позабыла, как только смогла забыть о том, что вынесла сама. Знал ли он, что власть его над ней кончилась? Хотел ли он этого? Она о том не думала, она просто жалела его, как когда-то жалела Эйба в его недостойной судьбе, как жалеют беспомощных стариков и детей.

Подойдя ближе, она обняла его за плечи, прижалась виском к его виску и сказала:

— Не надо грустить.

Он холодно глянул на нее.

— Не трогай меня!

Растерявшись от неожиданности, она отступила назад.

— Извини, — сказал он рассеянно. — Я как раз думал о тебе — о том, что я о тебе думаю…

— Можешь пополнить этими размышлениями свою книгу.

— Пожалуй, стоит… «Помимо всех перечисленных психозов и неврозов…»

— Дик, я пришла сюда не для того, чтобы ссориться.

— А для чего ты сюда пришла? Я больше ничего

не могу тебе дать. Я теперь стараюсь только спасти самого себя.

— Боишься от меня заразиться?

— Моя профессия часто не оставляет мне возможности выбора.

Она заплакала от обиды и гнева.

— Ты трус! Ты сам виноват, что твоя жизнь не удалась, а хочешь свалить вину на меня.

Он не ответил, но она уже почуяла знакомое гипнотическое воздействие его разума, подчас невольное, но всегда опиравшееся на сложный субстрат истины, который она не в силах была пробить или хотя бы расколоть. И она вступала в борьбу; она боролась с ним взглядом своих небольших, но прекрасных глаз и своей непревзойденной надменностью существа высшей касты, боролась новизной своей близости с другим и обидой, накопившейся за долгие годы; боролась своими деньгами и своею уверенностью в поддержке сестры, недолюбливавшей его с самого начала, и сознанием того, как много врагов нажила ему появившаяся в нем непримиримость к людям, и вероломной издевкой над его былым хлебосольством; она противопоставляла свою красоту и здоровье упадку его физических сил и свою беспринципность его нравственным прин-

ципам — даже собственные слабости служили ей оружием в этой борьбе, — она храбро дралась, пуская в ход пустые банки и склянки, ненужные уже хранилища ныне искупленных грехов, проступков и заблуждений. За какие-нибудь две минуты она одержала победу, сумела оправдать себя перед собой, не прибегая ни ко лжи, ни к увертками. И тогда она повернулась и нетвердым шагом, еще вздрагивая от иссякающих слез, пошла назад, к дому, наконец ставшему ее домом.

А Дик подождал, когда она скроется из виду, и, наклонясь вперед, положил голову на парапет. Больная выздоровела. Доктор Дайвер получил свободу.

X

Около двух часов ночи Николь разбудил телефонный звонок, и она услышала, как Дик ответил с дивана в соседней комнате, звавшегося у них «ложем пыток».

— Oui, oui… mais a qui est-ce que je parle?.. Oui…[103] — У него сразу сон прошел от удивления. — А нельзя ли мне поговорить с одной из этих дам, господин офицер? Имейте в виду, обе

---

[103] Notes: 103
Да, да… А с кем я говорю?.. Да… *(фр.)*

они — весьма высокопоставленные особы, так что могут возникнуть серьезные политические осложнения… Да, да, уверяю вас… Что ж, будете пенять на себя…

Он встал, стараясь разобраться в услышанном, но уже внутренне понимал, что возьмет на себя все уладить, — былое обаяние, злосчастная способность привораживать людей вновь всколыхнулись в нем, взывая: «Используй меня!» И сейчас он отправится распутывать недоразумение, до которого ему нет никакого дела, только в силу привычной потребности быть любимым, возникшей давным-давно, — быть может, с той самой минуты, когда он почувствовал себя последней надеждой вырождающегося клана. При сходных обстоятельствах, в клинике Домлера на Цюрихском озере, осознав свою силу, он сделал выбор — выбрал Офелию, выбрал сладкий яд и выпил его. Всегда желавший прежде всего быть смелым и добрым, он еще больше захотел быть любимым. Так оно было. И так будет всегда, подумал он, давая отбой — телефон был старомодного образца.

После долгого молчания Николь окликнула:

— Что случилось? Кто это звонил?

Дик уже одевался.

— Начальник полиции из Антиба — там арестовали Мэри Норт и эту Сибли-Бирс. Что-то они натворили серьезное, а что именно, он не сказал, только твердил: «Pas de mortes — pas d'automobiles»[104] — зато, кроме этого, видимо, все, что только возможно.

— Но с какой стати звонить тебе? Ничего не понимаю.

— Они требуют, чтобы их отпустили на поруки, а поручителем может быть только лицо, имеющее собственность в Приморских Альпах.

— Просто нахальство!

— Ничего, я поеду. На всякий случай прихвачу еще Госса…

После его ухода Николь долго ворочалась на постели, гадая, что такое могли выкинуть эти две дамы. В конце концов она все же уснула; но когда Дик вернулся — уже в четвертом часу, — сразу вскочила как встрепанная и крикнула, словно обращаясь к кому-то, виденному во сне:

— Ну что там?

— Бредовая история… — Дик присел в ногах кровати и стал рассказывать все по порядку: как он с трудом растолкал Госса, спавшего молодец-

---

[104] Notes: 104
«Никто не убит, никто не разбился в автомобиле» *(фр.)*.

ким эльзасским сном, велел ему выгрести всю наличность из кассы и вместе с ним покатил в полицейский участок.

— Не желаю я ничего делать для этой англичанки, — ворчал по дороге Госс.

Мэри Норт и леди Керолайн, обе в форме французских матросов, томились на скамейке у входа в грязную тесную камеру. На лице у леди Керолайн читалось оскорбленное достоинство дочери Альбиона, ожидавшей, что весь средиземноморский британский флот немедленно поспешит к ней на выручку. Мэри Мингетти была в полной панике и растерянности — завидев Дика, она бросилась к нему на грудь или, точней на живот, словно это было самое надежное место в данную минуту, и стала умолять его как-нибудь все устроить. В это время начальник полиции излагал Госсу обстоятельства дела, а тот неохотно слушал, колеблясь между необходимостью должным образом оценить повествовательный дар рассказчика и желанием показать, что его, бывалого служаку, ничем не удивишь.

— Это была обыкновенная шутка, — презрительно поджимая губы, сказала леди Керолайн. — Мы решили разыграть роль матросов, получивших увольнительную на берег, и две

дуры девчонки поверили и пошли с нами в меблированные комнаты. А потом испугались и подняли целый скандал.

Дик слушал, не поднимая глаз, и только важно кивал, как священник в полутьме исповедальни. Он едва удерживал смех, но в то же время боролся с желанием всыпать обеим шутницам по полсотни горячих и посадить их недельки на две на хлеб и воду. Он просто терялся перед написанной на лице леди Керолайн безмятежной уверенностью, что ничего особенного не произошло, а если и произошло, то лишь из-за трусости глупых провансальских девчонок и тупости полиции; впрочем, Дик давно уже пришел к мысли, что известная категория англичан вспоена столь насыщенным экстрактом антисоциальности, что все уродства Нью-Йорка по сравнению с этим кажутся нездоровьем ребенка, объевшегося мороженым.

— Я должна отсюда выбраться, пока Гуссейн ничего не узнал, — плакалась Мэри. — Дик, ради бога, уладьте это как-нибудь — вы же всегда все умели улаживать. Скажите им, что мы сейчас же уедем отсюда, скажите, что мы готовы заплатить любые деньги.

— Я ничего платить не буду, — надменно

возразила леди Керолайн. — Ни шиллинга. И позабочусь как можно скорей довести эту историю до сведения консульства в Канне.

— Нет, нет! — воскликнула Мэри. — Главное — это выбраться отсюда!

— Ладно, попробую с ними договориться, — сказал Дик и тут же добавил: — Но, конечно, без денег ничего не выйдет. — Глядя так, словно перед ним и в самом деле были две наивные шалуньи, чего он вовсе не думал, он покачал головой. — Взбредет же в голову этакое сумасбродство!

Леди Керолайн благодушно улыбнулась.

— Ваша специальность — лечить сумасшедших, не так ли? Значит, вы можете нам помочь, — а Госс, тот просто обязан.

Дик отошел с Госсом в сторону, узнать, что ему говорил полицейский чиновник. Дело выглядело серьезнее, чем казалось вначале. Одна из замешанных девушек была из добропорядочной семьи. Родители негодовали или делали вид, что негодуют; с ними нужно было достигнуть какого-то соглашения. Вторая была обыкновенная портовая девка, тут все обстояло проще. Но так или иначе, если бы дошло до суда, то, по французским законам, леди Керолайн и Мэри грозило тюремное заключение или в лучшем

случае высылка за пределы страны. Положение еще осложнялось тем, что местные жители поразному относились к приезжим иностранцам; одни наживались на них и потому были настроены снисходительно, другие роптали, видя в них виновников растущей дороговизны. Госс изложил Дику все эти соображения. Дик выслушал и приступил к дипломатическим переговорам с начальником полиции.

— Вам должно быть известно, что французское правительство заинтересовано в притоке туристов из Америки — настолько, что этим летом издан даже специальный указ, запрещающий арестовывать американцев, кроме как в особо серьезных случаях.

— Ну знаете ли, тут случай достаточно серьезный.

— Но позвольте — вы видели их документы?

— Не было у них документов. Ничего у них не было, кроме двух сотен франков да нескольких колец. Не было даже шнурков для обуви, на которых они могли бы повеситься!

Успокоенный тем, что никакие документы в деле не фигурируют, Дик продолжал:

— Итальянская графиня сохранила американское подданство. Она родная внучка, — он с

важным видом нанизывал ложь на ложь, — Джона Д. Рокфеллера Меллона. Надеюсь, вы слышали это имя?

— Ну еще бы, господи боже мой. За кого вы меня принимаете?

— Кроме того, она племянница лорда Генри Форда и через него связана с компаниями Рено и Ситроена… — Он было решил, что пора остановиться, но, видя эффект, произведенный его апломбом, не утерпел и добавил: — Арестовать ее — все равно, что в Англии арестовать особу, принадлежащую к королевской фамилии. Тут возможны самые серьезные последствия, — вплоть до войны!

— Хорошо, но все это не касается англичанки.

— Сейчас и до нее дойду. Эта англичанка помолвлена с братом принца Уэльского — герцогом Букенгемом.

— От души поздравляю его с такой невестой.

— Словом, вот что. Мы готовы уплатить… — Дик быстро подсчитал в уме, — по тысяче франков каждой из девушек и одну тысячу отцу «добропорядочной». Кроме того, еще две тысячи — на ваше личное усмотрение. — Дик выразительно пожал плечами. — Ну, там, для полицейских, производивших арест, для содержателя меблированных

комнат и так далее. Итак, я сейчас вручу вам пять тысяч франков и попрошу распорядиться ими, как сказано. После этого, я полагаю, обе дамы могут быть отпущены на поруки, а завтра, как только будет определена сумма причитающегося с них штрафа, скажем, за нарушение порядка, мы через посланного внесем эту сумму мировому судье.

По выражению лица чиновника ясно было, что можно считать дело выигранным. Слегка помявшись, он сказал Дику:

— Поскольку они без документов, я их не регистрировал. Давайте деньги, я посмотрю, что тут можно сделать.

Час спустя Дик и monsieur Госс подвезли виновниц происшествия к отелю «Мажестик». У подъезда стоял автомобиль леди Керолайн; шофер спал на сиденье.

— Не забудьте, что вы должны monsieur Госсу по сто долларов каждая, — сказал Дик.

— Да, да, конечно, — подхватила Мэри. — Я завтра же пришлю чек на эту сумму и еще кое-что добавлю.

— А я и не подумаю! — к общему изумлению, объявила леди Керолайн. Она уже оправилась от недолгой растерянности и кипела праведным

гневом. — Все это просто возмутительно. Я не уполномочивала вас давать этим людям сто долларов.

Толстячок Госс, стоявший у дверцы автомобиля, вдруг свирепо засверкал глазами.

— Вы не хотите мне платить?

— Она заплатит, заплатит, — сказал Дик.

Но в Госсе вдруг взыграла память о тех обидах, которых он натерпелся в юности, когда мыл посуду в лондонских ресторанах, и он грозно надвинулся на леди Керолайн.

Для начала он дал по ней залп обличительных эпитетов, но она с ледяным смешком повернулась к нему спиной. И тогда, проворно шагнув вперед, он всадил свою ножку в прелестнейшую из всех мишеней, доступных человеческому воображению. От неожиданности леди Керолайн вскинула руки, точно подстреленная, качнулась вперед — и стройное тело в матросской одежде распласталось на тротуаре.

— Мэри! — перекрывая ее яростный визг, крикнул Дик. — Уймите ее, не то вы обе через десять минут очутитесь в каталажке.

На обратном пути старый Госс упорно хранил молчание; и только когда они миновали казино в Жуан-ле-Пен, еще захлебывавшееся кашлем и

рыданьями джаза, он перевел дух и сказал:

— Я никогда не встречал таких женщин, как эти женщины. Я знавал самых знаменитых куртизанок и ко многим из них относился с уважением — но таких женщин, как эти женщины, я не встречал никогда.

XI

У Дика и Николь была привычка вместе ездить в парикмахерскую и совершать куаферский ритуал в смежных помещениях. Николь нравилось слушать, как в мужском зале рядом лязгают ножницы, звенит отсчитываемая сдача и раздаются бесконечные «Voila» и «Pardon!». На следующий день после возвращения Дика они тоже отправились в Канн, чтобы подстричься, вымыть волосы и высушить их под душистым ветерком фена.

Перед окнами отеля «Карлтон», не желавшими замечать лета, точно это были не окна, а ряд ведущих в погреб дверей, проехала машина. В машине сидел Томми Барбан. Он казался озабоченным и мрачным, но, увидев Николь, встрепенулся, и глаза у него заблестели. Эта мгновенная перемена не укрылась от Николь и растревожила ее. Ей захотелось быть с ним вместе в этой машине, ехать туда, куда ехал он. Час в парикмахерском

кресле показался ей одной из тех томительных пауз, которые составляли ее жизнь, тюремным заключением в миниатюре. Парикмахерша в белом халате, пахнущая одеколоном и подтаявшей губной помадой, вызвала в памяти бесконечную череду медицинских сестер.

В соседнем зале Дик дремал, укутанный пеньюаром, с мыльной пеной на подбородке и щеках. Глядя в зеркало, в которое видна была часть прохода между мужским залом и женским, Николь неожиданно вздрогнула; в проходе появился Томми и стремительно нырнул в мужской зал. Она порозовела от радостного волнения, предвидя крутой разговор.

Должно быть, разговор этот завязался сразу же, обрывки стали долетать до нее.

— Мне нужно поговорить с вами.

— …серьезное?

— …серьезное.

— …лучше всего.

Через минуту Дик подошел к Николь, недовольно вытирая полотенцем наспех сполоснутое лицо.

— Твой приятель что-то в большом запале. Желает срочно поговорить с нами обоими, и я согласился, чтобы поскорей отвязаться от него.

Идем!

— Но я не кончила стричься.

— Потом дострижешься. Идем!

Не без досады Николь попросила удивленную парикмахершу снять с нее пеньюар и, чувствуя себя лохматой и неприбранной, пошла за Диком к выходу из отеля. Томми, ждавший на улице, склонился к ее руке.

— Пойдем в Cafe des Allies, — сказал Дик.

— В любое место, где никто нам не помешает, — ответил Томми.

Когда они сели под сводом деревьев — лучшее убежище летом, — Дик спросил:

— Будешь что-нибудь пить, Николь?

— Только citron presse[105].

— Мне — un demi[106], — сказал Томми.

— «Блек-энд-Уайт» и сифон с водой, — сказал Дик.

— Il n'y a pas de «Blackenwite». Nous n'avons que «Johnny Walkeir».

---

[105] Notes: 105
Лимонный сок *(фр.)*.

[106] Notes: 106
Кружку пива *(фр.)*.

— Ca va[107].

Пусть патефон
Не заведен,
Но как сквозь сон
Играет он.

— Ваша жена вас не любит, — сказал вдруг Томми. — Она любит меня.

Они посмотрели друг на друга с поразительным отсутствием всякого выражения. В такой ситуации общение двух мужчин почти невозможно, потому что между ними существует лишь косвенная связь, определяющаяся тем, в какой мере принадлежит каждому из них замешанная в этой ситуации женщина; все их чувства проходят через ее раздвоившееся существо, как через неисправный коммутатор.

— Одну минуту, — сказал Дик. — Donnez-moi du gin et du siphon.

— Bien, mosieur[108].

— Продолжайте, Томми, я слушаю.

---

[107] Notes: 107

— «Блек-энд-Уайт» у нас нет. Есть только «Джонни Уокер».
— Ладно *(фр.)*.

[108] Notes: 108

— Принесите мне джину и сифон.
— Хорошо, сударь *(фр.)*.

— Совершенно ясно, что ваш брак с Николь исчерпал себя. Вы больше не нужны ей. Я пять лет ждал, когда это случится.

— А что скажет Николь?

Оба повернулись к ней.

— Я очень привязалась к Томми, Дик.

Он молча кивнул.

— Ты больше не любишь меня, — продолжала она. — Осталась только привычка. После Розмэри уже никогда не было так, как раньше.

Такой поворот не устраивал Томми, и он поспешил вмешаться.

— Вы не понимаете Николь. Оттого что она когда-то болела, вы обращаетесь с ней всю жизнь как с больной.

Тут их разговор был прерван каким-то потрепанным американцем, назойливо предлагавшим свежие номера «Геральд» и «Нью-Йорк таймс».

— Берите, братцы, не пожалеете. Вы что, давно здесь?

— Cessez cela! Allez-vous-en![109] — прикрикнул на него Томми и, повернувшись к Дику, продолжал: — Ни одна женщина не потерпела бы такого…

---

[109] Notes: 109
Отстаньте! Проваливайте отсюда! *(фр.)*

— Братцы! — перебил опять американец с газетами. — Ну пусть я, по-вашему, зря теряю время — зато другие не теряют. — Он вытащил из кошелька пожелтевшую газетную вырезку, которая Дику показалась знакомой. Это была карикатура, изображавшая нескончаемый поток американцев, сходящих на французский берег с мешками золота в руках. — Думаете, я тут не урву свой кусочек? А вот посмотрим. Я специально приехал из Ниццы ради велогонки Tour de France.

Только когда Томми свирепым allez-vous-en отогнал этого человека от их столика, Дик вспомнил, где он его видел.

Это был тот самый, что однажды, пять лет тому назад, пристал к нему на Rue de Saints Anges в Париже.

— А когда Tour de France ожидается здесь? — крикнул Дик ему вслед.

— С минуты на минуту, братец.

Он наконец исчез, весело помахав им на прощанье, а Томми возобновил прерванный разговор.

— Elle doit avoir plus avec moi qu'avec vous[110].

— Говорите по-английски! Что это означает —

---

[110] Notes: 110

Она должна получить от меня больше, чем получала от вас *(фр.)*.

doit avoir?

— Doit avoir — она будет со мной счастливее, чем с вами.

— Еще бы — прелесть новизны. Но мы с Николь бывали очень счастливы, Томми.

— L'amour de famille[111], — презрительно усмехнулся Томми.

— А если Николь станет вашей женой, разве это не будет тоже семейное счастье? — Шум на улице не дал Дику продолжать. Этот шум, нарастая, заполнил всю набережную, вдоль которой густела толпа неизвестно откуда вынырнувших зевак.

Неслись мимо мальчишки на велосипедах, ехали автомобили, битком набитые разукрашенными спортсменами, трубили трубы, возвещая приближение велогонки, в дверях ресторанов теснились непохожие на себя без фартуков повара — и вот наконец из-за поворота показался первый гонщик в красной фуфайке. Он катил один, деловито и уверенно работая педалями под нестройный гам приветственных выкриков. За ним из закатного зарева выехало еще трое — три линялых арлекина с ногами, покрытыми желтой коркой пыли и пота, с отупевшими лицами и

---

[111] Notes: 111
Семейное счастье *(фр.)*.

тяжелым взглядом бесконечно усталых глаз.

Томми, встав перед Диком, говорил:

— Николь, вероятно, захочет получить развод, — надеюсь, вы не вздумаете чинить препятствия?

После первых гонщиков появилось целых полсотни, растянувшиеся на двести ярдов; одни застенчиво улыбались, другие явно напрягали последние силы, у большинства же были написаны на лице усталость и равнодушие. Арьергард составляла группа мальчуганов, потом проехало несколько безнадежно отставших одиночек и, наконец, грузовик с жертвами аварий или малодушия.

Они вернулись к своему столику. Николь ждала, что Дик теперь перехватит инициативу, но он спокойно сидел, обратив к ним недобритое лицо, гармонировавшее с ее недостриженными волосами.

— Ведь ты и в самом деле давно уже не счастлив со мной, — заговорила Николь. — Без меня ты сможешь вернуться к своей работе — и тебе гораздо легче будет работать, когда ты не должен будешь беспокоиться обо мне.

Томми сделал нетерпеливое движение.

— К чему лишние разговоры? Мы с Николь

любим друг друга, этим все сказано.

— Ну что ж, — сказал доктор Дайвер, — раз мы уже выяснили все, не пойти ли нам обратно в парикмахерскую?

Но Томми хотел ссоры.

— Есть некоторые подробности…

— О подробностях мы с Николь договоримся, — сказал Дик. — Не тревожьтесь — в принципе я согласен, и нам с Николь нетрудно будет найти общий язык. Будет меньше неприятных ощущений, если мы не станем все обсуждать треугольником.

Томми не мог не согласиться, что Дик прав, но его природа требовала, чтобы последнее слово осталось за ним.

— Прошу вас помнить, — сказал он, — что с этой минуты и впредь до окончательного урегулирования вопроса Николь находится под моей защитой. И вы мне ответите за любую попытку злоупотребить тем, что вы с ней пока живете под одним кровом.

— Я никогда не был охотником до любви всухую, — сказал Дик.

Он слегка поклонился и пошел в сторону отеля «Карлтон». Николь задумчиво смотрела ему вслед.

— Он, в общем, держался прилично, — снисходительно признал Томми. — Дорогая, мы вечером встретимся?

— Вероятно.

Итак, свершилось — и без особых трагедий. У Николь было чувство, будто ее немного перехитрили: она поняла, что Дик с самого эпизода с камфорной мазью ждал того, что произошло. И в то же время это приятно волновало ее, и нелепая мыслишка, что вот хорошо бы все рассказать Дику, быстро исчезла. Но она неотрывно следила за ним глазами, пока он не превратился в точку и не затерялся среди других точек в курортной толпе.

XII

Весь последний день перед отъездом с Ривьеры доктор Дайвер провел со своими детьми. Ему хотелось запомнить их получше, потому что он уже был не в том возрасте, когда можно на многое надеяться и о многом мечтать. Детям сказали, что зиму они будут жить в Лондоне у тетки, а потом поедут в Америку к отцу. Fraulein оставалась при них и по условию могла быть отпущена только с согласия Дика.

Его радовало, что ему удалось так много дать своей дочке, — насчет сына у него такой уве-

ренности не было; да он никогда и не знал хорошенько, что могут взять от него эти непоседливые, неотвязчивые, ласковые сосунки. Но когда настало время прощания, ему захотелось снять с плеч эти две хорошенькие головки и, прижав их к себе, просидеть так долгие часы.

Он обнялся с садовником, разбивавшим когда-то первые цветники на вилле «Диана». Он расцеловал провансалку, ходившую за детьми. Она прожила у них почти целое десятилетие и, упав на колени, плакала навзрыд до тех пор, пока Дик не поднял ее силой и не подарил ей триста франков. Николь еще спала — так было условлено; он оставил ей записку и другую записку для Бэби Уоррен, которая гостила у них проездом из Сардинии. Потом он налил себе полный стакан бренди из десятиквартовой бутылки высотой в три фута, которую кто-то привез им в подарок.

Уже сидя в машине, он решил, что сдаст чемоданы в Канне на хранение и приедет взглянуть напоследок на старый пляж.

Когда Николь с сестрой появились на берегу, они застали там только авангард ребятишек. Белое солнце, размытое по краям белым небом, калило неподвижный воздух. В баре официанты подкладывали льду в холодильники; фотограф-

американец возился со своим оборудованием на клочке тени, всякий раз вскидывая голову, когда на каменной лестнице слышались шаги. Его будущие клиенты еще спали за темными шторами, лишь недавно усыпленные зарей.

Выйдя из кабинки, Николь вдруг увидела Дика; одетый не по-пляжному, он сидел на большом камне и смотрел на пляж. Она поспешно отступила в тень за кабинкой. Минуту спустя Бэби присоединилась к ней.

— Дик все еще здесь.

— Да, я его видела.

— Я думала, у него хватит такта уехать пораньше.

— Он здесь хозяин — ведь, в сущности, он открыл это место. Госс всегда говорит, что обязан Дику решительно всем.

Бэби невозмутимо посмотрела на сестру.

— Не надо было нам его отрывать от его велосипедных экскурсий, — сказала она. — Когда людей из низов вытаскиваешь наверх, они теряют голову, какими бы красивыми фразами это ни прикрывалось.

— Шесть лет Дик был мне хорошим мужем, — сказала Николь. — За все то время он ни разу не сделал мне больно и всегда старался оградить

меня от любых огорчений.

У Бэби слегка выдвинулась вперед нижняя челюсть.

— Для этого он и учился.

Сестры надолго умолкли. Николь устало размышляла о том о сем; Бэби прикидывала, стоит или нет выходить за очередного претендента на ее руку и деньги, чистопородного Габсбурга. Не то чтобы она об этом думала по-настоящему. Все ее романы отличались поразительным единообразием, и по мере того, как она увядала, приобретали значение больше умозрительное, чем реальное. Ее чувства существовали главным образом как повод для разговоров о них.

— Ушел он? — спросила Николь немного погодя. — Кажется, его поезд отходит ровно в двенадцать.

Бэби выглянула из-за кабинки.

— Нет. Поднялся на террасу и разговаривает с какими-то женщинами. Но кругом уже так много народу, что он все равно не заметит нас в толпе.

Она ошибалась. Он их заметил, как только они вышли из своего укрытия, и взглядом следил за ними, пока они не исчезли снова. Он сидел за столиком с Мэри Мингетти и пил анисовый ликер.

— В тот вечер, когда вы пришли к нам на выруч-

ку, вы были совсем прежним Диком, — говорила Мэри. — Вот только под конец безобразно обошлись с Керолайн. Почему вы не хотите всегда быть таким милым и славным? Ведь могли бы.

Дик вдруг осознал всю нелепость этого положения — Мэри Мингетти поучает его, как жить!

— Ваши друзья и сейчас вас любят, Дик. Но вы, когда выпьете, говорите людям просто немыслимые вещи. Я все лето только и делаю, что заступаюсь за вас.

— Классическая формула доктора Эллиота.

— Нет, серьезно. Никому ведь нет дела до того, пьяны вы или трезвы… — Она замялась. — Вот Эйб, сколько бы ни выпил, никогда не оскорблял людей, как это делаете вы.

— До чего же со всеми вами скучно, — сказал Дик.

— Но ведь, кроме нас, никого и нет! — воскликнула Мэри. — Если вам скучно в порядочном обществе, ступайте к тем, кто к нему не принадлежит, — посмотрим, понравится ли вам с ними! Люди хотят одного — получать удовольствие от жизни, а если вы им это удовольствие портите, вы сами себя лишаете соков, которые вас питали.

— А были такие соки? — спросил он.

Мэри сейчас получала удовольствие, сама того

не сознавая; ведь села она с ним за столик больше со страху. Решительно отказавшись от вторичного приглашения выпить, она продолжала:

— Привычка потакать своим слабостям — вот где корень зла. Могу ли я равнодушно относиться к таким вещам после Эйба — после того, как на моих глазах алкоголь сгубил хорошего человека…

По ступенькам с театральной живостью сбежала леди Керолайн Сибли-Бирс.

Дику сделалось весело — он обогнал время и достиг уже того состояния, какое обычно достигается к концу хорошего обеда, но это пока выражалось лишь в мягком, подчеркнуто сдержанном интересе к Мэри. Его взгляд, ясный, как у ребенка, напрашивался на ее сочувствие, и в нем уже шевелилась давно забытая потребность внушать собеседнице, что он — последний живой мужчина на свете, а она — последняя женщина.

…Тогда, главное, ему нужно будет смотреть на тех, других мужчину и женщину, чьи фигуры с графической четкостью вырезались на фоне неба…

— Правда, ведь вы когда-то неплохо ко мне относились? — спросил он.

— Неплохо! Я была влюблена в вас. Все были

в вас влюблены. Любая женщина пошла бы за вами, стоило только поманить…

— Мы с вами всегда были близки друг другу.

Она мгновенно клюнула.

— Неужели, Дик?

— Всегда. Я знал все ваши горести и видел, как мужественно вы с ними справлялись. — Его вдруг начал разбирать предательский внутренний смех, и он понял, что долго не выдержит.

— Я всегда догадывалась, что вы много знаете обо мне, — восторженно сказала Мэри. — Больше, чем кто-либо когда-либо знал. Может быть, потому я и стала бояться вас, после того как наши отношения испортились.

Его глаза улыбались ей тепло и ласково, словно говоря о невысказанном чувстве. Два взгляда встретились, слились, проникли друг в друга. Но этот смех у него внутри зазвучал так громко, что казалось, Мэри вот-вот услышит — и он выключил свет, и они снова вернулись под солнце Ривьеры.

— Мне пора, — сказал он, вставая. Его слегка пошатывало; в голове мутилось, ток крови стал медленным и тяжелым. Он поднял правую руку и с высоты террасы широким крестным знамением осенил весь пляж. Из-под нескольких зонтиков

выглянули удивленные лица.

— Я пойду к нему. — Николь приподнялась на колени.

— Никуда ты не пойдешь. — Томми с силой потянул ее назад. — Довольно уже, все.

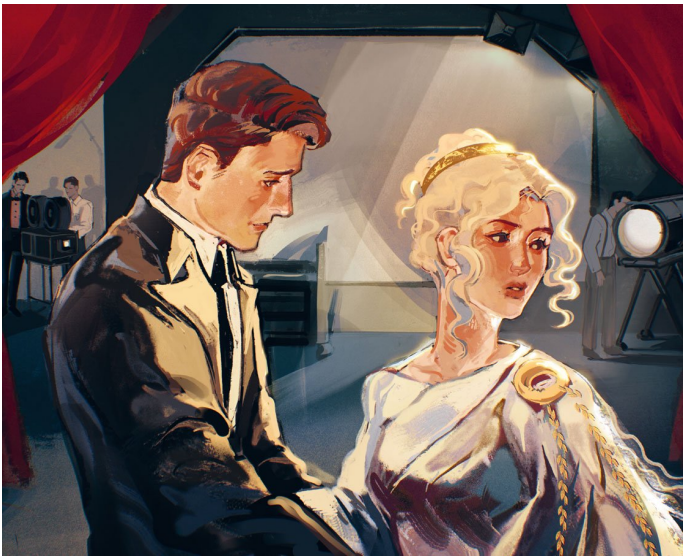
XIII

Николь переписывалась с Диком после своего нового замужества — о делах, о детях. Часто она говорила: «Я любила Дика и никогда его не забуду», на что Томми отвечал: «Ну, разумеется, — зачем же его забывать».

Дик попробовал было практиковать в Буффало, но дело, видимо, не пошло. Отчего — Николь так и не удалось выяснить, но полгода спустя она узнала, что он перебрался в Батавию, маленький городок в штате Нью-Йорк, и открыл там прием по всем болезням, а немного позже — что он уехал в Локпорт. По чистой случайности о его жизни в Локпорте до нее доходили более подробные вести: что он много разъезжает на велосипеде, что пользуется успехом у дам и что на столе у него лежит объемистая кипа исписанной бумаги, по слухам — солидный медицинский трактат, который уже близок к завершению. Его считали образцом изящных манер, и однажды на собра-

нии, посвященном вопросам здравоохранения, он произнес отличную речь о наркотиках. Но потом у него вышли неприятности с девушкой, продавщицей из бакалейной лавки, а тут еще на него подал в суд один из его пациентов, и ему пришлось покинуть Локпорт.

После этого он уже не просил, чтобы дети приехали к нему в Америку, и ничего не ответил на письмо Николь, в котором она спрашивала, не нужно ли ему денег. В последнем своем письме он сообщал, что теперь живет и практикует в Женеве, штат Нью-Йорк, и почему-то у Николь создалось впечатление, что живет он там не один, а с кем-то, кто ведет его хозяйство. Она отыскала Женеву в географическом справочнике и узнала, что это живописный городок, расположенный в сердце Пятиозерья. Может быть, уговаривала она себя, его слава еще впереди, как было у Гранта в Галене. Уже после того пришла от него открытка с почтовым штемпелем Хорнелла, совсем крошечного городишка недалеко от Женевы; во всяком случае, ясно, что он и сейчас где-то в тех краях.



Над книгой работали



Руководитель редакционной группы *Дарья Калачева*

Ответственный редактор *Дарья Мордзилович*

Арт-директор *Валерия Шило*

Иллюстрации на обложке, с форзаца и нахзаца *EUDJN*

Иллюстрация на титуле *Вера Голосова*

Техническая корректура *Надежда Лин*

ООО «МИФ»

mann-ivanov-ferber.ru